

ГРАНИ

GRANY

47
1960

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 7. 1960

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XV

№ 47

Июль-Сентябрь 1960 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Тетрадь стихов из России	3
Б. ФИЛИППОВ — Музыкальная шкатулка. Повесть	16
МИЛАН РАКИЧ — Симонида (Перевод Лидии Алексеевой)	49
В. САМАРИН — Дом со ставней голубой. Рассказ	50
АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ — Стихи	57
ЛЕОНИД БОГДАНОВ — Quo vadis? Рассказ	58
Таких не надо. Рассказ	65
НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВ — Стихи	69
АЛЕКСАНДРА МАЗУРОВА — «Только всего — жизнь!..»	71
Т. ВЕЛИЧКОВСКАЯ — Закат. Стихи	84

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. БУНИНА-МУРОМЦЕВА — Беседы с памятью	85
Н. АЛЕКСЕЕВ — В бурные годы	102

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

К пятидесятилетию со дня смерти	116
ИВАН РАЕВСКИЙ — Толстой и наука (Воспоминания)	117
НИКОЛАЙ РАЕВСКИЙ — Жизнь и смерть Льва Толстого	127
† А. НЕВЕЖИН — Предсмертное посещение Львом Толстым Оптиной Пустыни (Со слов монаха-очевидца)	144
НИКОЛАЙ РАЕВСКИЙ — Впечатления от Венецианского конгресса	148
В. ЕРМИЛОВ — Толстой — писатель	152
САЛЬВАДОР ДЕ МАДАРЬЯГА — Завет Толстого	162

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Хождение по мукам (Опыт медленного чтения)	170
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Л. ЗАНДЕР — Зло и отрицание (Литературно-философский экскурс)	191
И. КОРОТКОВ — Современная психология, ее методы и значение	203
ЛЕВ РАР — НТС до войны (К 30-летию Народно-Трудового Союза русских солидаристов)	220

БИБЛИОГРАФИЯ

Эммануил Райс. О четырех поэтах. — Музей современной поэзии. — Александр Шик. Путешествие в Россию сто лет назад. — Л. Зальц- берг. Устрашение или оборона. — Поборник свободной экономики. — М. Залевский. О будущей России.	236
--	-----

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Тетрадь стихов из России

В нашу редакцию поступила тетрадь, исписанная стихами. Прибыла она из России.

То ли некий любитель поэзии аккуратно вносил в нее всё, что приковывало его внимание, то ли некий посетитель некоего полупуле-гального кружка, которых так много в настоящее время в России, фиксировал всё, по его мнению, самое ценное, что там читалось...

В тетради, наравне с неопубликованными стихами, были и такие — больших советских поэтов, — которые появлялись время от времени в сборниках и толстых журналах. Редакция изъясла их как известные. Остальные стихотворения резко делятся по времени, тематике и поэтическим почеркам на две неравные части.

Первая включает в себя пять первых стихотворений, из которых под тремя стоят даты, указывающие на давность их возникновения. Все они написаны несомненно одним поэтом. И этот поэт — Марина Цветаева (следует заметить, что в стихотворении «В черном небе слова начертаны» в первой строфе, по-видимому, допущены искажения).

Вторая группа, начинающаяся со стихотворения «Когда русская проза ушла в лагерь», содержит в себе, судя по различной поэтической манере, стихи нескольких авторов, о которых можно строить любые предположения, но высказывать печатно — рано. Некоторые стихотворения этой группы также снабжены датами, указывающими, как и тематика стихов, на послевоенный период их написания, точнее — конец сороковых — начало пятидесятых годов. Почти все настроения, характерные для России наших лет, отразились в этой «анонимной» поэзии. О качестве ее предоставляем судить самому читателю.

Редакция

* *
*

В лоб целовать — заботу стереть.
В лоб целую.
В глаза целовать — бессонницу снять.
В глаза целую.
В пубы целовать — водой напоить.
В губы целую.
В лоб целовать — память стереть.
В лоб целую.
Июнь 1917

* *
*

Каждый стих — дитя любви,
Нищий незаконнорожденный,
Первенец — у колен
На поклон ветрам положенный.

Сердцу ад и алтарь,
Сердцу рай и позор.
Кто отец? — Может царь.
Может царь, может вор.

* *
*

Проста моя осанка,
Ниц мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю.
Взглянул — так и знакомый.
Взошел — так и живи.
Просты наши законы,
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь — коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый,
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: пить.
Август 1920



В черном небе слова начертаны,
И ослепили глаза прекрасные.
И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.

В поте пляшущий, в поте — пашущий,
Нам известно иное рвение:
Легкий огонь — над кудрями пляшущий —
Дуновение вдохновения.



Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух — не решить по заказу!
Ох, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
Пляшущим шагом прошла по земле — Неба дочь!
С полным передником роз! Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу.
Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом,
Прорезь зари — и ответной улыбки прорез . . .
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!



Что другим не нужно — несите мне:
Все должно сгореть на моем огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.
Пламень любит легкие вещества:
Прошлогодний хворост, венки, слова...
Пламень пышет с подобной пищи.
Вы ж восстанете — тепла чище!
Птица Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю дотла
И да будет вам ночь светла.
Ледяной костер, огневой фонтан!
Высоко несу свой высокий стан,
Высоко несу свой высокий стан —
Собеседницы и наследницы.



Когда русская проза ушла в лагерь,
В землекопы, а кто похитрей — в лекаря,
В лесорубы, а кто половчей — в шофера,
В парикмахеры или в актеры,

Все вы сразу забыли свое ремесло.
Разве прозой утешись в горе?
Словно углые щепки
вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам до поверки
спокойны, тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормилц, как щепки, тощи и лепки,
Вы на марше слагали стихи.

Весь барак, как дурак,
Бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке,
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался.
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

И хорей вам за сахар заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы долгой была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена текучей.
1951



Человек уходит со двора
Добрый и веселый ранним утром,
А вернется грустным или мудрым,
Не таким, как был вчера.

Столб и на столбе газетный стенд,
Он прочитывает это,
Он испытывает стыд,
Но не за себя,
А за газету.

Хочется бежать или прижать,
Вбить в забор лгуна и негоддя,
Хочется вопросы вопрошать,
Рукавом слезу с ресниц сгоняя.

Человек идет по мостовой
И ботинки в лужах омывает,
И его штрафует постовой, —
Только он не замечает.

1952

* *
*

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в костер, во Сына, во Отца,
Во голубя — Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается немая,
И ежели ошибочка, беда —
Видну и на себя я принимаю.

- * *
*

Листок поминального текста —
Всего четыре строки.

... Он был из такого теста,
Вы, кажется, были близки,
Ведь вы его, верно, помните,
Вы были даже на ты ...
Писатели ходят по комнате,
Поглаживая животы.
Они вспоминают очи,
Близставшие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакой газовой
Лезли на них стихи ...

А я убеждаю, доказываю:
Всего четыре строки.

Писатели вышли в писатели,
А ты никуда не вышел,
Хотя в могиле, в печати ли
Ты всех нас чище и выше.

А ты никуда не вышел,
Ты просто пророс травой.
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою.
1955

*
* *
:

Мы все ходили под богом,
У бога под самым боком . . .

Стоя на мавзолее,
Был он сильнее и злее,
Мудрее того, другого,
По имени Иегова,
Которого он низвергнул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.

Мы все ходили под богом,
У бога под самым боком . . .

Однажды я шел Арбатом.
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышинных,
С ним рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Вставало утро.
Бог глянул жестоко и мудро
Всепонимающим взглядом,
Всепроникающим оком . . .

Все мы ходили под богом,
И даже стояли с ним рядом.

*
* *

Дай, Боже, счастья женщинам,
Здоровья дай им, Боже,
Пусть будет лучше меньше нам,
Пусть будет им побольше.

Они не в силах выдержать
Того, что нам под силу,
Слезинки с глаз не вытерши —
С зеленых, карих, синих.

Дай Бог удачи девушкам,
И женихов достойных
Самим найти. Да где уж им!
Тебе ж — ничего не стоит.

Тебе не стыдно, Боже,
Когда девчонка плачет?
Иль эти слезы, Боже,
Для вас ничего не значат?

Они все слезы выплачут,
На что это похоже?
А ты их можешь вылечить,
Будь человеком, Боже!

К Л Ю Ч

У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
Я знакомых к себе водил.

Мои товарищи жили с тещами
И с женами, похожими на тещ —
То слишком толстыми, то слишком тощими,
Серыми и однообразными, как дождь.

С каждым годом, старея за год,
Рожая то сыновей им, то дочерей,
Жены становились символами тягот,
Стапуями нехваток и очередей.

Мои товарищи любили жен,
Они мне говорили всё чаще и чаще:
Отчего ты не женишься? Эх ты, пизжон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?

Мои товарищи не любили жен:
Им нравились девушки с молодыми руками,
С глазами, в которые попружен,
Падаешь, падаешь, падаешь, как камень.

Я был брезглив (вы, конечно, помните),
Я глупых вопросов не задавал,
А просто давал им ключи от комнаты —
Они просили, и я давал.

* *
*

Дадите пальто без номера?
Я где-то забыл, по-видимому,
Или не взял, по-видимому.
Давайте, пока не выдали.
Давайте, покуда кто-нибудь
Мой номер еще не нашел,
Ищи потом его где-нибудь:
Схватил, нашел и ушел.

— Какое ваше пальто?
Это? Вот это? То?
— Да нет! Все это пижонство —
Велюр! Коверкот! Шевияот!
Мое пальто — полужесткое,
Девятый годок живет!

— А цвет какой?
— Цвета медного
Сукно. Какое сукно?!
Шинельное, полубессмертное,
Такое сукно оно.

— Не эта ли ваша шинель?
Вот та, что висит на стене?
— Да что вы, на самом деле?
Ведь я лейтенантом был.
Солдатские эти шинели —
Ни в жисть! Никогда! — не носил.
Моя шинель офицерского
Покроя,
Сукна — венгерского,
Кофейного цвета сукна!
Такая шинель она!

— Эх, с пьяными — не житье!
Хватайте ваще тряпье! . .

* *
*

Сегодня я ничему не верю —
Глазам — не верю.
Ушам — не верю.
Пощупаю, — тогда, пожалуй, поверю —
все без обмана.
Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные сорок пятого года,
Стоявшие — руки по швам, на допросе.

Я спрашиваю — они отвечают:
 — Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
 — Вы верите Перингу? — Нет, не верю.
 — Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!
 — А мне вы верите? — Минута молчания.
 — Господин комиссар, я вам не верю.
 Всё пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Четыре слога про-па-ган-да
 Гудят в ушах моих еще сегодня:
 Всё — пропаганда. Весь мир пропаганда.
 Если бы я превратился в ребенка,
 Снова учился в начальной школе
 И мне сказали такое:
 Волга впадает в Каспийское море!
 Я бы, конечно, поверил, но прежде
 Нашел бы эту самую Волгу,
 Спустился бы вниз по течению к морю,
 Умылся его водой мутноватой
 И только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овес и сено!
 Ложь! Зимой сорок восьмого года
 Я жил на тощей, как жердь, Украине.

Лошади ели сначала солому,
 Потом — худые соломенные крыши,
 Потом их гнали в Харьков на свалку.

Я лично видел своими глазами
 Суровых, серьезных, почти что важных,
 Молча, неспешно бродивших по свалке,

Они ходили, потом стояли,
 А после падали и долго лежали.
 Умирали лошади не сразу . . .

Лошади едят овес и сено!
 Нет! Неверно! Ложь. Пропаганда.
 Всё пропаганда. Весь мир пропаганда.

БОЛЕЗНЬ

Доисрочная ранняя старость,
 Похожая на поражение.
 А, кроме того, — на усталость,
 А также на отражение
 Лица в сероватой луже,

В измытой водице ванной.
Все звуки становятся глуше,
Все краски темнеют и вянут.

Куриные вялые крылья
Мотаются за спиною.
Все роли мои — вторые!
Являются предо мною.
А мне все равно, все едино.
И слышно, как волосы стынут
И застывают в седины.

Я выдохся. Я — как город,
Открывший врагу ворота.
А был я добрый и гордый,
Солдат своего народа.

Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдувание.
А мне — приказы давали.
Потом ордена давали.

Всё, как ладонью, прикрыто,
Сплошной головною болью —
Разбито моё корыто.
Сижу у него сам с собою.

Так вот она середина
Жизни.
Возраст успеха.
А мне — всё равно. Всё едино.
А мне — наплевать. Не к спеху.

Забыл как спускаться с лестниц,
Не открываю ставни.
Как в комнате, я в болезни
Кровать и стол поставил.

И ходят в квартиру нашу
Дамы второго разряда,
И я сочиняю кашу
Из пшённного концентрата,
И я не читаю газеты,
А книги — до середины.
Но мне наплевать на это.
Мне — всё равно. Всё едино.

БАЛЛАДА

В сутках было два часа — не более,
Но то были правильные два часа!
Навзничь опрокидываемый болью,
Он приотднимался и писал.
Рук своих уродливые звёзды
Сдавливая в комья-кулаки,
Карандаш ловя, как ловят воздух,
Дело доводил он до строки.
Никогда еще так не писалось,
Как тогда, в ту старость и усталость,
В ту болезнь и боль, в ту полусмерть!
Всё казалось: две строфы осталось,
Чтоб в лицо бессмертью посмотреть.
С тихой и внимательною злобой,
Глядя в торопливый циферблат,
Он, как сталь, выдерживая пробу,
Выдержал балладу из баллад.
Он загнал на тесную площадку —
В комнатёнку с видом на Москву —
Двух противников, двух беспощадных,
Ненавидящих друг друга — двух.
Он истратил всю свою палитру,
Чтобы снять подобие преград,
Чтоб меж них была одна политика —
Этот новый двигатель баллад.
Он к такому темпу их принудил,
Что пришлось скрести из всех закут
Самые
 весомые минуты —
В семьдесят
 и более
 секунд.

Стих гудел,
 как самолет на старте,
Весь раскачиваемый изнутри.
Он скомандовал героям: «Шарьте!»
А себе шепнул: «Смотри!»

«КАК ДЕЛАЮТ СТИХИ»

Стих встает, как солдат. Нет, он — как политрук,
Что обязан возглавить бросок,
Отрывая от двух отмороженных рук
Землю — всю. Глину — всю. Весь песок.

Стих встает, а слова, как солдаты, лежат,
Как славяне и как елдаши,
Вспоминая про избы, про жен, про лошадей.
Он-то встал, а кругом — ни души.
И тогда полипрук . . . Впрочем, что же я вам
Говорю — стих! — вынимает наган:
Бьет слова рукояткой по головам,
Сапогом бьет слова по ногам.

И слова из словесных окопов встают,
Выползают из-под словаря
И бегут за стихом, и при этом поют,
Мироздание всё матеря,
И хватаясь (зачеркнутые слова) за живот —
Умирают смиренны и тихи.

Вот как роту в атаку поднимают,
И вот
как слагают стихи.

ЗЛЫЕ СОБАКИ

Злые собаки на даче.
Ростом с волка. С быка!
Эту задачу
Мы не решили пока.

Злые собаки спокойно
Делают дело свое:
Перевероты и войны
Не проникают в жилье,
Где благодушный владелец
Многих безделлиц,
Слушая лай,
Кушает чай.

Да, он не пьет, а вкушает
Чай.
За стаканом стакан.
И — между делом — внушает
Людям, лесам и стогам,
Что заработал этот уют,
Что за работу
Дачи дают.

Он заслужил — комбинатор,
Мастер, мастак и нахал,
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял на войне?
Скоро ли в нашей отчизне
Дачу построят и мне?

Да, мне вот не выйти на речку
И не бродить меж лесов,
И не повесить дощечку
С уведомленьем про псов.

Елки зеленые,
Грузди соленые
Не про меня!
Дачные псы обозленные,
Смело кусайте меня!

Музыкальная шкатулка

Повесть

*Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.*

Борис Пастернак

— Э-эт-то б-было в с-самом конце девятьсот шестнадцатого г-го-да . . . Н-наш л-лейб гвардии Измайловский . . .

Николай Павлович всегда несколько заикался в начале каждой фразы. Худенький, с недоумевающе-выпуклыми глазами и небольшими с проседью усиками, загнутыми по старинке кверху, он немного дергался (последствие контузии) — и — вслед за торопливо выскакивающими — с осечками и задыханиями — начальными словами — затягивал середину речи бесконечными «а!», «и», «н-ну!», чтобы затем быстро-быстро заглотить конец рассказа или реплики.

Нельзя сказать, чтобы разговор с ним был легок. На вас внимательно смотрели ласковые бледные глаза, вас никогда не перебивал ваш воспитанный собеседник, но стоило вам назвать хотя бы одну из старых русских дворянских фамилий, стоило вам упомянуть какую-нибудь прибалтийскую баронскую или графскую польскую фамилию, — и Николай Павлович немедленно переставал вас слышать: его мысли обращались к единственной теме, его интересовавшей:

— Эт-то т-тот князь Шейн, что в 1915 служил в лейб-гвардии Преображенском?

— Помилуйте, Николай Павлович, да ведь об этом князе Шейне мне рассказывал мой дедушка, как о своем полковом товарище . . .

— Ах, з-значит, я знал его племянника. Мы с-сталкивались с ним на боярских посиделках у графов Гейденов . . . Князь, видите ли, Шейн, о котором вы рассказывали, был женат — не спорьте со мною! я это хорошо знаю — по истории я в корпусе всегда имел лучшие баллы — был женат на Новоскольцевой, а его брат, отец того Шейна, с которым я был знаком, на баронессе фон Шлиппенбах. Той самой, отец которой дрался на дуэли с т-тем з-знаменитым великосветским шулером, поручиком Ахтырского, Коноплянским . . . Ну, тем, дядя которого в Павлоградском был батальонным командиром и, женившись на графине Пухальской, проишпал и свое и женино имяние. Но — не скажу:

по всем свидетельствам он-то играл чисто. Всегда . . . Ну, а тот к-князь Шеин, которого вы изволили упомянуть, был переведен в Преображенский по особому распоряжению . . . Ну, конечно, с согласия общества г-господ офицеров, — ведь без эт-того . . .

Но Николая Павловича уже никто не слушал.

Анна Карловна, его тучная, с очень заметными усиками над пухлым, красиво очерченным ртом, жена, всегда затянутая в черное закрытое платье, развлекала гостей семейными альбомами. Этих альбомов было без числа: плюшевых с медными застежками и золотым обрезом толстых картонных страниц, коленкорových с модернистскими бронзовыми ирисами на крышке и надписью на французском языке, холстинковых — совсем уже новых, но прежде всех начинающих разваливаться от распиравших альбомы фотографий. И на гостей, уныло перебирающих ненужные им снимки бесчисленной хозяйской родни, сурово глядели чиновные и просто так носы и губы, улыбались губки и челки, блестящие эполеты и броши, а тусклый низкий алыт хозяйки обстоятельно пояснял и рассказывал:

— Это моя петушка. Урожденная фон Леман. За нею одно время ухаживал ротмистр лейб-драгунского князь Кукарекин. Но она вышла замуж по любви за статского советника Мчелидзе. Он был очень красив в молодости. Постойте: в том альбоме есть и его фотография . . .

Была Анна Карловна поэтессой и, как все русские немки, повышенно патриотичной, такой русской, что все комнаты завешала вышитыми полотенцами с красно-черными петухами и ало-синими двуглавыми орлами. Когда гости, чтобы как-то избыть альбомное наваждение, просили ее прочесть что-нибудь свое, Анна Карловна, преодолев свою природную застенчивость, густо краснела и лепетала:

— Ну, хорошо: я прочту вам стихотворение, напечатанное в свое время в «Голосе Солдата-Патриота» и обратившее на себя внимание великого князя Дмитрия Павловича —

Ландыш на поляне
Улыбнулся солнцу,
Трудятся крестьяне
В поле за сохой.
Дева у оконца
Молит Всеблагую:
— Дай Руси победы
И верни домой!
Суженого встречу . . . —

И речкой — многоводной и тихоструйной — разливалось стихотворение, а муж в то же время, заполучив очередного собеседника, доказывал ему:

— Ну, что говорить . . . Убеждения мои сложились уже в семь лет. И — как сложились, так и до сих пор не претерпели никакого из-из-из-з-менения: я — человек устойчивых и постоянных взглядов. Т-так-ков б-был и дед мой, и отец. Знали ли вы г-графа З-завадского? Поляк, но примернейший офицер и патриот. Так вот он, б-будучи тогда полковником н-нашего же полка, говаривал . . .

А гости, зная, что к столу идти все равно не раньше полуночи, судорожно подавляя непреодолимую зевоту, рассматривали развешенные по стенам групповые фотографии офицеров полка и несколько популярных литографий — из числа приложений к «Ниве». А речь хозяев журчала в два ручья, неустанно и непрестанно:

— Я не признаю, понимаете ли вы, всех этих современных новшеств в поэзии... Пишу по пушкинским правилам, в старых традициях:

Господи Боже,
Мир дай земле!
Пусть воцарится
Царь наш в Кремле...

— Н-наш род — искони в-военный: в-все служили верой и правдой от-течеству... И я, с с-семью лет решил: или в оф-фицеры, или в монастырь: м-монахи в-ведь тоже что-то вроде офицерского корпуса... И к-когда мой отец, а был он генералом, решил отдать меня в гимназию, — я взбунтовался...

Вы думаете, это было в 1913 году? Ошибаетесь: в 1923... Но и гости моих милых хозяев были не более современными, и они при случае поминали кузину, баронессу Платтер, или смаковали парад лейб-гвардии в 1911 году. И вовсе не потому, что раньше им лучше жилось: эстетика памяти и память о старой эстетике.

Я попал на эту квартиру не случайно. Волею судеб и ГПУ, мне пришлось бежать из солнечного южного городка, городка моей юности, городка моих первых, восторженных встреч с философией, литературой, наукой. Наш философский кружок молодежи разгромили. Обыск, вызов в ГПУ, допрос с пристрастиями — и я спешно бежал в Петербург, еще не ставший Ленинградом. После тщетных попыток устроиться в какое-нибудь высшее учебное заведение с философским или социологическим направлением, я попал, по знакомству с профессурой, на бывший восточный факультет университета.

Ах, кто в состоянии забыть это особое переживание, когда вы прибегаете на лекции и идете длинным-длинным — как жизнь в представлении юноши — коридором университета! А несколько дальше середины, из коридора темноватая лесенка вверх, в немного затхлые и таинственные аудитории восточного факультета. Про университетский коридор и его длину шли разные рассказы и анекдоты:

— Товарищи, слышали, как Мотчанов доказывал шаровидность земли? Идете вы, мол, по университетскому коридору. А навстречу вам, с другого конца его, идет Николай Яковлевич Марр. Сначала вы видите только шляпу его, потом его характерный яфетический нос, затем бородку и все лицо, затем появляется грудь, все туловище, ноги, — наконец, и весь целиком Николай Яковлевич озабоченно торопится вам навстречу. Следовательно, земля — шар...

— Да, длинный коридор. Знаете, мы не успели вчера и двух раз пройти его туда и обратно, а уже Николай Павлович успел закончить рассказ о боярских посиделках у Гейденых...

— Все во-вам с-смеяться, д-друзья мои, — краснел и задыхался Николай Павлович. Учился он со мною на одном курсе восточного факультета, дрожа ежеминутно, что на очередной чистке студенчест-

ва его, как бывшего офицера, исключают из университета. Так бы оно и было, если бы не спасло Николая Павловича его теперешнее социальное положение: он был чернорабочим на заводе «Красная Бавария», работал там по двору и складу в вечернюю смену. Познакомил меня с Николаем Павловичем один из профессоров-востоковедов, мой родственник:

— Вот и поселяйся у Галкиных, Андрей. Тебе там будет хорошо. Возьмите его квартирантом, Николай Павлович: Андрей тихоня, дарюм, что философ...

Комната у Галкиных мне досталась чудесная: три окна и застекленная дверь на балкон. Прекрасный кожаный диван служил мне постелью. Массивный письменный стол и книжный шкаф немедленно перегрузились книгами — философскими и литературными. Стены комнаты были увешаны покрытыми вековой пылью плакатами, мушкетерами, луками и стрелами с тщательно выписанными предостерегающими ярлычками: «Не прикасайтесь! На стрелах — смертельный яд!» или «Осторожно! Заряжено!» Я не обращал внимания на эти предостережения и колдовал грецкие орехи заряженными кремневыми пистолетами и играл с ленивым котом Анны Карловны, щекоча его смертельно-отравленными стрелами. Хозяева морщились, но — по редкой своей деликатности — молчали.

Откровенно говоря, ходил в университет я не так уже часто. А если ходил, то больше не на свои востоковедные лекции, а на лекции Эйхенбаума, Ончукова, Орлова — на литературном отделении — и Эрнеста Львовича Радлова — на философском.

Эрнест Львович, старый, ошарпанный, потерявший всякую ориентировку: как бы не налететь на кару властей предержащих: времена и люди меняются! — предпочитал читать историю русской философии, вовсе уклоняясь от изложения философских взглядов, а лишь рассказывая о личных встречах с Владимиром Соловьевым, Лопатиным, Трубецкими.

— Захожу я как-то к Владимиру Сергеевичу... Жду его... Жду полчаса, сорок минут... Спрашиваю слугу: барин-то дома ли? — «Домаша», отвечает. Наконец, появляется и Владимир Сергеевич. В халате, взъерошенный. — «Простите, — говорит, — что задержался: я в уборной сидел. Когда твой отец написал чуть ли не тридцать томов «Истории России», наследственный геморрой обеспечен... Я, впрочем, зря там времени не теряю: я в нужнике «Дарвина» титмирязевского почиываю: оторвешь листок — ну, и сначала просмотришь»... А раз захожу это я к Льву Михайловичу Лопатину...

И речь Эрнеста Львовича струилась — гладко выстроганная — не придерешься! — и все-таки интересная. Ну, хотя бы и анекдотически.

Единственной отдушиной были занятия философией буддизма и индуизма с Федором Ипполитовичем Щербатским. Огромный, слоноподобный, мощный, он мало напоминал шестидесятилетнего. Читал он отвратительно, и это было очень странно, ибо писал он превосходно и был отличным, остроумным и находчивым собеседником. Но заниматься с ним, читать под его руководством подлинники, выслушивать его комментарии Дигнаги, Дармакирти и других философов индуизма и буддизма было глубоко интересно. Правда, Федор Ипполитович модернизировал их, приближая к взглядам Бергсона, Шопенгауэра, марбуржцев...

Как тяжело было на его лекциях Николаю Павловичу! Голова, не привыкшая к философской муштре, с трудом схватывала какую-либо отдельную мысль или деталь мысли, и пока бедный слушатель осваивал ее, Федор Ипполитович уже заносился дальше, и Николай Павлович напрягался, краснел, бледнел, потел, но никак не мог угнаться за ходом изложения.

— Нет, я, з-знаете ли, б-больше прилежу к эт-тнографии...



— Андрей, я пойду за билетами на Фрида: «Фантастическая» Берлиоза и четвертая Бетховена...

— Доставай, Шура.

И вот мы в чудесном белоколонном зале Филармонии. Нет, не забыть никогда многоцветных брызг хрусталей, играющих в великолепных люстрах, торжественных белых колонн и аллого бархата диванов и занавесей, торжественной тишины зала и мощного, такого до последнего пульта знакомого! — оркестра. А как мы, слушатели хор, знали друг друга! Левая сторона хор. Высокая, статная фигура, затянутая в военный мундир с орлами на пуговицах. Сняты только погоны. Это — генерал Опацкий, судейский генерал в прошлом, меломан и балетоман сегодня. И — для хлеба насущного — счетовод на колбасном заводе. Ведь вот, уцелел, и уцелел до конца — я встретил его много лет спустя, — и все таким же стройным и все в том же генеральском мундире без погон.

Николай Васильевич Чичерин — страстный почитатель Бетховена. Но он и вообще не пропускает ни одного мало-мальски интересного концерта, ни одного интересного оперного или балетного спектакля. Он забывает о моих двадцати годах и то и дело задает мне вопросы, вроде следующего:

— А помните, Андрей Алексеевич, как изумительно пел Мельников на премьере «Пиковой Дамы»?

И бесполезно напоминать ему, что я, родившийся в 1905, не мог быть на премьере 1890 года...

На хоры забирались мы за час до начала концерта. Денег едва хватало на входные билеты, и надо было поспешить занять нумерованные места на скамейках у стен. До начала концерта хоры являлись нашим семейным и дружеским клубом: все уже свыкались друг с другом, и когда кто-нибудь отсутствовал, то слышались недоуменные вопросы:

— А где-то сегодня Иван Иванович? Как это он пропустил Малера?!

— Да ведь он никогда не пропускает Семеновой, а она сегодня в «Спящей красавице» танцует...

Но вот весь зал притих. Пром аплодисментов. Мы бросаемся поближе к баллюстраде хор — поглядеть на нового гастролера. Палочка трижды стучит по пульта...

А дома — гости у хозяев.

— Андрей Алексеевич, пожалуйста к нам... Мы и музыкальную шкатулку заведем...

Маленький ящик, раскрашенный цветочками и чистенькими немецкими девичками. Металлические диски с зубчиками и дырочками. Несколько поворотов ручки —

Мне всё здесь на память
Приводит бывшее,
И юности красной
Привольные дни...

— Вы слышали, Николай Павлович, Шаляпина в «Русалке»? Это было оча-а-ровательно, — спрашивает хозяйина девушка лет пятидесяти, томно прикрывая глазки короткими белыми ресницами.

— Э-э, н-нет... Я, з-знаете ли, в оперу п-почти не ходил. Мы, г-гвардейская м-молодежь, б-больше в балет и т-театр Яворской...

А шкатулка поет, поет все ту же мелодию, влекущую и душевную, как первый соленый поцелуй неопытного еще девичьего рта:

Здесь, помнится, меня встречала
Свободного свободная любовь...

— Андрей, я к вам.

— Как я рад, Шурочка!

Она вошла — и сразу в комнате посветлело. Боже мой, почему я не могу влюбиться в Шурочку! Нет, не могу, не могу. Такой надо отдать всего себя, всего — без остатка. Не могу. Нет...

Раскрасневшаяся с мороза, она глядела своими большими золотыми глазами на меня, потерявшегося и смущенного.

— Что с вами, Андрей? Вы нездоровы?

— Пустяки, Шура. Не обращайтесь внимания. Садитесь, пожалуйста...

— Андрей, меня послал к вам Борис. Сегодня первое занятие нашего философского кружка. На квартире у Олега. Мы попросили Сергея Алексеевича Аскольдова руководить нами. Конечно, занятия секретные — за такие собрания по головке не гладят. Но вы ведь не трусливого десятка, да? А нам хотелось бы, чтобы вы участвовали в нашем кружке. Сейчас мы с вами и пойдем сговариваться к Сергею Алексеевичу, а может, сегодня же он с нами и пойдет к Олегу. Там наши уже собрались...

Сергей Алексеевич — высокий, стройный, очень красивый старик. Старик, впрочем, он только для нас, восемнадцати- и двадцатилетних. Ему пятьдесят три года. Но длинные, почти до плеч, немного вьющиеся волосы совершенно седые, и серебряная борода красиво подчеркивает характерный пушкинский подбородок.

Из университета его уже года два, как исключили, и он сейчас преподает технологическое товароведение в Политехническом институте, да что-то читает в институте истории искусств.

— Хорошо, друзья мои, я охотно поеду сегодня с вами...

В трамвае Шура молчит, а я беспрерывно тараторю с Сергеем Алексеевичем. Я ведь читал его книги, а сегодня я впервые разговариваю с самим живым их автором! Сказать хочется много, много, несо-размерно с временем много.

— А вы пишете стихи? — спрашивает меня вдруг Сергей Алексеевич, перебивая какую-то мою ребяческую оценку о Павла Флоренского.

Вопрос, поставленный в упор, вне всякой связи с беседою, немного смущает меня. Я всегда с некоторым презрением относился к «домашним» поэтам и домодельной литературе, готовился стать философом, но тайне писал скверные вирши...

— Что вы, что вы, Сергей Алексеевич, не пишу, конечно...

— Жаль. А я вот, на старости лет, писать их стал. Знаете, Андрей Алексеевич, стихи очень помогают научиться правильному глазу на все бытие. Свой собственный глаз развивают. Лучше всяких философий и лучше целых библиотек...

В комнате Олега жарко натоплено. На круглом столике скромный чай с печеньем и халвой. Сосредоточенно слушаем мы Сергея Алексеевича:

— Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по преимуществу, метафизикой и философией религии. Прошло то время, когда построились целые гносеологические небоскребы. Постарел я, состарился и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: «Некогда строить монастыри». Да, некогда сейчас строить системы типа Канта или даже Гуссерля. Пришло время говорить прямо: с кем ты? С Ним или с ним? И я последние годы занимаюсь почти исключительно вопросами онтологии и религии. Все мои молодые увлечения вопросами «Мысли и действительности» отошли далеко, далеко...

... Но, конечно, необходима какая-то подготовка для занятий этими вопросами. Так сказать, знание философской арифметики. Я из беседы с Андреем Алексеевичем уже понял, что он не новичок в этих вопросах. Пусть же он первый и начнет серию наших самостоятельных рефератов...

А на следующий день сдавать самый страшный из зачетов — «Введение в изучение истории Востока» — академику Василию Владимировичу Бартольд.

Косящий, с одним каким-то полувыветкшим глазом, хромающий, с головой скривленной набок, с седенькой мефистофельской бородкой, Василий Владимирович был прозой не только студентов, но и профессуры. Все знали, что нет ничего более для него нестерпимого, чем путаница в его имени и отчестве. Стоило назвать его Владимиром Васильевичем, — и старик наливался кровью, изрыгал бешеные проклятия, брызгал слюною. И, как всегда бывает в таких случаях, путали и студенты и профессора. Путали — из страха спутать.

Из года в год читал Бартольд свой скучнейший предмет по каким-то картонкам, перетасовываемым в его жилистых, обросших старческим пухом руках. А предмет его состоял из многих тысяч названий книг — источников и компиляций — по истории Востока. Его книжка — 400 убогих страниц с десятками названий и дат на каждой странице: этого не был в состоянии запомнить никто решительно. Читал же Бартольд свой курс отвратительно: заглатывал слова, заикался, пришепечивал, перхал, давился чуть ли ни на каждой фразе. Иногда он злобно глядел на нас и шипел, отыгрываясь на своем заикании:

— К-ког-гда в-вы б-буд-дете с-советским-ми п-п-...-ослами н-на Востоке...

Сразу, с первого раза, кажется, никто никогда ему не одавал. Зубрили недели две-три и ходили сдавать Бартольду раз по семи и больше. А я так и не принимался за его предмет. Только, придя с собрания кружка, проводив Шуру, лег в первом часу ночи в постель с книжкой Бартольда — и через четверть часа сладко заснул.

— Андрей Алексеевич, — спрашивал меня на утро невыспавшийся, с красными кроличьими глазами, Николай Павлович: — пойдем сдавать Бартольду или отложим? У меня в голове такая муть!..

Я усмехнулся: в моей голове не было и мути:

— Пойдем все же, Николай Павлович, зачем затягивать? Все равно уж — пропадать, так с музыкой...

У аудитории Бартольда пробоваая тишина. Десятка два юношей и девушек, с заплаканными или покрасневшими от бессонных ночей глазами, последний раз заглядывают в проклятую книжку: все равно ни черта не запомнишь!

— Бросьте, ребята! Перед экзаменом заниматься нельзя: голова должна быть свежей...

Кто-то, позабыв про «опиум для народа», тихонько крестится в платочек — в темном углу.

Вскоре дверь растворилась, и из нее буквально вылетела бледная, со слезами на глазах, Шурочка. А я думал уже не о зачете, не о прозном Бартольде, а о ней, о Шуре: полюбить? Но тогда я пропал, пропал совсем! Такая девушка заставит позабыть не только университет, но и философию, и музыку, и стихи — всё, всё...

Нет, крепись, Андрей!

А из двери как-то неестественно боком позорно выглянул уже Николай Павлович, красный как рак, с неестественно выпученными глазами и дергающейся на тонкой жилистой шее головой. А Бартольд шипел ему вслед:

— И ос-слы д-должны знать м-меру д-для с-своей ос-слинности...

— С-спросил он м-меня, — рассказывал Николай Павлович, — п-про М-марку П-полто, а я со с-страха про П-плано Карпини рассказывать с-стал...

Вот и моя очередь... Ну, Бог не выдаст — Бартольд не съест! С Богом!

— Р-рас-скажите м-мне про Р-рубрука...

Слава Богу, мои занятия средневековьем и русской историей пригодились: я читал самого Рубрука, и читал сравнительно недавно. И не обращая внимания на перебивавшего меня несколько раз академика: — «Д-довольно! Я в-вижу, в-вы эт-то хорошо з-знаете... Расскажите еще о...», — я горюхом състал свое...

— От-тлично! В-вы — н-несомненно б-будущий уч-ченый... Х-хорошо з-знаете источники, — и проза восточников пожал мне руку.

— Урррра-а-а!..

— Неужели сдали, Андрей?!

— Сдал, Шура.

— Какая бабушка вам ворожит? Ведь это дело небывалое еще в летописях университета: Бартольду с одного раза сдать...

— Верно, вашими молитвами, Шура.

Мы шли из университета через Неву. Лед был с торосами, мохнатый от снега и неровный. А над обынделевыми колоннами Исаакия

высилась чуть опущенная снегом золотая его шатка, и день улыбался нам, утешая Шуру:

— Ничего, сдашь в другой раз. Всё образуется...

— Шура?..

— Что, Андрюша?

— Почему мне кажется, когда я иду сейчас с вами, что знакомы мы давным-давно, уже целые длинные годы, что мне не нужно больше ничего, а только идти с вами, бездумно и радостно, и не думать ни о чем больше...

Через два дня мне пришлось делать в кружке доклад на тему «Основные течения в послекантовской теории знания». Готовился я к этому докладу чрезвычайно тщательно, и хотя доклад должен был быть только более или менее академически грамотным изложением схемы развития гносеологической мысли XIX-XX веков, я лихорадочно читал и перечитывал все, что прямо или косвенно имело отношение к вопросу. Мне хотелось блеснуть своей эрудицией, самостоятельностью мысли и элегантностью изложения перед Сергеем Алексеевичем, перед кружком, а главное, перед Шурой...

... Читал я уже полтора часа. И не знал, как выбраться из хаоса плохо переваренных и никак не скрепленных фактов, теорий, мыслей... Я запутался окончательно, я обрывался, и холодный липкий пот отчаянья покрывал мой лоб, руки, виски... Скорее бежать, бежать, куда глаза глядят, бежать от позора! — А нужно еще кончить доклад, как-то завершить всю эту рассыпающуюся, ничем не скрепленную массу слов, нужно отвечать на вопросы, видеть недоумевающие или смеющиеся глаза мстящих тебе за испорченный вечер слушателей, выслушать справедливый разнос Сергея Алексеевича и, главное, заметить слезу сочувствия в ясных золотых глазах Шуры...

Бррр!

Проводив Шуру, разбитый, мрачный, страдающий, вернулся я домой. Меня лихорадило, мне было больно смотреть на людей, стыдно смотреть на свет Божий. Так вот что значит, голубчик, быть корыстным! Ты ведь меньше всего думал о философии, готовясь к своему философскому докладу! Ты хотел распушить перед всеми, а особенно перед Шурочкой, павлиний хвост своего красноречия и своей учености! Ты хотел пленить сердца — и, главное, ее сердце! Что же, получай своё! Поделом вору и мука!

Мне все здесь на память
Приводит бывшее... —

звенит тонкой прутьем музыкальная шкатулка. В столовой у хозяев гости.

— Андрей Алексеевич! Заходите к нам. И музыку послушаем...

... И юности красной
Привольные дни...

... Лепкий, звонкий лед колется под ногами. Солнце. Но мороз топчипыкает уши, горит лицо. Звенит мелодия, знакомая, издаваемая, поэтическая...

Я сижу с Шурой на подоконнике университетской аудитории. Перерыв между лекциями. Смеркается. В аудитории мы одни.

— Проверьте себя, Андрюша. Любовь ли это, или просто очередное чисто физическое влечение? Я... я боюсь заглянуть в свою душу, в свое сердце... Мне хотелось бы задать вам один вопрос: но он вам может показаться страшно тупым...

— Спрашивайте, Шурочка.

— Знали ли вы женщин? Ведь если — нет, то, может быть, ко мне вас влечет только...

Я очень мало знал в то время женщин, но во мне возмутилась вся моя мужская гордость —

Здесь, помнится, меня встречала
Свободного свободная любовь...

А Анна Карловна щебечет около:

— Андрей Алексеевич, я написала новые стихи:

Ты сидишь так печально
У стола, у окна,
Отражая зеркально
Грусть души: — я одна...
Я одна в поднебесной...

Николай же Павлович, вытягивая шею и давясь словами, рассказывает:

— Если бы в ок-к-тябре с-семнадцатого выз-звали имп-ператорскую гвардию, х-хотя бы, с-скажем д-два полка с ф-фронта в Петербург, т-то, н-наверняка, б-большевики бы не устояли... Помню, мне т-тогда сказал г-граф Крекс... Он служил в то в-время в л-лейб-уланском...

— А не в лейб-кирасирском? — спрашивает гость, бывший поручик одного из бывших полков.

— Т-так т-то его б-брат... Он с-сам из Николаевского, а б-брат из л-лажей...

Мне все здесь на память
Приводит бывшее —

— ... Шура, милая Шура... Я люблю вас... Это глупо, я не могу найти слов, я не умею объясняться в любви... Но я люблю вас... Люблю... Люблю...

Шура, тоже разволнованная, раскрасневшаяся, слушает меня на площадке лестницы, ведущей на галерею Мариинского театра. Третий звонок. Но мы не слышим его.

— Андрюша... Но я старше вас. На целых два года... Я... я стара для вас...

Маленькие нежные ручки. Малюсенькая ножка — Шура и покупает себе до сих пор только детскую обувь... Японцы определяют женщину формулой:

Маленькое,
смешное,
манерное...

Стучат колеса: так-так, вот так, не так, не так...

Скрипит вагон: дур-рак, чуд-дак, дур-рак...

— Ох, какой тяжелый чемодан! И чёрт меня дернул повезти до-мой такую тяжесть!

Я помогаю хорошенькой медичке, подсевшей в наше купе в Москве, внести ее потрепанный чемоданишко. До Ростова ехать вместе. Я еду на рождественские каникулы, именуемые теперь «зимними», в один из южных городков.

— Вы куда?

— В Ростов. Я исконная ростовчанка.

— А учитесь в Москве? Разве нет медицинского в Ростове?

— В Москве дело поставлено много лучше. Да и пожить в столице, хотя бы только в студенческие годы, не плохо...

— Я думаю. Один театр чего стоит!

Разговорились. Краснощекая, с хорошо развитой дразнящей фигурой и яркими манящими глазами, Валя смеялась, весело блестя ровными, немного мелкими зубами, рассказывала анекдоты, напевала старинные романсы и модные песенки.

А в душе у меня мутно шевелилось: «Ты сомневаешься, Шура? Так я докажу и тебе, и себе, что я мужчина! Да, мужчина!»

...Из-под черной короткой юбочки в полусумраке вагона белеет нога выше колена. Неровно вздымается прудь. Валя спит, полуприкрытая синей шерстяной курточкой мальчишеского покроя. Купе одинарное. Мое место — верхнее. Тихо спускаюсь, долго медлю, а затем вливаюсь губами в теплое, белое, мягкое колено...

...Ты не любишь меня... Зачем это всё? Зачем ты так... так нехорошо, грубо отнесся ко мне?...

Валя плачет, я смотрю на ее покрасневшее лицо, на ее небольшой носик с прыщиком на левой ноздре, на заплаканные глаза, — и я лениво лгу ей о своей любви, о порыве, который было невмочь сдержать, о том, что мы еще встретимся, и тогда...

Что тогда? — я не знаю сам, но, по счастью, говорить много и не надо... Валя жадными губами прижимается к моему пересохшему рту, ее слезы обильно смачивают мой нос, мои щеки, подбородок...

— Ты напишешь мне? Ты приедешь ко мне в Москву? Мертвый переулочек, дом два. Постой, я запишу тебе... Ты не позабудешь меня, Андрюша?

— Помилуй, Валя, как можно так думать?...

Опять слезы. Господи, да это целый водопровод!

— Андрюша... Ты... ты не думай ничего плохого... Я полюбила тебя... И сразу, сразу же загадала: если он поцелует меня, то значит — судьба...

И мы долго стоим у окна, у окна в ночь, и я обнимаю Валью, целую ее, но мне смертельно скучно.

Слава Богу, в Ростове мы расстались.

— Так до января! Ты заедешь ко мне в Москву? Непременно заезжай, Андрюша!

Отчего это у меня в душе сидит, кроме меня самого — волнующегося, страдающего и радующегося — еще какой-то другой я, насмешливый, пошло-наблюдающий, холодный и скучающий? Ведь в самые острые моменты близости он шепчет мне: «Как смешно лжешь ты се-

бе и ей... Ты убиваешь себя, ты убиваешь ее... Ты не творишь жизни и радости ее: ты порождаешь только смерть. Да, смерть. Ты объясняешься в любви — и тебе смешны произносимые тобою слова: ты сам им не веришь. И ты, с трудом подавляя улыбку, следишь, как смешно кривится рот у твоей подруги, как краснеют ее нос, глаза, уши, какие большие поры на ее носу и какие глупости говорит она в ответ на твою ложь. Ложь! — ибо двоятся сознание твое, ибо нет любви в сердце твоём...

Маленький городок показался после Питера еще более тихим, затхлым, скучным. Обросшие ином деревья блестели на солнце как-то не по-настоящему, скорее как елочные украшения. Голубоватый снежок, одноэтажные распластанные домишки на таких широких улицах, что каждая казалась площадью, улицах, то с усилием взбирающихся на гору, то стремительно падающих вниз. Здесь протекала юность, здесь собиравался наш кружок молодежи... Но нет уже в городке учителя нашей юности, нет многих друзей, рассеянных по всей суровой земле нашей...

Кроме меня в городок приехали на каникулы Александр Мирошниченко и Борис. Я остановился у родных Бориса, худого задумчивого парня, грызшего ногти и увлекавшегося социологией и политической экономией. Безумный, отсутствующий взгляд, непокорный вихор на макушке, вечно измятые брюки, вытянутые на коленях, и недоуменная растерянная улыбка:

— Нет, что ты ни говори, Сашка, а социально-экономическая система марксизма пока еще не нашла достойного заместителя... Прости, заместителя. Я не знаю — есть ли прещина в этой строгой, железной логике... Почти — как в «Этике» Спинозы. И я не вижу никакого внутреннего изъяна в системе...

— Помилуй, Борис, да ведь тут в самом же начале прубейшим образом подменено понятие абстрактного труда понятием труда черно-рабочего...

И начинается — в который раз! — спор, горячий и оживленный, как будто дело идет о самых живоотрепещущих и практически важных для нас вопросах.

Мирошниченко, мрачный сутуловатый парень, влюбленный в музыку и философию, легко одолевающий Гуссерля и Когена и с трудом преодолевающий упражнения на гобое и английском рожке — он играет в симфоническом оркестре Политехнического института, — долго находился под обаянием «Капитала». И лишь недавно, после двухлетних поисков логического скачка, нашел, неожиданно для себя самого, этот скачок в самом же начале — в теории трудовой стоимости.

Мне бывало всегда немного скучно слушать их спор, их манеру начетчиков — цитировать на память целые вороха положений, формулировок, пересыпать свою речь бесчисленными именами, именами и еще раз именами. Но я любил иной раз исправить спорщиков, помогая теми или иными доводами то одной, то другой стороне, а то и вставляя противоречащие им обоим положения.

Смеркалось. Не хотелось зажигать свет, и из полутьмы выхватывались туманные пятна щек, носа и губ, подбородка или лба спорящих, да иногда спичка, поднесенная к пальпирое, освещала на мгновение ху-

дое лицо и рыжеватую бородку гостящего у Бориса Федора Яковлевича Сергеева.

Федор Яковлевич молчал, затягиваясь папиросой или пуская легкое колечко дыма, но мы знали, что он внимательно вслушивается в наш беспорядочный спор.

— А не кажется ли вам, друзья мои, что строгая логичность и отсутствие противоречий в системе и свидетельствуют о ее нежизненности. Ведь только мертвое может быть правильно, более или менее правильно оценено, расклассифицировано, расположено. Какой порядок на кладбищах, — конечно, не в наше, а в нормальное время! — Ровные ряды могил-силлогизмов, прямые аллеи гипотез и теорий... И сквозные ветры жизни не опрокидывают гранитных надгробий, незыблемых и безразличных. А жизнь, живая жизнь кипит, волнуется, бурлит, и не вольешь ее в строго размеренные аллеи теоретического наукобесия...

Борис вскипал, Сашка Мирошниченко с усмешкой вспоминал о химическо-историческом воззрении Курбатова, а я замолкал, и перед моим взором возникал самый размеренный город необузданной свободы, самая гармоническая столица атонального хаоса.

Чёрт его знает, как все ясно там, на Васильевском острове, и как противоречиво и несоединимо здесь, в этом тихом городке еще непопуганного вековечного быта, где каждое утро бабушка Бориса, живая, подвижная, красивая семидесятилетняя старуха, с торжеством приносила с базара какие-то особенно вкусные бублики, не успевавшие еще остыть булочки и вапрушки, от которых за версту пахло устойчивостью, уютом и навеки найденной целостностью уходящего, но милого и родного.

Иногда разговор переходил и на современные темы, и тогда вся семья Бориса набрасывалась на него и Федора Яковлевича:

— Да? Так «всё правильно»? Всё так и должно быть?! Так что же вы сами, Федор Яковлевич, не вступаете в партию, не идете в большевики?

— Я не оцениваю событий с моральной их стороны. Я только говорю о том, что они закономерны и даже неизбежны.

— Это грабеж-то неизбежен? Это аресты и расстрелы неизбежны? — Не раздражайте уж вы меня, Федор Яковлевич, сыпайте-ка лучше что-нибудь русское...

Федор Яковлевич доставал выдавший виды футляр, вынимал скрипку, уходил в соседнюю темную комнату, и оттуда неслись несложные, но щемлящие, задушевно-грустные мелодии.

А затем Сашка читал немного нараспев свои или чужие стихи. Надо отдать ему справедливость, чужие хорошие стихи он любил больше своих собственных:

Я изучил науку расставанья...

— Андрей, тебе два письма...

С нетерпением разрываю конверт. Ну, так и есть! —

«Ты помнишь? Помнишь ли ты свое обещание? Я не могу поверить, что после этой встречи мы не встретимся с тобою больше, что ты не приедешь в Москву, в наш милый Мертвый переулок...»

Мертвый переулок. Воистину мертвый. Отвечать? Но тогда потянется эта ненужная, глупая, мертвая ложь. Паутина...

Второе письмо от Николая Павловича: «Дорогой Андрей Алексеевич! У нас все по-старому. На каникулах отдыхаю от двойной нагрузки: осталась только работа на заводе, мытье посуды в лаборатории — это не утомляет. Для университета кое-что почтительно, но решил как следует проветрить голову. Жена пишет большую поэму. Она просит передать Вам привет. Шура выходит замуж за Рудольфа. Рудольф год да через два будет торным инженером, да он и вообще культурный молодой человек. Вы ведь с ним встречались, конечно? Я плохой знаток философии, но мне кажется, он хорошо разбирается во всяких там Кантах. А я, Вы знаете, готов смешать Канта с кантом на гвардейском мундире и брюках. Но не стоит унывать. Вы еще юны и, пожалуй, это лучше, что Шура выходит замуж. Вы найдете себе подругу жизни тогда, когда станете более спокойным, зрелым, возмужалым. Не сердитесь на меня, — я ведь на полтора десятка лет старше Вас, и мне было ясно без слов. Не горюйте. А если и всплакнете, то и это к лучшему даже. Слезы облегчают. Я помню, как я, уже ротный командир, был глубоко уязвлен... Ну, не стоит вспоминать, кем или чем... И вот, оставшись один, я заплакал. Мужскими, не частыми, незабываемыми, тяжелыми слезами. И я почувствовал, как с каждой тяжелой слезой становится легче и легче на душе. Я не хочу размазывать. Мы с Вами оба мужчины. Простите, что я вообще непрошенным врываюсь в Ваше святая святых. Но я не только Ваш товарищ по квартире и университетской скамье, но и Ваш друг. Надеюсь, это так? На первый день Рождества к нам собрались все наши обычные гости. Заводили музыкальную шкатулку и вспоминали Вас. Скоро уже снова съедемся — начало занятий не за горами. Крепко жму Вашу руку и обнимаю. Любящий Вас Николай Галкин».

Конечно...

Маленькое,

смешное,

манерное...

Почему это так? Я ведь, пожалуй, не так уж сильно любил Шуру. Я знал, что безоглядно полюбить ее — это значило бы уйти целиком в любовь, раствориться в любви, потерять личность свою. Меня неудержимо влекло к ней, но я боялся ее. Боялся как смерти. Но мне хотелось быть для нее и красивее, и умнее, и красноречивее, и мужественнее, чем я есть. Хотелось быть даже более... как бы сказать это? — более мужчиной. Я думал только о Шуре, обнимая эту заместительницу — Валю... Ох, до чего же все это тяжело и скверно! И вот сейчас — один, в другом городе, я врываюсь на постели и не могу уснуть, не могу собраться с мыслями. Я люблю все больше и больше Шуру, потому что Шура уходит к другому, уже ушла к другому, — и чувство ревности переходит в страстное стремление к обладанию... Скорее бы наступало утро!

Мне все здесь на память

Приводит бывшее...

Хрустит снег под ногами. Словно сахарные, блестят на солнце веселые деревья. Хорошо бы идти сейчас с Шурой, смотреть в ее лучистые золотые глаза... А рядом идут Сашка и Борис, нудно талдыкающие:

— Но ведь теория предельной полезности, да и вся австрийская школа...

— А ты возьми лучше «Учение об экономическом явлении» Орженецкого и «Хозяйство и право» Штаммлера...

Шура вырастает в опромное, всего меня заполняющее. Кажется, если бы я обладал ею, я бы никогда не мог так любить ее. Она перерастает меня, мою любовь, мою мысль. Она наполняет всё вокруг меня, все окрашивается моей, моей Шурой, не той, что провалилась на зачете Бартольдуду, не тою, которой объяснялся я в любви в длинных коридорах Мариинского театра. И уже, конечно, не тою, что вышла замуж за Рудольфа. Нет, именно тою самой. Светлая, светлая, недостижимая для меня, она уже не мучит меня — и снова радостно искрится искучно посиневший было снег, и снова врывается глуховатый басок Бориса:

— Но ведь экономический принцип: достижение наибольшего результата с наименьшими затратами — это принцип всеобъемлющий, а не только экономический принцип...



— Опять мы расстаемся надолго, Федор Яковлевич. Перебирайтесь-ка вы в Питер, а?

— Я и сам подумываю об этом. Да трудно с комнатой. И с работой нелегко. Я ведь бывший эсер...

И снова вагон. В Питер! Вагон дребезжит, а рядом со мной старичок-крестьянин, возвращающийся домой, куда-то в Тверскую глухомань, рассказывает вкусно, медленно пережевывая слова:

— Края у нас благословенные... Яблоки — чистый сахар. Ягод всяких — прямо рай. Вот только дороги — не приведи Господь! Грязища: едешь, а за колесами вся Рассея тянется...

В соседнем купе кто-то не менее смачно рассказывает соленые анекдоты. Дремлю. Вагон равномерно покачивает, вьется сизый махорочный и папиросный дымок, а в сознание — вместе с колесами — глухо бьется одно и то же:

Шур-р-ра — Шур-р-ра — Шур-р-ра...

В окна подплывает предраcсветная серость, надвигаются облезлые дома окраин, фабричные трубы, нескончаемые монотонные деревянные заборы заводов.

Петроград. Петрополь. Петербург.

Поезд останавливается. Мокрый перрон, захарканный подтаятым желтым растоптаным снегом. Оливково-серые чугунные столбики, грязно-черные переплеты вокзальных павильонов.

Двенадцатый номер трамвая. Домой, скорее домой!

— Съезжинская...

— Вы выходите? Нет? Простите, я схожу на этой остановке.

Выталкиваюсь на торцы Большого проспекта.



Зима 1924 года была необычайно суровой. После обычной слякотной погоды — в январе ударили морозы. Желтый пар, обледевшие колонны домов и соборов, сквозь морозный туман — буро-красная тро-

мада Зимнего дворца. Пронзительный ветер, колючий, злобный. Кажется, сквозняк снесет вас с моста, кажется, ветер снесет и сам мост. Мы идем с Николаем Павловичем из университета. Ветер срывает с меня кепку, я гонюсь за нею, и слышу, сквозь завывание ветра, ласковый, такой душевный голос Николая Павловича:

— «Он с-слишком юн д-для меня . . . Я н-на целых три г-года старше Андрея». А я г-говорю ей: — Ш-шура, ведь эт-то пустяки — три года. «Д-да, — отвечает, — н-но не тогда, к-когда старше женщина. Он еще будет много увлекаться, а я . . .» Может быть, Ш-шура права . . . Не тужите, Андрей, в-все на свете трын-трава . . .

И опять ветер срывает кепку. Она катится к самым перилам, еще немного — и ее сбросит вниз, на лед. Волосы мои развеваются на ветру, я бегу за кепкой, в последний момент ловлю ее, хватаю . . .

Что это за гудки? Почему все так озабоченно бегут по улицам? Почему встреченный нами профессор Титов с ехидной улыбкой говорит Николаю Павловичу: «Рыба начинает вонять с головы», а Сашка Мирошниченко, не отвечая на поклон, машет рукой и несется дальше по Биржевому мосту?

. . . Ленин умер.

Умерла эпоха революции. Умерла эпоха жизни. Умерла наша юность.

Море красно-черных знамен. В Большой университетской аудитории портрет Владимира Соловьева давно уже заменен портретом Владимира Ленина. Сейчас портрет осенен красно-черными полотнищами. На кафедре, после профессора Быкова, Пермляков. Он искренне плачет. Мы знаем, как чужда этому партийцу партийная догма. Но Ленин для него, да и для многих, самых далеких от партии людей, — огиоудь не «гений марксизма и вождь мирового пролетариата». Он — вежа на завьюженных перепутьях революции. Важный путевой столб на дорогах нашей юности.

— Товарищи!

По непроезжим дорогам родины нашей, сквозь ночь и снеговой буран, бредем мы в неведомые манящие дали нашего завтра. И тяжел путь наш, и единственно, единственно, что толкает нас вперед, нас, обессиленных и смертельно усталых, — это мерцающий где-то впереди огонек. Огонек говорит нам: — Иди. Иди: недалек уже приятный очаг. — И мы идем сквозь ветер и вьюжные заносы, сквозь ночь и неизвестность. И вот . . . И вот . . . Огонек погас. Ленин умер . . .

В переполненной до отказа аудитории заглушенные всхлипы, кашель. Многие сморкаются. Жалуют себя, свою сломенную жизнь, свою надорвавшуюся юность. Многие невольно вспоминают о том, как немного осталось жить им самим, как эфемерна вся наша земная дорога, как недействительна вся наша действительность, все смятение чувств и сумятица событий. Да и что будет завтра? Не хуже ли?

А в Москве, перед пробом Ильича, уже клялся быть верным его заветам маленький черноруый Сталин, еще никому неведомый, еще никем и ничем не отмеченный . . .

Вы жертвою пали
В борьбе роковой . . .

Знамена склоняются. Бюро объединенного комитета пролетарского студенчества — Пролетстуда — идет во главе колонны вузов. Знамя несут коренастый, немного рябоватый Пермяков, для всех нас — старик (ему больше тридцати лет), и горняк Рудольф, белокурый стройный поволжский немец с бледно-стальными холодными глазами. Плакаты, знамена. Лозунги. Оркестр далеко, и нам слышны только редкие ноты баритонов и такт большого барабана: бумм-бумм-бумм... А над нами красно-черные полотнища, портреты Ильича и лозунги:

«Ленин умер, но дух его с нами»...

— Смирр-р-рно!

Под знаменем навьтяжку Пермяков и Рудольф.

Рудольф... Ну, что нашла в нем Шура? Красив? Пожалуй... Но какое холодное лицо! Какая немецкая размеренная честность в движениях, в походке, в разговоре! И в кружке он так же методичен, так же гладко выстроганы его мысли, его безукоризненно-скучные силлогизмы. А Шура, русская, золотая Шура... Рудольф смотрит вперед водянисто-прозрачным — и вместе с тем непроницаемым — взглядом. Он уверен в себе, в своем пути, в своей маленькой, по последней немецкой моде, философии. Он — пессимист-идеалист и любитель-музыкант. Он играет на виолончели концертштюки и аккуратно прочитывает каждый день по главе какого-нибудь нового философического просбуха.

А, может быть, я просто ревную — и тляжу на него недобрый глазом?

Ко мне подходит Пермяков. Его сменили, и он разминает застывшие на морозе ноги.

— Да, умер Владимир Ильич. А я помню его еще в семнадцатом. Я стоял на карауле в Смольном. Все волновались. Осада Зимнего затягивалась. А в задних комнатенках прятался загримированный Ленин. Мы тогда боготворили его... Человек всегда был и всегда будет противником заповеди: «Не сотвори себе кумира», — смехнулся Пермяков. — И все-таки, как вспомню те годы, — на душе легче станет. Мне тогда двадцать третий шел... Хорошее время — юность!

— М-меня тогда н-наши солдаты выбрали п-полковником. Н-наш полк стоял тогда... — И Николай Павлович задумчиво покрутил свой тощеватый ус: — М-меня солдаты любили. П-помню я Рождество шестнадцатого на позициях. Стояли м-мы в лесу. Решил я своим солдатам елку устроить. Послал фельдфебеля Нич-чипоренко в ближайшее местечко за водкой, колбасой и пряниками. Дал ем-му из с-собственного кармана полсолни. Накупил он шкаликов, свечек, колбасок и п-пряников в еврейской лавчонке, да и н-назад. Выбрали м-мы елку покрасивее, повешали шкаликов, колбасок и пряников, да свечек понатыкали на ветки, зажгли их, батальон м-мой не нарадуется: — Спасибо, в-ваш-высокобродь, н-ну и красно-т-тта! — А я...

— Стою я в коридоре. Вдруг выбегает Ильич. То ховался, то бавался, а тут волнение допекло до невозможности: — «Скоро ли они, дьяволы, возьмут его?!» — кричит. А о взятии Зимнего еще ни слуху ни духу. Стреляла по дворцу мадросня, да позорно плохо: только карниз поцарапали... Эх!...

... «Ленин умер, но дух его жив» ... «Ленин умер, но жива его партия» ...

... Тамм-тамм-таммм ... —

Тяжелый такт большого барабана. Траурный марш:

Вы жертвою пали
В борьбе роковой ...

— В в-восемнадцатом г-году я ушел из п-полка. А перед этим в п-полк приезжал Ленин. М-маленький, говорил визгливым д-дворянским голоском. Грассировал. Но говорил основат-тельно и убедительно, н-надо признать ...

*

— Шура, конечно, Ленин не наш с вами герой. Но не можете же вы отрицать, что это — мировая историческая личность. Как бы он вам ни был отвратителен ... Вот и Николай Павлович ...

— Оставьте. Не будем лучше говорить на эту тему. Хватит с меня моего Рудольфа ...

В кружке сегодня доклад Александра Мирошниченко. Еще не все собрались. Докладчик нервно кусает заусеницы и крутит листки с выписками и тезисами. Влетает Борис.

— Ребята! Город наш теперь — Ленинград!

Люблю я Ильича творенье,
Люблю его советский вид,
Невы партийное течение,
Науки ленинской гранит ...

— Глупо, Борис, пошлятина ...

— А слышали, что на траурную демонстрацию петергофский ассенизационный обоз вышел с лозунгом: «Ленин умер, но дух его с нами» ...

— Говорят, цензор Ленлита увидал курс петропрофии, и с перепугу, сразу переименовал его в ленинграфию ...

— Самое интересное, — рассказывает между тем Пермьяков, — это то, что никто не ожидал тогда такого невероятного, постыдного отсутствия сопротивления со стороны Временного правительства. В самый день 25 октября Ленин, еще заgrimированный и переодетый, охранялся нами, самыми проверенными из проверенных, в задних комнатах Смольного. Выглянул он как-то в дверь или в окно, а там проходит Дан и еще кто-то с ним. Дан эдак хитро усмехнулся, а Ильич испуганно: — «Узнали, сволочи» ...

— П-позвал бы Керенский п-пару гвардейских полков с фронта, — нич-чего бы не б-было ... И Октября бы в-вашего не произошло бы: историческая случайность, — дергая шеей вставляет Николай Павлович: — Но сам-то К-керенский ...

— Ну, это вы хватили чересчур, Николай Павлович, царизм был давно обречен, да и керенщина тоже ...

Когда я подсаживаюсь к Шуре и Рудольфу, Шура густо краснеет и не смотрит мне в глаза. А Рудольф глядит на меня ничего не говорящими честными стальными глазами и спрашивает — прочитал ли я «Философию жизни» Риккерта.

Отчего это все мы какие-то невсамделишные, не можем с открытой душой подойти к жизни, к науке, к любви, к творчеству... Недотыкомки какие-то. Как-то я задал этот вопрос Федору Яковлевичу:

— Федор Яковлевич, ведь и реагируем мы на боль душевную и телесную как-то не по-настоящему. Как будто мы не из плоти и крови, а из воздуха и светотени созданы.

— Андрей, ведь это так понятно. Жизнь так жестока, столько испытаний пало на нашу долю, что мы биологически вынуждены стать иными, чем прежние люди. Не будь мы такими, утратившими значительную долю чувствительности, мы не выдержали бы и согой доли переживаний, павших на нашу долю. Для любой эмоции, для развития любой резко характерной черты — нужно время... А жизнь не дает нам сейчас ни отдыха, ни сроку...

Опять письма, открытки, снова письма от Валли. Мольбы, упреки, угрозы. Не буду отвечать. Паутина...

Борис и Мирон Гуревич внесли в наш кружок литературные темы. Оба — убежденные противники любого социологизирования в литературе. Оба — «формалисты». В их выступлениях то и дело выскакивают имена Шкловского и Томашевского, Тынянова и Эйхенбаума. А за всем этим — пафос научности, форма искусства, как единственное содержание науки об искусстве.

Пермяков морщится: — Все равно от социологии не уйдете, — говорит он: — Ну, хорошо, мудрецы. Вы изучаете приемы искусства, литературы. Но не только его содержание, сюжет, но и сами формы искусства вы не отдерете от времени, от моды, от класса или — хотя бы — узкого кружка потребителей искусства — читателей, слушателей, зрителей.

— Но, если мы начнем изучать содержание, — мы уйдем от научности, начнетсЯ произвол, субъективность...

— А как вы отрешитесь от воспринимающего искусство его потребитель — зрителя, читателя, слушателя? Ведь в искусстве всегда две стороны, обуславливающие его содержание, форму и направление: творец и потребитель... А отсюда — необходимость учета психологии зрительного зала, читательской группы, аудитории. И психологии самого творца. Групповая психология — та же социология...

Наши формалисты волнуются, спорят, жестоко брызгают слюной. Марксизм у всех стал поперек глотки, поэтому многие рады хотя какой-нибудь отдушине.

В пятницу лекцию в кружке читает сам Сергей Алексеевич. О проблеме теодицеи у Достоевского.

— Только Распятый Бог, только приявшее на Себя грехи мира Слово примиряет Достоевского с Богом. Иначе и он, как Иван, возвратил бы почтительнейше билет свой в Царствие Небесное...

После лекции Сергей Алексеевич подошел ко мне и Борису.

— Я хочу прочитать вам мое последнее стихотворение... — Старик застенчиво улыбался просящей улыбкой непризнанного поэта:

Часы бессонницы милей мне злобы дня,
Стихает в них тоска моих дневных томлений,
Еще колеблются обрывки сновидений
И тают в сумраке лампадного огня.
И время, хитрый маг и счастья евнух,
Не властно надо мной: часы или минуты
Текут — не знаю я, — я мира скинул путы,
Дрожат лучи огня, и вот огонь потух.
Тогда минувших дней во мне воспоминанья
Встают, как выходцы из дальнего изгнания,
Живут, как встарь, со мной, волнуя и любя;
И в будущее путь мечта мне пролагает,
Надежда вторит ей, и время умирает,
И в лоне Вечности я чувствую себя.

Наступило неловкое молчание. Наконец, Борис начал тоном метра или задорного молодого петушка:

— Видите ли, Сергей Алексеевич...

Мне стало неловко, и я поспешил отойти.

Я мечтал о карьере философа. Но где-то в затаенных уголках души гнездилась иная мечта — мечта о писательстве. Как это обычно бывает, я мечтал не о деятельности, а об ее результатах. Не о самом творчестве, а о славе. Вот я, молодой автор нашумевшего романа. Я иду по улице, а кругом только и слышится: «Видите? Знаете ли, кто это? Это — наша гордость, наша знаменитость, талантливый романист Андрей Петров!» Но я не заносчив, я великолепно скромнен и великодушен... И мне до слез приятно моя собственная величавая скромность...

А роман? Какой я напишу роман? Этот вопрос я уже давно решил. Это будет роман о моей родине, о Рассее и самом расейском ее творце и герое, коренном руссиче — Мусоргском. В моем сознании уже давно выплестовались отдельные сцены романа. В нем, в Мусоргском, должна, как в капле воды, отразиться вся необъятная, неслучайная, хмельная, богоносная и боговыносная, разинская и радонежская Русь:

Лейтесь, лейтесь,
Слезы горькие!
Плачь, плачь, душа
Православная!
Скоро враг придет,
И наступит тьма,
Темень темная,
Непроглядная.
Горе, горе Руси...

... Вот Мусоргский, больной, полубезумный, спившийся, вклоченный. В сером халате больницы для солдат, бродяг и нищих, с широко раскрытыми выпуклыми глазами. Им сделано уже все, что только он мог сделать. К новым берегам жизни, творчества, искусства!

«Скоро на суд... Бодро до дерзости смотрим мы в дальнюю музыкальную даль, что нас манит к себе, и не страшен суд. Нам скажут: «Вы попрали законы божеские и человеческие». Мы ответим: «Да», и

подумаем: «то ли еще будет». Про нас прокаркают: «Вы будете забыты скоро и навсегда!» Мы ответим: «Non et non, Madame». Вперед, к новым берегам! И там будет воочию ясно каждому, что мудрость мира сего — смрад перед Господом, что мудрость безумных часто выше и глубже безумия мудрецов!..»

— Как подвигается твой роман, Андрей?

— Я его обдумываю, вынашиваю, Борис.

Фонтанка медлительно проталкивает первые декабрьские льдинки. Солнце искоса поглядывает на Летний сад, Инженерный замок, Пантелеймоновскую церковь. Я стою с Ниной у решетки моста. Я лихорадочно жму ее ручонки и бормочу извечную несусветную чушь о любви, верности, нежности, черт его знает еще о чем. Нина глядит на меня широко раскрытыми глазами и упивается пошлейшей и банальнейшей музыкой слов... Женская любовь — большая формалистика: ей мало нежных взглядов, делящихся часами, мало объятий, поцелуев — она требует словесного подтверждения. Какая-то нотариальная заверка любви. А Нина ведь девушка не только хорошенькая, но и тонкая, и умница, и не раз слышавшая подобные излияния. И все-таки каждый раз они звучат для нее по-новому. И пусть потрепана ее шляпка, пусть шерстяной жакетик троносился до состояния кисеи, — как хороша жизнь!

Дразнят, конечно, жирные и теплые, пестрые и вкусные витрины ленинградского нэпа, но что ж из того? Ведь и у нее, и у нас, ее друзей, в кармане ни гроша. Десятирублевая стипендия и работа пружиками в воскресном портю — на это не разойдешься. Но не все ли равно в двадцать легконогих лет?

— Фу, как ты целуешься! Как велосипедный насос! И тебе не стыдно?! До сих пор не научился...

— Нина... Когда же?..

✱

— А все-таки, Андрей, если ты и прав в отношении несостоятельности философских взглядов Маркса, то его философско-историческая и экономическая концепции трудно преодолимы. И какая стройность системы!

✱

«Ниночка, зайти сегодня опять не смогу. Зачеты. Любящий тебя твой Андрей».

✱

«Андрей! Сегодня на Подрезовой. Рудольф читает о новых работах Лосева. Приходи»...

✱

А в кармане билет на девятую симфонию под управлением Клемпера...

... Медленно тянется сивая кляча. Таратайка кричит, оседая на один бок. Балагула Янкель свистящим фальцетом визжит на клячонку, еле вытаскивающую из непролазной грязи проселка ветхое строение таратайки...

А в стороне, у смешных домишек праздного еврейского местечка, Самуил Гольденберг, лоснящийся и самодовольный лесопромышленник, растекает приказчика Шмуля, рыжего, в веснушках, в крутом заплатанном лапсердаке, тощего и поджарого. А солнце светит радостно и безразлично, и все равно ему: умрет ли от родов шмуленка жена Шмуля, сдохнет ли или вытянет из грязи бричку клячонка Янкеля, будет ли урожай или голод на Волыни или в Псковщине...

... Тянутся люди московские за дребезжащей по жердямкам кривых московских улиц телегой. На телеге — позорный столб, а у столба, притянутый к нему ремнями, сам всевластный вчера еще князь Василий Голицын, посольского приказа голова и галант-полубовнижник царевны Софьи. Давно ли писала она ему послания любезные, «светом своим Васенькой» обзывала, гордые помыслы о державе внушала... А сегодня — позор и ссылка на дальний студеный север, забытие славы и чести, разор и поруганье.

... А вокруг мятущаяся Русь, голодная и вередливая, бунтующая, искровавленная войнами и смутами. Юроды в веригах и железных колпаках; беглые чернецы в рубищах, безглазые и безносые, колченогие и сухорукие нищие; лохматые босоногие заштатные попы, хватающие с голодухи проходящих за полу и прозящие — коли не закажет купец молебен, — закусить просфору с клятвой великой... И надо всем этим истошный вой — «хлеба!» неурядливой, прешной Руси. Святой? Ой ли. А, может быть, и святой. Больно много Господь терзал ее: а коли бьет, так любит: исконная бабья мудрость. И еще выше — по поднебесью — густой жирный звон сорока сороков и медный медовый гуд Ивана Великого...

И ходит по Москве царь-не царь, а пригулок от немки-люторки, подменьши-змееныш, юный Петр. И растет антихристово семя, и плетведами и сорняками зарастают поля, и репы, что лес, покрывают запустелые села, и бегут православные от Зверя на север, в леса олонецкие, в Заволжье — в скиты древлей веры, да на гарь великую — самосожжение: «Сгорим, о братие, телес не посрашим!»

А любовь все так же долготерпит и все освящает: и муки ссылки, и самосожжение, и колесо, и плаху —

«Вспомни, памяти светлый миг любви!»...

Жизнь же беснуется, и летят на метлах никониане и новшествоующие на шабаш, и в ступах и на кочергах, голые, смазавшиеся жиром прешно прижитых и без крещения удавленных младенцев своих, мчатся на Лысую гору ведьмы и ведуньи — молодые и старые, дряблоте-лые, и сочные, как антоновские яблоки...

... Палочка дирижера остановилась. Последние звуки фанфар замолкли. Преображенский марш, ворвавшийся в вопль любви-ревности: «Вспомни, памяти светлый миг любви»...

— Нина!

Пятая скамейка галереи Мариинского театра. Нинючка, с глазами полными слез, всем телом доверчиво прижалась ко мне...

... Тяжелая голова со включенной бородой и припухшими глазами оторвалась от листов партитуры:

— Опять мудрецы заголятся о «басси дивизи» и запрещенных неразрешенных диссонансах...

И все-таки он нашел ее, эту непутевую русскую душу, проклинающую жисть свою, но ни за какие плац-парады и гемютлихи не желающую сменять бестолочь свою и задумственную захламленность свою на —

— Голубчик, Модинька, какая же это — «народная музыкальная драма»?! — возмущенно басит Бах — Владимир Васильевич Стасов. — Смотрите, душа моя: князя Хованские и Голицыны, боярин Шахло-витый, Досифей, в миру князь Мышецкий, Марфа, княгиня Сипцкая... Народ-то где? Сам сермяжный народ наш?

Вот так...

А Поток говорит: — Я ведь тоже народ,
Так за что для меня исключенье?

... И тянется она, заунывная и протяжная, глубокая, как русские реки, песня...

Очевидно, радио за стеной. «Рассвет на Москва-реке»...

— Андрей, вставай, проснись, голубчик... И тихонечко — за перегородкой все слышно... Оденься поскорее — и ступай... Если услышат наши... не дай Боже! — Ниночка, раскрасневшаяся от волнения, в измятой и падающей с худеньких плеч рубашонке, торопила меня. Наскоро одевшись и напялив драные ботинки, я торопливо чмокнул Нину и на цыпочках пробрался из общежития на Мытнинскую набережную.

Светало. На улицах ни души. Мосты еще разведены. Домой идти неохота. На душе было пусто, приторно и противно. Так вот и все? И ты добивался такого финала?

— Финал самое трудное, — копошились в душе обрывки полтумслей: он не давался даже Бетховену. Только, может быть, Моцарту и Баху удавалось достойно заканчивать свои творения...

— Как это глупо! А подумал ли ты о ней? Ты носишься со своим «Мусоргским», которого ты все равно не напишешь. Ты думаешь о кружке, о музыке, мечтаешь о незаработанной славе. Только о ней ты не думал и не думаешь вовсе. Зачем же ты добивался, лез, канючил?! Рассыпался мелким бесом? Для... О, сволочь! —

Здесь, помнится, меня встречала
Свободного свободная любовь...

— Как у многих все это просто! Нет, лучше не читать, не писать, не говорить и, это главное, — не думать...

— Андрей!

— Пермяков?!

— Я был у тебя, но не застал. Долго бродил около дома... Шел вот к Нине, а встретил тебя... — глаза Пермякова чуть-чуть улыбались. — Предупреди, кого сумеешь и успеешь... Кружок погорел... Собираться больше нельзя... А Сергей Алексеевич Аскольдов арестован...



Нам повезло. Поддержали нас месяца два на Шпалерке, грозили, шумели, сажали для острастки даже в смертную камеру, но, ничего от нас не добившись, выпустили Сашку, Пермякова, Нину, Рудольфа, меня, всех арестованных членов нашего кружка. Не выпустили только Сергея Алексеевича. Его обвиняют в идеалистической пропаганде, антимарксизме, поповщине. Ему обеспечена, в лучшем случае, ссылка.



«... Я люблю тебя, Ниночка! Ты можешь, ты должна верить мне. И если я не был у тебя вчера, то виною всему — служба. Нас, стажеров, заставляют частенько работать сверхурочно. Сегодня постараюсь вырваться и прийти. Твой Андрей».



У меня могла бы быть большая, глубокая любовь. Почему я не отдался порыву, не влюбился в Шуру?! А вот теперь этот ненужный, надсадный, досадный надрыв... Опять письмо от Нины. Господи! Ведь мы можем и просто встретиться с нею — на концерте, у Олега, наконец... Правда, после нашего ареста мы избегаем ходить друг к другу...



— Андрей Алексеевич, заходите к нам. Сегодня наш полковой праздник. Вы загрустили чтой-то... Не унывайте! Все наладится. А, говорят, Шура тоже несчастлива в семейной жизни... Рудольф...

А музыкальная шкатулка все поет и поет — одно и то же:

А вот и дуб заветный: здесь она,
Обняв меня в последний раз, поникла...

— Андрей Алексеевич, знаете ли, что вчера арестовали Мирона Гуревича? Началось большое гонение на формалистов. Горбачев в «Вечорке» назвал институт истории искусств «последней цитаделью неразоружившейся буржуазной идеологии»...



Я стою на перекрестке пустеющих улиц. Сумерки. Только осенние листья покрывают плиты тротуара и торцы мостовой. И снова моя мысль обращается к Нине. Итак, связь оборвалась. А, думалось, она не будет столь быстрой. Ну, что же.

Нина уже и не пишет мне. Но теперь пишу я ей — назойливо, глупо, бесполезно. Письма с Петроградской стороны на Васильевский остров!

«Мне трудно писать тебе. После того, что произошло, мне кажется, я должен был бы писать все как-нибудь иначе. Может быть, кверху

ногами. Может быть, с заглавными буквами на конце слов. Во всяком случае, не в обычной манере всех пишущих. Не знаю — о чем и как писать. Но не писать не могу. Ты думаешь, в моей душе горе? Отчаянье? Разбитые надежды? «Сгоревшие мечты»? О, нет. И лучше (не приписывай себе такой власти над душой моей!), и много хуже: в моей душе сейчас вовсе нет души: душа обездушена, я опустошен. Ощущение противное даже физиологически. Фи!

Я представляю себе, что твоя любовь ко мне превратилась в яркую и доставляющую немалое наслаждение ненависть. О, как я в этом отношении завидовал бы тебе, если бы мог — в теперешнем моем состоянии — хотя бы завидовать! Но и этого я не могу. Я действительно пустой, как чехол от поперянного давно уже финского ножа: знаешь эту сохнущую пустоту?

У меня не только нет ненависти к тебе, но даже какая-то недоуменная привязанность не к бабьему, а к человеческому в тебе. И это тоже как-то ни к чему, и обидно для нас обоих.

И это нелепое письмо с выворотом всего нутра наизнанку я не могу никак подписать, нет возможности подписаться именем: и его уже нет. Разве подписаться просто и, поверь, отнюдь не претенциозно: «я». Ты скажешь: эгоист. Может, и так».



Нет, опять не то! Как трудно отвоплотить то, что так ясно духу и так неясно слепой душе нашей. А, главное, эта проклятая моя бездарность, безъязыкость, связанность! А, может, и связывать-то у меня нечего? Может быть, все мое стремление сказать какое-то новое слово, что-то нужное, большое — есть только неутешаемая ничем язва ущемленного жизнью самолюбия? Может быть, ты, друг мой, всюду и везде второй: в любви, где ты никогда не был первым у женщины; в творчестве, где тебя ловят на перебегающих литературных влияниях, да и твой роман о Мусоргском, вынашиваемый тобою уже много лет, — есть лишь музыкально-литературная сублимация страсти и творчества; второй в жизни, в любви, в работе, в сочинительстве... Второй, — следовательно, — второй сорт... А жизнь все так же влечется — безнадежная, бесперспективная, хотя ты и пробуешь уверить себя, что начинается она завтра...

А пишут все. Но на виски седые
Уже легла тень ржавая косы, —
И ни читать, ни петь, ни говорить
Не стоит. Лишь сидеть за кружкой пива
Там, под каштанами, на заспанном столе
Чертя рукой дрожащею обрывки
Каких-то слов, каких-то чувств и мыслей,
Что вымучены опытом души.
Не до конца. Без всякого начала.
На листьях вечеряющее солнце,
В стакане горьковатый холод пива,
А на душе спокойствие утрат,
Все учащающихся час от часу.

Благословенно будь седое время!
Как листья осени, как изморозь в песке
И паутина на немой эстраде...

Пермяков выпругает, конечно, меня за эти стихи. «Нужно писать бодрее!» — скажет он, и будет прав: кому нужно сейчас такое нытье. А потом еще и подымет меня на смех: «ну, какие у тебя-то седые виски! Почему это сосунки и недоросли так лезут в старики и мизантропы! От избытка семени, очевидно»... И прибавит что-нибудь уже совсем соленое.

Как я начал писать стихи? «То было раннею весной»... В юности все пишут стихи. Но я долго крепился. Забывал порывы в поэтическую печаль Кантом и Бергсоном, а если не выдерживал, то сразу же жег мои незаконнорожденные стихишата. Но как-то раз — это было в конце 1924 года — сидели мы целой компанией в дешевеньком ресторане. С нами был и небезызвестный тогда поэт и прозаик, вскоре унесенный чахоткой, Костя В. Уже немного навеселе, Костя предложил нам всем задачу: описать в стихах витрину гастрономического магазина, прямо глядевшую на нас сквозь давно не мытое окно ресторана: — Вот вам тема. Время на написание стихов — двадцать минут. По часам. Вот. — И Костя положил на стол часы.

Я написал — в числе прочих — какую-то чепуху. И был поражен, когда Костя именно мои стихи забрал и с серьезной миной сунул себе в карман. И еще более я был ошеломлен, когда увидел свои стихи напечатанными. Это была моя первая вылазка в изящную словесность.

А затем вышел мой первый жидкий-жидкий сборничек стихов. Назвал я его претенциозно и весьма неудачно, хотя по существу и правдиво: «Мусор слов». «Не смеем спорить с автором», — назвал свою рецензию о моей книжонке язвительный литературный критик...



Я уже три года работал инженером-экономистом в одном из строительных престов Ленинграда. А год назад приехал в Питер и поселился в моей комнате и Федор Яковлевич. Экономистом я стал не по призванию, конечно, а по нужде: к востоковедению меня отнюдь не влекло, научная карьера после ареста была невозможна, вот и пришлось как-то изворачиваться: всеми правдами и неправдами пробраться в вечерний строительный институт, с прехом пополам закончить его, одновременно работая на строительстве.

Живой, откликающийся на все, подвижной и быстро реагирующий, Федор Яковлевич сделался моим постоянным спутником на концерты, в музеи, в оперу. А после — оживленные споры — на любые темы: политические и музыкальные, философские и театральные, социальные и литературные.

Жили мы какой-то совершенно абстрактной жизнью. День распался на две количественно и качественно неравноценные части: большая часть дня уходила на работу — на зарабатывание какого-то прожиточного минимума, — а меньшая, но гораздо более значимая, отдавалась книге, искусству, музыке, друзьям. И стоило жить для этого.

Мимо нас проходила личная жизнь, наши увлечения были мимо-

летными и беспорядочными, но от тюрьмы до ссылки и от ссылки до тюрьмы мы читали, спорили, слушали Баха и Мусоргского, Корсакова и Моцарта, ходили по дворцам и музеям, писали монографии о Камеруне и о геометрической аксиоматике.

— Слушай: почему я так люблю Малера? Почему мне так дорог Диккенс? — Потому что в них, в их произведениях человек больше мастера. Когда я слушаю Равеля, Онеггера или Шенберга, я думаю: да, это очень большое мастерство, очень искусная работа. Но человеческого, настоящего, большого я не чувствую в этом. А когда слушаю Брукнера или Малера, когда читаю Достоевского или Диккенса, я не думаю о том, как сделана эта симфония, этот роман. Может быть, техника Пикассо современнее и в чем-то утонченнее рембрандтовой. Но утерян человек — и мне все безразлично, скучно, ненужно. А Сервантес и Моцарт, Шекспир и Бах, Диккенс и Бетховен, Достоевский и Рембрандт — прежде всего люди, личности, много больше, чем их собственные произведения. Нужно, чтобы ты чувствовал, что творец-то много больше сотворенного, что он не все без остатка вложил в свое творение, а еще и еще даст многое, что не укладывается в увиденное, уже услышанное. Не исчерпал себя творец, как исчерпывает себя до последней капли мастер. А вот современники чаще всего мастерски опираются в усовершенствованную технику душевный мизер и опустошенность. Не таков Малер.

— Но как немного было публики. Нет, не приучилась еще наша интеллигенция слушать настоящее!

— Так и должно быть. Ведь подлинная культура всегда количественно опростытана. Она всегда сосредоточивалась в небольших кружках, замкнутых труппах, отдельных личностях. Это — как бы глубокие колодцы со свежей, студеной, целительной водой. Но расплескайте эту влагу по всей пропыленной пустыне безправотствующего благодушствующего большинства, — и в мелкие гниющие болотца разольется ключевая вода, и смрадные черные жирные мухи, разносители заразы и смерти, народятся из гнилой жижи. Эпохи культуры — глубокие нечастые колодцы. Эпохи просвещения — гнилые мелкие болота...

— Не очень-то вы демократичны, Федор Яковлевич. А еще бывший эсер!

— Я не оцениваю ничего. Я просто вижу — и говорю, что я вижу.



Я часто думаю: ну, чего нам не достает? Уменья работать? Нет, оно имеется. Вкуса? Но и вкус есть, и известная культура... А вместе с тем, мы только говорим, обсуждаем, разговариваем о методологии предмета или сюжетики романа, приступаем к библиографии вопроса или изучению приемов письма. Говорим. Горячимся. Обсуждаем. «А воз и ныне там»... Нет в нас той открытой, детской простоты, с какою наши деды и отцы брали жизнь, литературу, капитал, мысль, женщину, музыку, веру. О, Фомы неверные! «Верую, Господи, помоги неверию моему!» Делать надо, жить надо, любить надо. А мы только гаденько толчемся вокруг и поглаживаем ручки, смакуя «подходцы». Тьфу!

Как-то на улице встретил Пермякова.

— Как, ты здесь? Почему же мы с тобой никак и нигде не встречались?

— Тайком, Андрей. Я ведь уже год, как выброшен из партии и выслан в Новгород. А потом и из Новгорода выбросили — в Боровичи, техникум на фарфоровый завод. А ведь я — инженер... Сейчас приехал своих поведать. Да и купить что-нибудь в «Гастрономе»: в провинции-то ничем не разживешься — хоть зубы на полку клади.

— А как Сашка Мирошниченко?

— На Ухте. Десять лет. «Контрреволюционная организация»...

— Так...

— Андрей, выбирайся, голубчик, и ты из Ленинграда... Все равно упекут, — а в провинции авось отсидишься до поры...

Уехать? Да, может быть, Пермьяков и прав. Но ведь меня привязывает к жизни сейчас только искусство. И не творчество, а пассивное поглощение музыки, театра, картин, литературы. От науки отстал давно — нельзя же принимать всерьез мои брошюры о малом амплитре и Камероне... А в провинции... И потом только в Москве и Ленинграде можно как-то сводить концы с концами. В провинции же, где еще в прошлом году миллионы умирали с голодухи, нет и хлебушка вдоволь. Весь прошлый год я стал домой, в хлебный южный городок, сахара, муки, сахар. А в Питере, при бесконечных совместительствах и халтурках, консультациях и лекциях, можно все-таки жить, — и жить не так тошно: можно глушить душевную боль непомерными дозами искусства.

Как-то мы с Федором Яковлевичем топтали на вербный базар на Исаакиевской площади. Веселые цветные шары рвались к голубому небу. Цветистые яркие балаганы со сладями, игрушками. Книжные ларьки, где среди всяческой дряни можно было найти и кое-что весьма редкое и ценное. Тещины языки, чертики из синели, шарманки, карусели, перекидные качели, силомеры, Петрушки за размаляванными ширмами, ядовитые прусшевые квасы и жареные подсолнухи. И балаганы с тياتрами, на верхних платформах которых совсем допотопные зазывалы, барабанщики, трубачи, раешники:

В нашем балагане
Есть шуты с рогами.
Невелик расход:
Целковый за вход...

— Зайдем в балаган, Андрей. Я с детства люблю базарные зрелища и увеселения.

И вот мы в балагане. Обычный ассортимент базарных чудес: протыкание обрюзгшей прызготелой «ассистентки-бядерки» в стеклярусном пропотелом бюстгальтере и облезших бархатных трусиках шпагами в «волшебном ящике Олупадина», «женщина-электростанция», от прикосновения к телу которой зажигается электрическая лампочка, полуприличный балет «экрановой звезды танца живота» и, наконец, «разъятие человека со стороны внешних конечностей с танцами и без телесных членов».

На сцене, обтянутой черным бархатом, хмурое испитое существо, разящее водочным перегаром, плясало под истошные вопли просту-

женной гармошки. И вот, «на глазах у почтеннейшей публики», отлетают в противоположные углы сцены его безжизненные руки, убегают в разные стороны ноги, и безрукое и безногое существо барахтается и трепыхается всем туловищем своим посреди сцены. Но взлетает вверх голова — с тем же выражением великого омерзения и равнодушия ко всему на свете, — и один безобразный торс вертит острым задом и поводит плечами...

Кукла? Игра света и черного бархата? Распад атома? Или чёртова пляска нашего времени, всеубивающего и всебесплодного, когда мы не только расточили дух наш и потеряли душу, но и утратили контроль даже над органами собственного тела?

Разве это не я кривляюсь на сцене балагана? Не я ли это, безрукий, безногий, безголовый, безъязыкий, безмозглый — сплошной б е з -, без-, бес... Да, полно, и не бес. Ведь бес — все-таки что-то реальное, хотя бы и со знаком минуса, ну, а я —

— Представление окончено!

Все концерты, театры, кино закрыты на десять дней. Весь город утопает в траурных полотнищах. Портреты, лозунги, знамена.

Убили Кирова.

Все почти знают о подоплеке убийства: хозяин убрал своего слишком выдвинувшегося и популярного сатрапа. Если бы было иначе — зачем было бы распреливать в качестве «кликки убийц Мироныча» его, Кирова, самых близких друзей.

Всюду митинги, собрания, промящие подлых фашистских шпионов и диверсантов, вырождаков человечества. И, конечно, обычные: «Ответим на подлую вылазку международного империализма повышением производительности труда, выпуском нового займа обороны СССР и отчислением недельного заработка на построение эскадрильи «Сергей Мироныч». «Руки прочь! —».

Тра-та-та-та-та...

Пошло. Поехало.

А через два-три дня в Ленинград прикатил и сам отец народов — хоронить Кирова и править по нему тризну, чинить суд и расправу над притихшим и затаившимся городом, три-четыре дня дефилировавшим перед пробом наместника, утонувшим в цветах и траурных полотнищах с трафаретными лозунгами.

А на утро после похорон появился первый синодик расстрелянных без суда и следствия «убийц» Кирова, начались массовые аресты и высылки. Хозяин промил пород, промил ленинградскую парторганизацию, чистил невскую столицу от «бывших»...

Достаточно было носить дворянскую фамилию, быть как-то причастным в прошлом к духовенству или офицерству, купечеству или даже мастеровщине, — и вас в 72 часа выслали из города или арестовывали, терзали, расстреливали.

А мы, остающиеся до поры, до времени невысланными, — нам было не легче: встречаясь, мы недоуменно глядели друг на друга: как, еще в Питере? еще не арестован? — и передавали друг другу очередные сводки: таких-то родственников или друзей расстреляли, таких-то арестовали, таких-то выслали в Мезень, в Лешуконское, в Уфу.

— В Атбассаре умер с голоду Рождественский. Помните, пел «Парсифаля»?

— Выслали, как бывшего офицера, Константина Тверского, и некоторые его постановки в Большом Драматическом сняты с репертуара...

— Профессор Гревениц, главный инженер Ленггражданстроя, высланный в Среднюю Азию со всей семьей, еле-еле получил там работу: железнодорожный мастер; на двести целковых...

— Так ведь он — бывший барон...

— Фриц Штидри полез было жаловаться: из девяти контрабасистов оркестра Филармонии выслали семь... Пощипали и все другие группы инструментов: выслали половину виолончелистов, валторнистов, скрипачей...

Арестовали и выслали и Ниночку. Последнее время, как я слышал, за нею ухаживал ее начальник — инженер из парттысячников, простой рязанский парень, комполка двадцатых годов. И когда Нину с матерью, приехавшей к Нине в Питер за год до этого, выслали, как бывших дворянок, в Мезень, Карасев — так звали ее начальника, — подал заявление о выходе из партии и поехал вслед за Ниной. Сейчас он помогает им, как может, поступив плотником на работу по разборке чудесного мезенского деревянного собора XVII века: другой работы в Мезени не оказалось. И теперь он — муж Нины.

А через два месяца я встретил заплаканную Шуру: Рудольфа арестовали, а ее высылают с дочкой в Уфу.

Лейтесь, лейтесь,
Слезы горькие,
Плачь, плачь, душа,
Православная...

Глухие звуки набата. Зарево пожара. Юродивый, одиноко плачущий на развалинах Руси...

Занавес. Кончился «Борис Годунов».

Идем с Федором Яковлевичем домой. И не успеваем сесть за чай, как звонок, резкий, пронзительный, властный. Ну, пришла и моя очередь!

Два чекиста-курсанта, два чекиста-солдата, смущенный управдом. Ордер на арест и обыск, подписанный прокурором.

Обыск длится томительно долго. У меня тысячи три книг — архитектурных, философских, классиков, современных поэтов. Все их нужно перелистать, пересмотреть — не заложено ли между листами недозволенного? Курсанты неграмотны, как вывеска. Не обращают никакого внимания на сборники евразийцев, контрабандой полученные из-за границы книги Булгакова, Бердяева, Франка. Но их внимание привлекает наличие в моей библиотеке нескольких авторских экземпляров моих собственных книг:

— К чему это в нескольких штуках каждая?..

Объясняю, что это мои собственные научные труды.

— Ишь-ты...

Наконец, мне дают подписать акт, в коем я заявляю, что не было ничего предосудительного и оскорбительного для меня в самой про-

цедуре обыска, и меня увозят в «черном вороне» на знакомую мне уже Шпалерку... Везут между двумя солдатами с заряженными пистолетами на коленях. Солдаты, курсанты, шофер — все хранят хмурое молчание. А я спокоен. Я даже повеселел: ожидание ареста всегда мучительнее самого ареста.

Стоп. Шпалерная — «улица Воинова»:

— Выходите!

Господи! Почему эта комната вся наполнена зеркалами? Зеркала отражают комнату, стол, два тяжелых стула и двух совершенно одинаковых людей, беседующих друг с другом. Зеркала отражают висящую над столом картину: на картине та же комната, заполненная зеркалами; зеркала отражают комнату, стол, два тяжелых стула и двух совершенно одинаковых людей, беседующих друг с другом, и картину, бесконечно повторяющую все то же, все то же...

Один из этих людей — я.

Другой? Кто другой? Мой двойник?

Я не хочу! Не позволю! Этого не должно быть!

— ... Может... должно быть... — дробится в бесчисленных зеркалах. А, может быть, должно быть, это говорит мой двойник?

— К следователю!

И опять тот же путь. Медленно, бесшумно скользят ноги по резиновым дорожкам металлических мостков-переходов. Улей. Пять этажей совершенно одинаковых тяжелых железных дверей с глазками толстого-толстого корабельного стекла, прикрытыми железными веками легко отбрасываемых и еще легче падающих заслонок. А рядом пароходные перила, заплетенные проволокой; вы не броситесь вниз, в гулкую смерть этого широкого колодца-коридора, лишенного междуэтажных перекрытий: были случаи, теперь их не будет! — сетка крепка и часты ее ячейки. Улей. Никакого отличия. Все соты-камеры совершенно одинаковы.

— К стене!

Становлюсь к стене. Это к следователю или от следователя проведут другого заключенного.

— Иди.

Ну, идти-то не так легко!

Глаза засыпаны песком. Ноги вязнут в мягком, но тяжком рыхлом песке. Так трудно, так невыносимо трудно передвигать словно свинцом налитые ноги. А солнце слепит, парит, пот градом катится, мое тело смертельно устало.

— Мама, возьми на руки, понеси...

— Ты уже большой, Андрюша.

Большой. Разве большой?

Но у меня отняли в тюрьме всё: подтяжки, ремни, срезали крючки, изъяли даже шнурки от ботинок. Чтобы не мог покончить с собой. Руки в карманах поддерживают брюки. Почему они тяжелы? Если ноги поднимать, а не приволакивать, ботинки падают. И тут нужны напряжение и сноровка. Но как мучительны эти бесконечные «к стене!» Тело истомлено, указательный палец левой руки распух и на-

гноился, резко пульсирует, но к тюремному врачу не пускают: — сознавайтесь, гражданин. Тогда и к врачу. Зачем тянуть?!

— Не тащись так... И без тебя тяжело: гляди, какую корзину тащу, а ты еще висишь на моей руке, — укоряет меня мать.

— Мам, а мам, — скулю я, — поднеси, мам, возьми на руки...

— Пойдешь своими ножками — пряников мятных куплю.

И я иду веселее — ожидание пряника подбодряет.

А разве дадут пряник? Я ведь сижу по первому разряду: без права переписки, без передач из дому...

У столика конвоир останавливает меня, останавливается сам. За столом сидит молодой парнишка с двумя квадратиками на петлицах. Столик стоит на изгибе коридора, ведущего в переход в другое здание. — «дворец ГПУ» на Литейном. Парнишка сурово смотрит на нас и на бумажку, переданную ему моим конвоиром, что-то соображая. Наконец, —

— Проходи.

Опять бесконечный коридор. И одинаковые двери на одинаковом расстоянии друг от друга. Кабинеты следователей. Конвоир стучит в одну из дверей —

— Подождите.

И меня ведут в ожидальную.

Николая Павловича арестовали за месяц перед этим. Он сидел, вернувшись с вечерней смены на заводе, за книжкой Истории лейб-гвардии Измайловского полка и изредка вскрикивал вслух:

— Н-нет... Как-кое-то н-непонимание все-таки было... Где же здесь история п-полка? Ведь эт-то — история офицерского с-собрания и высочайших посещений его! А где же здесь наш героический с-солдат? Н-наш чудо-богатырь?!

Вчера арестовали Поповых, Яшу Фундатора и Ирину, — Анна Карловна смотрела куда-то поверх головы мужа круглыми немигающими глазами, раз и навсегда затаившими ужас.

— Н-но ты п-подумай: история нашего п-полка, а здесь меньше всего о б-боевых его операциях... Как я этого раньше не замечал?

— Чем-то кончатся все эти аресты...

Звонок. Резкий и отчетливый.

Ввалились управдом, жилец — преподаватель Промакадемии, три красноармейца с малиновыми околышами, чекистка в кожаном пальто.

Обыск был длинным и нудным. Чекистка ковырялась даже в иконах, выстукивала стены, перелистывала все книжки, альбомы, тетради. Многое забрала. Красноармейцы дремали, утомленные длительным обыском. Один из них иногда вставал, нехотя ковырял какую-нибудь из отброшенных в сторону книг, позевывая:

— Ишь-ты, не русская. Немецкая, что ль?

Рассматривая картинки в этнографической книжке, хохотал:

— То-то, некультурность: глянц, голопузые...

И страшно обрадовался, увидав музыкальную шкатулку:

— Это что же? Орган? А можно завести его?

— Пожалуйста.

И шкатулка запела свое вечное:

Мне все здесь на память
Приводит бывшее,
И юности красной
Привольные дни...

— Неужели вы не видите, — Анна Карловна от волнения вся покрылась пятнами румянца, — что это — только наши семейные альбомы?!

— Я должна осмотреть все. Я тоже человек зависимый.

Когда уводили Николая Павловича, он внешне был совершенно спокоен. Только еще более обычного были мутноваты его выпуклые глаза, а седой ус дергался над побледневшим ртом. Он несколько раз перекрестился мелким быстрым крестом на сваленные кое-как в углу раскрытые и развороченные иконы.

— Н-ну, с Богом. Храни тебя Господь, Аня! А я не пропаду. Н-не п-плачь, ты ведь жена гвардии п-полковника...

А Анна Карловна тихо плакала, сжавшись в комочек на потертом диване.

1948. 1960.

Из сербской поэзии

СИМОНИДА

(Фреска в монастыре Грачаница)

Кто злобно ослепил тебя, царица?
Албанец дикий, под покровом ночи,
Когда луна по плитам серебрится,
Кривым ножом твои царапал очи.

Но не дерзнул рукой коснуться грубой
Короны царской с покрывалом тканым
И пышных кос под ним; лицо и губы
Помиловал в смятении нежданном.

И в тихом храме, на колонне стройной,
Мозаикой одета и забвеньем,
Над темным миром ты паришь покойно
Печальным белым царственным виденьем.

Как звезды, что — угаснув — на прощанье
Всё шлют нам свет чудесный и нетленный,
И видят люди трепет, цвет, сиянье
Светил, давно ушедших из вселенной, —

Так светят мне прощенной обидой
Из темноты многовековой ночи
Печально и чудесно, Симонида,
Твои давно померкнувшие очи.

Перевела Лидия Алексеева

Дом со ставней голубой

Рассказ

Вся жизнь промелькнула сейчас перед ним. И так ярко, осязательно, с голосами родных, которых давно нет на земле, чьим-то далеким смехом, чьим-то криком о помощи...

Вереницей пронеслись воспоминания, до последнего часа, когда покидает он дом, последнюю пристань в этой жизни. Обсаженный цветами, невысокий, осевший к земле под тесовой крышей, с двумя большими оконцами, в заново выкрашенных голубой краской ставнях.

Цветы росли и вдоль дорожки, ведущей от дома к калитке, всегда закрытой, так что с улицы, из-за старого забора, тоже починенного заботливой рукой, не было видно, что делается на дворе и в саду, окружавшем дом.

С июня, когда начинали цвести тюльпаны и нарциссы, и до сентября, когда зацветали хризантемы и астры, этот небольшой участок земли, куда вложил он столько труда, цвел и благоухал. Цветы, однако, составляли лишь небольшую часть хозяйства Ильи Васильевича Зимина, бывшего адвоката, автора известного в свое время в России труда по праву, а до последнего часа, когда вышел он со старым фюзаксом на пыльную дорогу, — цветовода, но еще больше садовода и огородника, обладателя грамоты участника областной выставки.

Эта грамота, а главное, свидетельство об инвалидности (в скитаниях он вконец подорвал здоровье) давали Илье Васильевичу возможность жить так, как он хотел, отгородившись от внешнего мира не только забором, обсаженным колючим шиповником, но и полным игнорированием этого, враждебного ему мира. Вообще он больше всего хотел, чтобы его не трогали, забыли.

Он почти никуда не выходил из дома, и на выставку, которая не принесла ему никакого вреда, а только пользу, попал против своей воли. Слава об его помидорах и огурцах распространилась по городу, достигла кабинета местного начальства. Им заинтересовались, но не надолго, чему он был искренне рад.

Илья Васильевич принадлежал к известной когда-то в России потомственной интеллигентской, в середине прошлого века разночинской, а еще раньше — крестьянской семье тех вольных хлебопашцев, которые именовались государственными крестьянами и никогда не знали крепостного права. Он гордился своим происхождением, как гордились

когда-то потомственные рюриковичи, тщательно скрывавшие теперь родственные связи с собственными предками.

Ему не нужно было ничего скрывать: крестьянское происхождение открывало двери в жизнь, если и не обеспеченную, то сносную. Он знал это, но говорил твердо: «Ни на какие компромиссы со своей совестью не пойду».

И не пошел.

Илья Васильевич не шел на компромиссы и раньше, до октября семнадцатого года, защищая справедливость и право на адвокатской кафедре, с жаром и решительностью, свойственной ему в не меньшей степени, чем другим Зиминым, всегда гордившимся своей принадлежностью к славному ордену русской интеллигенции, а участие в борьбе за справедливость почитавшим своим долгом.

Так он говорил, вспоминая прошлое.

Революционный Февраль Иван Васильевич не только приветствовал, но и сам оказался в числе его участников. Речи его печатались в столичных газетах, портреты появлялись в иллюстрированных журналах, и этот короткий период считал он лучшим в жизни. Не мельканье в газетах его имени, что преходяще и всегда забвенно, а тот духовный подъем, то внутреннее горение, что охватывает порою людей, подобных ему, — остались навсегда в памяти.

Нельзя сказать, что Илья Васильевич не принял Октября. Нет, октябрьские события хотя и озадачили его, но он настойчиво пытался найти в них закономерность — и главное то, ради чего он жил: справедливость и право, человечность и свободу. А что нашел, увидел, пережил?

Он возвращается в свое прошлое и видит: то сторбленную фигуру, закутанную в женский платок — это он сам, Илья Васильевич Зимин бредет по Невскому, и перед ним вдруг возникает фигура матроса с лицом, обросшим рыжей щетиной, требующего документы, — то ледяной, прокуренный зал и на трибуне щуплый человек со старомодным пенсне на хищном носу, одетый в кожаную куртку и такие же кожаные штаны, вздувшиеся сзади смешным пузырьком, — выкрикивающий, выплевывающий ненависть ко всему живому и живущему.

Вот бы кинуться в схватку с поднимающимся над землей произволом, в схватку! Но что-то словно надломилось внутри. Слишком яркими были надежды, слишком глубоким разочарование.

Светлое будущее, что рисовалось когда-то в горячих спорах, сначала на студенческих сходках, потом в кружках юристов, словно ухнуло в бездонную пропасть. И осталось...

Память выхватывает видения из недавнего прошлого.

Широко открытые, остекленевшие глаза ребенка, умершего от голода на станции большого города — он только не может вспомнить, где это было, в Воронеже или Курске, — а рядом мать сидит над трупом в оцепенении.

А вот целые штабеля трупов на таежной станции между Обью и Енисеем. Целый железнодорожный состав с заключенными, оставленный без топлива на запасных путях и вымерзший в одну ночь...

До октября семнадцатого года Илья Васильевич слыл человеком и деятелем левых взглядов, но ни к каким партиям не принадлежал, хотя многие друзья хотели видеть его в своих рядах. Предложила и новая власть «поле деятельности», как выразился явившийся к нему

вихрастый человек с маузером в деревянной кобуре, при каждом движении ударявшей его по колену — и наверно пребольно, потому что он каждый раз морщился.

Выслушав предложение вихрастого, Илья Васильевич сказал коротко: «Нет!» В суматохе того времени о визите вихрастого забыли и предлагали еще раз, но Илья Васильевич опять сказал: «Нет!»

Расстрел племянника, мальчика-студента, Илья Васильевич пережил тяжело, но без страха за себя, хотя приходили и к нему, перерыли все в доме, унесли ценные книги. Пережил тяжело, потому что видел в нем, в племяннике, которого все родные звали просто Коляшей, свое прошлое, молодость — с мечтами и надеждами. Племянник его в свои планы не посвящал, но при редких встречах Илья Васильевич замечал, что тот чем-то горит, как горел и он сам в молодости — да и не только в молодости, а совсем недавно.

Когда со временем, после гибели племянника, прошла острота боли, Илья Васильевич начал гордиться им, как гордился еще своим предвидением.

Он словно заглянул тогда в будущее.

Прошло несколько лет. Чтобы не умереть с голоду, он служил то мелким юрисконсультом в мелких учреждениях, то счетоводом или табельщиком. Как был, так и остался холостяком. С родными все время поддерживал связь, но их раскидывало всё дальше по стране. Всё редел и круг друзей, но он никогда не чувствовал себя одиноким, даже когда ушел, как любил говорить, в вольные землепашцы, отделив себя окончательно от враждебного ему мира: в душе он оставил всех близких и дорогих ему.

Покружив по стране, судьба забросила его, наконец, в Зареченск. Город понравился Илье Васильевичу. По берегу реки он шел к Троицкой слободе, в надежде найти дешевый ночлег.

В те годы обитали еще на окраинах городов, в слободах и слободках, бобыли, неизвестно на что живущие в полуразвалившихся хибарках, с пустырями за ними, заросшими бурьяном. Вот у такого бобыля, по фамилии Жижов, постоянно стучавшего деревянным молотком по куску рельса, чудодейственно творившего из старых обрезков кровельного железа ведра и садовые лейки, и нашел пристанище Илья Васильевич.

Дело было летом. Напившись чаю из старого, не чищенного, должно быть, с мирного времени самовара, поговорив о том, о сем с Жижовым, он вышел на двор, который, в зарослях бурьяна, подступил к низким окнам, забитым наполовину фанерой.

Постояв у крыльца, Илья Васильевич пошел через заросли, из которых поднималось несколько старых яблонь и груш, что давало право Жижову именовать свое имение садом. За садом начиналось поле в цветах, за ним — река. Оттуда тянуло вечерней свежестью, тишиной и покоем.

Солнце, краснея, опускалось в поля. Неожиданно, как бывает в разгаре лета в Средней России, потемнело небо, зажглась одна яркая большая звезда, за нею другие.

«Вот бы где отдохнуть», — подумал Илья Васильевич, возвращаясь в дом.

Одинокие, пожилые люди подолгу не могут заснуть. Ворочаясь

на лавке, он слышал, что не спит и Жижов. Завязался ночной разговор, в частности, и о планах Жижова — уехать на Донбасс.

— А что же дом? — спросил Илья Васильевич, принимая в то же время одно из тех решений, что приходят сразу, осуществляются без труда, определяют крутые жизненные повороты. Так уже бывало в его жизни.

— А что же дом? — ответил Жижов вопросом на вопрос. — Пускай себе стоит. Ему не долго осталось — сам и завалится.

— Я бы мог купить его, — сказал Илья Васильевич.

Жижов принял это сначала за шутку, но, убедившись, что постоялец не шутит, заломил цену неслыханную, быстро, однако, уступив, стоворившись чуть ли не на десятой ее части, на безделице, которую Илья Васильевич тут же и выложил.

Так, неожиданно для себя, он и стал владельцем, если и не дома, так как домом никак нельзя было назвать приобретенную заваляшку, то, во всяком случае, куска земли.

На другой день в соответствующем учреждении узаконили покупку, чему не мало способствовало всё то же инвалидное свидетельство. Еще через день, обняв и троекратно расцеловав Илью Васильевича и пожелав ему удач на новом месте, уехал Жижов, а Илья Васильевич, не откладывая дела в долгий ящик, начал в своих новых владениях восстановительные работы. Начал с ремонта дома, с выкорчевки бурьяна.

Наверно только первые поселенцы пампасов и прерий с таким трудом находили материалы для постройки своих хижин, с каким Илья Васильевич доставал в ту незабвенную эру первых пятилеток старые доски для починки крыльца или мел для побелки стен. Лишь глину, которой обмазал стены снаружи и изнутри, в изобилии нашел за садом, в овраге. Со временем он раздобыл даже досок на починку развалившегося забора — и все, от трубы до фундамента, исправил, восстановил своими руками, ощутив незнакомую прежде радость труда на самого себя.

В мытарствах по стране ему пришлось заниматься и физическим трудом на каком-то кирпичном заводе, что принял он тогда как ниспосланное наказание. Но сейчас обнаружил, что труд на себя и для себя, труд, в котором заложено творческое начало, приносит глубокое удовлетворение, душевную тишину. За долгие годы он никогда еще не чувствовал себя так хорошо физически, не испытывал такой тихой радости — то забивая последний гвоздь в заново сделанное крыльцо, то разглаживая, разравнивая глину на стене, то исправляя поломанный табурет, найденный на чердаке.

Пособия по инвалидности никак не хватало на жизнь, и он снова устроился в промысловую артель по обработке пеньки имени «Строительства социализма в одной стране». Название это могло бы удивить неискущенного человека, но Илья Васильевич научился ничему не удивляться.

Прошла осень, в течение которой Илья Васильевич продолжал приводить в порядок дом и землю. Прошла зима. А весной, прочитав предвзвешенно несколько книг по садоводству и огородничеству, он все свободное от несамостоятельной службы время, каждый день до позднего вечера, проводил в огороде. Он перекопал всю землю, засадил ее

овощами, разбил цветники, чему предшествовала длительная подготовка по изысканию путей к семенам и рассаде. Он нашел такие пути, познакомившись со служащим городского ботанического сада. Еще зимой закончил ремонт забора с улицы, обнес весь участок колючей проволокой.

Он выходил теперь на с в о й двор, в с в о й сад и подолгу смотрел на заходящее солнце, на розовеющие в его последних лучах легкие, невесомые облака, вдыхал запахи земли, прислушивался — и, казалось, слышал, как прорываются на поверхность ее, тянутся, наливаются соками первые ростки цветочных стеблей, первые побегі овощей. Земля рождала новую жизнь, и он, как соучастник и свидетель зарождения ее, стоял и слушал.

Сначала его не интересовала материальная сторона. Он даже не знал, что будет делать с овощами, урожай которых, однако, в первом же году потребовал разрешения и коммерческой стороны дела. Как часто бывает, когда их вовсе не ждешь, урожай дал деньги — и не малые. Илья Васильевич и обрадовался и удивился.

Неожиданно просто разрешилась и проблема вековой войны слободских садоводов и огородников с мальчишками, проблема совсем не простая, как может показаться со стороны. Илья Васильевич не гонялся за ними, не жаловался, не грозил «всыпать соли пониже спины». Он откупался, как откупались наши предки, предотвращая набеги кочевников, определенной данью, в данном случае яблоками-паданцами и пожелтевшими огурцами. Этот дипломатический шаг, предпринятый от чистого сердца, произвел большое впечатление: соседские мальчишки не только прекратили опустошительные набеги, но и охраняли его сад и огород от вторжения пришельцев с других улиц.

Второй и третий год принесли еще больший урожай.

Живя подлинно натуральным хозяйством, питаюсь круглый год овощами, забыв вкус мяса и не жалея о нем, не тратя на себя почти ничего, он мог теперь оставить службу, которой так тяготился, и перед самой войной оставил.

Теперь он проводил целые дни в саду, вставая чуть свет, в тот ранний первозданный час, когда человек, подняв голову к чистому небу, где только что погасла последняя звезда, чувствует себя, как никогда в другое время, ближе к Богу.

Он хорошо помнил ту горячую веру, что сопровождала его в детстве и юности. Потом наступило время колебаний и сомнений, потом — в бурной общественной деятельности, в потоке иных страстей и интересов, наступило охлаждение, незаметный отход от веры. Она вернулась в смутные годы, поддерживала в скитаниях. Но только теперь, в эти утренние часы, испытал он всю глубину и успокаивающую силу ее. Он привык уже, выходя на заре, молиться на Восток, туда, где небо светлело и светлело с каждой минутой, пока он стоял, шепча молитвы.

Он шел в сад. Свежесть раннего утра пробегала по спине. Резиновые сапоги, которые он неизменно надевал по утрам, начинали блестеть от росы. Он шел, вдыхая запахи земли и растений — терпкий, ни на что не похожий запах помидорной ботвы, и другой — теплый, летний запах листвы огурцов. Помидоры — у него была целая планта-

ция их — краснели в зелени. Огурцы прятались под листьями. Цвел сладкий перец.

От земли, каждый клочок которой он так тщательно взрыхлил и удобрил, от растений, от утренней росы — поднимались, наполняли воздух запахи самой жизни.

Днем он работал в саду и огороде — работа всегда находилась. Вечерами либо сидел у открытого окна и читал при свете керосиновой лампы, либо выходил на крыльцо, вдыхая вечерний запах душистого табака, будивший воспоминания далекой юности.

Воспоминания о прошлом тревожили его, но не тяготили. Как всякий человек, он совершал ошибки. Если бы пришлось начинать жизнь сначала, избежал бы их, сделав, очевидно, другие, но не было в прошлом — нечестного. Нет, он прошел жизнь, не нанося ран ближним, что оставляет навсегда незаживающие раны в собственной душе. Не пошел и на политические компромиссы, хотя и сознавал с горечью свою слабость, неспособность к дерзанию.

В то же время не осуждал и тех из своих коллег, кто пошел служить новой власти. Достаточно им собственных разочарований. Нет, он никого не осуждал. Он слишком устал. От всего устал. И, может быть, только теперь нашел покой на земле, рождающей наш хлеб, нашу жизнь.

Так думал он в тот незабываемый день, когда пришла весть о войне. Странное он пережил тогда чувство: какие-то смутные, неясные надежды, а вместе с тем и тревогу. Вечером дольше обычного бродил по саду, вышел к реке, стоял над черным ее зеркалом. Едва слышно плескалась внизу вода, шуршала осока. С полей веяло нерушимой тишиной. Из слободы, без единого огня, из темноты, доносился тревожный лай собак.

Ровно через два месяца, 22 августа, к воротам его дома подъехал крытый грузовик. Двое военных, пожилой майор и разбитной лейтенант в сапогах гармошкой и непомерных галифе, почему-то тихо переговариваясь, словно задумали черное дело, постучали в калитку, не поздоровавшись с выпедившим на стук Ильей Васильевичем, не спрашивая разрешения, обошли сад и огород, постояли у реки и, ничего не сказав, уехали.

На следующий день приехали снова с группой красноармейцев, которые, будто Ильи Васильевича вовсе и не было, пошли через сад, топта грядки, срывая на ходу помидоры, и, звякая лопатками, начали рыть.

Илья Васильевич кинулся к пожилому майору, спросил, что же все значит?

Ему объяснили: война. И объявили, что дом его реквизируется, а ему самому лучше всего немедленно уезжать: в городе уже идет эвакуация.

— Я бы хотел остаться, здесь столько труда, — сказал он, чувствуя, как рушится, раскалывается снова жизнь.

— Я вам советую немедленно уходить, — твердо, но с явным сочувствием ответил майор.

Стараясь не смотреть в ту сторону, где рыли красноармейцы, заваливая землей грядки, он обошел сад, отыскал, вернувшись в дом, старый рюкзак, собрал необходимые вещи, забыв, как всегда в таких случаях, самые необходимые, — и, не оглядываясь, вышел в калитку.

По дороге тянулись подводы, шли пешеходы с узлами и мешками, их обгоняли, обдавая пылью, автомобили.

Позади, над городом, уже поднимались клубы черного дыма с яркими языками пламени.

1.

В квадратике, прибитая гвоздем,
Живу, терплю, а надо мною — дом.
Вокруг построены дома другие,
И место есть, и улицы большие,
А мне ни повернуться, ни вздохнуть,
И я жива как будто бы чуть-чуть.
Стучит, стучит в пруды мой молоточек,
Вбивает пвездик жизни все короче.
Прекрасен мир небесный и земной —
Там где-то звезды светят надо мной,
Там где-то солнце зимний день согреет.
Не все ль равно! Дожить бы мне скорее!
Печали и терпенью есть предел —
Квадратик мой всю душу мне заел.

2.

О том же самом говорят,
Все повторяется годами,
И двор метут все дни подряд, —
А снова мусор перед нами.

Чего в нем только не найдешь? —
Письмо, билет от лотереи
(Он проипрышный, ну так что ж!)
И хвостики от лук-порей.

Всё хлам, но это лишь на глаз.
Там прусть потери неизбежной
И чувств сокрытых пересказ —
Цветок распластанный и нежный.

Таков и мир, как этот двор,
Где жизни каждый вздох отмечен:
Порыв души и мелкий сор —
О том же самом ,вечно, вечно.

QUO VADIS?

Рассказ

После выпускного бала, затянувшегося почти до утра, бывшие ученики всем бывшим 10 «А» классом пошли провожать домой Николая Артемьевича Косогорова, своего бывшего классного руководителя. В общем, для бывших учеников в этот день окончилось все бывшее.

— Друзья! — прочувственно говорил Николай Артемьевич, обнимая обеими руками огромный букет и шагая, окруженный со всех сторон нарядно одетыми юношами, девушками в традиционных белых платьях. — Ваше будущее прекрасно, как этот начинающийся день! Теперь перед вами жизнь открыла широкие двери. Идите, дерзайте! Служите красоте, добру, справедливости!..

Николай Артемьевич почувствовал, как увлажнились его глаза. А вокруг были воодушевленные юные существа. Предраассветный воздух улиц был чист и свеж, как лица юношей и девушек. В палисадниках и скверах звонко и весело трелили пробудившиеся птицы. Всё было чудесно!

Правда, недалеко от дома Косогорова компанию обогнал громыхающий грузовик, доверху нагруженный мусором, и сразу же их обдало запахом гнили, завали. Запахом того, что, быть может, еще вчера было свежим и благоуханным.

Когда настало время распрощаться со своими бывшими учениками, Николай Артемьевич Косогоров, пожимая всем по очереди руки, заглядывая в глаза, раздаривая напутственные слова, невольно подумал: «Какие они все дивные, пленительно юные... а я вот уже почти старик...»

И стало ему немножко горько и обидно. Грудь его на мгновение наполнилась тихой грустью. Но потом он тряхнул седой головой: «Были я таким, как они! Да, был! Еще каким молодым был я!»

Продолжая себя мысленно успокаивать, Николай Артемьевич заметил, что, например, у Вадима Маслова и грудь куриная, и в восемнадцать лет он уже носит очки с толстыми стеклами. «А вот я в его годы!..» Или еще вот Конев, парень-богатырь, спортсмен, а если припомнить, какой силач когда-то учился в одном классе с Николаем Артемьевичем, то сравнение будет не в пользу Конева. Да как же этого силача была фамилия? Горшков?.. Порошков?.. Что-то вроде этого...

И захотелось Николаю Артемьевичу показать своим бывшим ученикам, что и он был тоже молод, что и он был румяный, мускулистый.

— Друзья! — возвестил Николай Артемьевич. — Хотите посмотреть, каким я выглядел в день, который я помню так же, как и вы будете помнить этот сегодняшний день? У меня еще есть фотография моего класса, вернее, тогда называлось — группы, снятая в день окончания школы, семилетки, тогда еще не было десятилеток. Это было... — он подсчитал в уме: «Родился в 1911, окончил школу в 14 лет...» — Это было, друзья, в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Подумать только, в двадцать пятом!

— Просим! — восторженно понеслось со всех сторон. — Пожалуйста!.. Очень интересно!..

Николай Артемьевич вошел в дом, вприпрыжку побежал по затхлой, пахнущей котами, лестнице на третий этаж и, задыхаясь от усталости, с колотящимся сердцем, но довольный своей прытью, отпер дверь квартиры. Но едва он проник в коридор, соседка агрономша, особа желчная и страдающая бессонницей, подчеркнуто громко застонала:

— Боже мой, когда этот проходной двор окончится? Ни днем, ни ночью!..

Косогоров благоразумно промолчал, наученный горьким опытом многочисленных бурных квартирных скандалов, и, прижимая к груди букет, потихоньку, на цыпочках пошел к своей комнате. Но тут ему опять не повезло. Кто-то из жильцов, наверное, Шорины, выставил на ночь в коридор балюю. Николай Артемьевич в темноте споткнулся о проклятую балюю и чуть было не свалился в нее, но, уронив букет, все же успел вовремя вытянуть обе руки, и они сразу же погрузились в намоченное белье. Так он и застыл в позе стиральщика, с ужасом ожидая реакции на произведенный прохот.

— Изверги! — взвыла агрономша. — Я в суд подам!

— Какой там чёрт шляется по ночам? — загудел из другого угла бас инженера Садовского.

— А чего вы там чертыхаетесь? — воинственно выкрикнула агрономша.

— Психичка! — лаконично ответил Садовский.

— Товарищи, совесть надо же иметь! — начал увещевать Шорин.

— Вы ответите за психичку!.. Я женщина большая!..

Николай Артемьевич Косогорин выгудил из балюи пахнущий хлопком букет и, вбрав голову в плечи, осторожно добрался до своей комнаты, тихо притворил за собой дверь и, прислушиваясь к разгорающейся словесной перепалке, с облегчением вздохнул.

Но как только он включил свет, жена его, Катерина Семеновна, тут же спавшая на кровати, заслонила рукой глаза от яркого света и страдальчески вздохнула:

— Послушай, Николай, ты что, пьян? Мало того, что в коридоре загремел, всех соседей разбуркал, так тебе еще и свет надо. Не можешь раздеться так?

— Котинька, мне надо кое-что найти, я же не могу без света.

— Что тебе дня мало? Сейчас приспичило искать?

Николай Артемьевич попробовал спокойно и убедительно объяснить, что его внизу ожидают бывшие ученики, что он должен им показать старую фотографию, но Катерина Семеновна перебила его:

— Глупости, Коля! Кому это интересно смотреть старые фотографии? К тому же они, наверное, уже разошлись.

— Котинька, я обещал...

— Боже мой, ты, наверное, пьян! Ты что, опять хочешь идти через коридор, будить всех? Тебе мало одного скандала?.. Никуда я тебя не пущу!

— А я тебя и спрашивать не буду! — отрезал Косогоров.

— Мама, ты слышишь? — плачущим голосом заныла Катерина Семеновна, обращаясь к ширме, за которой спала ее мать.

— Хамло! — мгновенно и охотно отозвалась теща. — Был хамом и остался хамом!.. Прокрался в нашу семью, как тать в ночи, а теперь из всех воду варит. Я моей дочери, этой ангельской душе посвятила сорок четыре года моей жизни, и вот теперь я вижу...

— О, небо! — Николай Артемьевич зажал уши и несколько раз, не особенно больно, стукнулся головой о стену.

Потом он, не обращая внимания на ругательства и причитания, решительно ринулся к комоду, воткнул в вазу испорченный букет, достал из нижнего ящика альбом со старыми фотографиями, хлопнул дверью, опять споткнулся в темном коридоре о балью, и поспешно выскочил на лестницу. В квартире, как в потревоженном осином улье, стоял шум и брань. Николай Артемьевич зло лягнул каблуком дверь и побежал вниз по лестнице. В вестибюле, тускло освещенном запальной лампочкой, он поправил галстук, одернул пиджак, привел себя в порядок, как актер перед выходом на сцену, и, лучезарно улыбаясь, шагнул из неуютного запустения на улицу.

Была как раз та пора, когда день приходил на смену ночи. Когда свет, наплывая волной с востока, захватывал небо, прижимая темноту к земле. Вверху уже было утро — окрашенные свежей синевой, обрызганные легким багрянцем облака застыли на месте, словно скованные тяжелой и сладкой последней дремой; внизу, у самой земли, серая влажноватая мгла призрачно дрожала, убиваемая светом, растворялась, умирала без следа и умирала быстро, ощутимо.

Молодежь, сгрудившись, о чем-то оживленно разговаривала. Слышался смех. В стороне, в нише подворотни, стояли, тесно обнявшись в продолжительном поцелуе, Конев с Верочкой Тинской, не особенно преуспевавшей в науках, но самой красивой ученицей в классе. Николай Артемьевич смущенно кашлянул и поспешил отвести взор в сторону.

— Мои юные прекрасные друзья! — Николай Артемьевич произнес коротенькую торжественную речь, в которой опять напомнил о широко открытых дверях, о замечательном будущем, сделал упор на то, что «только в нашей стране, в стране победившего социализма...» и окончил немного сентиментальным «когда я, возможно, уже не буду жить на свете, лет этак через тридцать, быть может и вы, тогда уже убеленные сединами, покажете молодежи, как я вам сейчас покажу, свою выпускную фотографию...»

Дальше он не мог говорить, горький комок подкатил ему к горлу, и он, нагнув голову, начал листать страницы альбома.

Бывшие ученики сразу же узнали его на общей фотографии. Высокий, стройный, с открытым лицом, он стоял в центре выстроившихся в две шеренги полумесяцем группы и держал красное знамя.

— Вот вы какой были! — наивно удивилась Жанна Бочарова, скромная девушка с большими и задумчивыми глазами.

— Да, был, когда-то! — Косогоров слегка выпятил грудь и так же, как и на фотографии, гордо приподнял голову.

— А почему с красным знаменем? — спросила Жанна Бочарова.

Николай Артемьевич улыбнулся:

— Наша группа была первой во всем городе, состоящая на сто процентов из пионеров. Двадцать три ученика и двадцать три пионера. Я, между прочим, был звеньевым. Теперь это обыденное явление — младшие классы сплошные пионеры, старшие — сплошные комсомольцы. А тогда это было ново, необычно. За это нам и преподнесли красное знамя.

— Скажите, Николай Артемьевич, а вы часто встречается с ними? — Вадим Маслов показал на групповую фотографию. — Вот мы всем классом приняли решение каждый год встречаться, до конца жизни встречаться, рассказывать друг другу о делах, об успехах. Это очень интересно будет!

Более чем за четверть века педагогической деятельности Косогоров не помнил еще ни одного выпускного класса, который бы не договаривался о ежегодных встречах «до конца жизни». Но за все это время, кажется, два или три класса встретились на следующий год, да и то половинным составом. Еще через год и эти классы не встречались. Однако, разочаровывать молодых людей было неудобно. Особенно сейчас. И он сказал:

— Это замечательно! К сожалению, мы в свое время до этого не додумались.

И тут заговорили все наперебой. Все загорелись идеей устроить встречу соучеников Косогорова. Николай Артемьевич против этого не возражал. Ему даже понравилась идея встречи через тридцать три года, да и фамилии соучеников были записаны на обороте фотографии. Так что разыскать их было не особенно трудно.

В общем, когда из окон стали высовываться заспанные лица жильцов, разбуженных поднятым на улице шумом, когда после просьб поспышались угрозы и ругань, компания разошлась, но первый камень для устройства встречи был заложен. Чтобы все было интереснее, все бывшие соученики и пионеры звена Косогорова должны были увидеть друг друга только на самой встрече.

Шли дни, недели, и вот как-то под вечер к Косогорову пришел Вадим Маслов, назначенный «уполномоченным по розыскам», и сообщил, что встреча состоится на следующий день.

— Кто же будет из моих пионеров? — полусхотливым тоном спросил Николай Артемьевич.

Вадим поправил сползавшие тяжелые очки и пожал плечами:

— Завтра увидите. Итак, в пять вечера, в парке Культуры, около фонтана.

*

Точно в назначенное время Николай Артемьевич Косогоров подошел к фонтану. Он был несколько взволнован и зябко потирал руки.

— Ну-с? — проговорил он, пытливо взглядываясь в лица своих бывших учеников. — Где же вы прячете их от меня?

И в это же время за его спиной раздался хрипловатый и натлый женский голос:

— Товарищ звеньевой! Пионерка Шура Виноградова явилась на сборы!

Косогоров вздрогнул от неожиданности и, повернувшись, увидел толстую приземистую женщину в вызывающе ярко-красном платье. Лицо ее, с маленькими, заплывшими жиром глазами, было помято, потрепано и сильно накрашено. Рыжие волосы взбиты козлой. Она по-пионерски салютовала, приложив руку запястьем наискосок ко лбу, и, стараясь стоять «смирно», нахально выпячивала живот.

«Это Шурочка?» — подумал, неприятно пораженный Косогоров. И он невольно припомнил малорослую, щупленькую и очень тихую девушку. — «Кажется, она была тогда брюнетка?..»

— Колька, мерзавец, целуй в щеку, у меня губы намазаны! — громко и хрипловато выкрикнула Виноградова и, бесцеремонно взяв Николая Артемьевича за уши, обеими руками потянула на себя.

Он машинально захохотала, в дряблую, пахнущую пудрой щеку и поспешил освободиться. Ему сделалось неудобно и он старался не смотреть на своих бывших учеников.

— Ну чего, Колька, хвост повесил. Держи хвост морковкой! — Виноградова, шутя, шлепнула его по щеке, ткнула кулаком в живот. — Старый ты, Колька, стал. Да и я не помолодела. Ну ничего, как говорит, старый конь борозды не портит, хотя глубоко и не пашет.

Она машинально захохотала, откинувшись всем корпусом назад, и похлопала себя по животу. Косогоров смотрел постылым взглядом в сторону. И тут он увидел, что к нему подходит Аня Моршанцева. Ее нельзя было не узнать. Она, как была, так и осталась высокой и легка полноватой, только каштановые волосы были сильно усыпаны сединой, да в когда-то ясно-карих глазах как будто бы немного поубавилось блеска, а вокруг глаз и рта собрались морщины. На руках она держала малыша лет двух.

Николай Артемьевич шагнул ей навстречу, и она улыбнулась ему тихо и радостно.

— Ну вот, наконец-то...

— Анька, узнаешь? — сразу же опередила Косогорова рыжая Виноградова и повисла у нее на шее. Потом она пошлепала малыша по щечке: — Твое творение?

— Что ты? В мои-то годы? Это внук, сын моей средней дочери.

— А я вот больше не по детям, а по мужьям специалистка, — Виноградова подморгнула Николаю Артемьевичу, иприво толкнула его локтем и тут же, спохватившись, стала по команде «смирно» и, отсалютовав, гаркнула: — Товарищ звеньевой! Почему пионерка Аня Моршанцева не докладывает по форме?

Кто-то за спиной Косогорова довольно внятно проговорил: «Дура!», и он почувствовал такой стыд, что готов был провалиться сквозь землю.

— Товарищ звеньевой, заставьте ее доложить! — выпячивая живот, еще раз потребовала Виноградова.

— Не надо, Шура, оставь шутки, — сдерживая себя, попросил Косогоров.

— Какие шутки? — Виноградова удивилась. — Брось, Колька, мы должны этим юнцам показать наш пионерский задор. Товарищ

звеньевой, приказ носы не вешать! — окончила она выкриком и отсалютовала.

Когда подошел еще один бывший соученик — худой, высокий, с вытянутым, словно приплюснутым носом, с мокрыми губами и прищуренными мутноватыми глазками, — Косогоров с трудом узнал его. Это был Геннадий Свечкин. Ответственный за организацию встречи Вадим Маслов сообщил, что больше никого не будет.

— Неужели больше никого? — растерянно спросил Косогоров.

Вадим Маслов достал список, переписанный с оборота групповой фотографии, и передал его Косогорову. В списке перед фамилиями стояло одиннадцать пометок «умер», «убит», восемь пометок «судьба неизвестна» и только четыре пометки «есть». Четыре из двадцати трех, включая самого Косогорова.

— Знаешь что, Коля, — задумчиво почесывая нос, проговорил Геннадий Свечкин. — Выпить бы надо по этому случаю.

— Товарищ звеньевой, я голосую «за»! — шумно поддержала Виноградова.

Николай Артемьевич посмотрел на хмурые лица своих бывших учеников, на ужас, застывший в больших и влажных глазах Жанны Бочаровой, на полубрезгливую улыбку красавицы Верочки Тинской, и понял, что надо или сразу же все кончать, или что-то предпринимать. И в этот же момент его осенила идея.

— Товарищи, — сказал он твердо. — А сейчас мы пойдем на склон к реке, сядем на травку, и вы услышите от нас, старшего поколения, как мы сейчас живем и чего мы достигли за тридцать три года.

Когда они пришли на склон у реки, рыжая Виноградова отсалютовала, выкрикнула: «Товарищ звеньевой!», но Косогоров не дал ей закончить:

— Садись! — скомандовал он. — Все, друзья, рассказывайтесь! — добавил он мягче.

Геннадий Свечкин потоптался на месте и проговорил:

— Знаешь, Коля, друг, мне на сырой земле сидеть невозможно, у меня геморрой.

— Ну, в таком случае стой, — спокойно сказал Косогоров.

— А может быть я пока схожу за бутылочками? — лицо Свечкина расплылось в хитроватую улыбку. — Товарищи, может скинемся по несколько рублей? Не выпить по такому случаю, это будет преступление.

— Потом, Геня, потом, — перебил Косогоров и, заторопившись, начал что-то в роде речи.

И как во всякой речи, Николай Артемьевич начал бросать давно заученные, ставшие почти шаблонными, фразы: «Только благодаря родимой советской власти!..» «В то время, когда в других странах происходит разложение!..» «Наше здоровое прогрессивное общество!..» «Широкие двери!..» «Перед нами величественные перспективы!..» и прочее, прочее.

Речь получилась бодряческая, но никто этого не заметил, потому что все привыкли именно к таким речам. О себе он говорил немного: «Вы знаете, что я педагог, и я горд моей благородной профессией!»

Потом слово было предоставлено Анне Моршанцевой. Она не стала произносить речь, а говорила тихо, спокойно:

— Вот, молодые люди, перед вами жизнь. Ну что я могу о себе рассказать такого, что бы вам пошло на пользу? Я родила и воспитала троих детей, у меня два замечательных внука, и поэтому я счастлива. Знаете, девочки, — она мягко улыбнулась, — для вас будущее — материнство, а все остальное, это проходящее.

— А я хочу быть инженером, — задумчиво сказала Жанна Бочарова.

— У меня, миленькая, тоже диплом дома лежит, но он мне не надолго пригодился, ничего он в моей жизни не переменял.

В это время внук Моршанцевой занял, стал проситься на землю, засовал ножками, и ей стало трудно продолжать беседу. Тогда выступил Геннадий Свечкин:

— Вот что, братцы, — заговорил он, собрав складки на лбу, и почему-то немного раздраженно. — Я, по правде сказать, живу не плохо. Работаю шофером на трехтонке, кое-как кручусь. Где покальмилно сотню, где отхвачу другую, и больше мне ничего не надо. Люблю я, правда, немного залить за воротник, но кто этого не любит? Такая у нас жизнь! И в общем распространяться долго я не намерен, и лучше бы нам закрутились и перейти к художественной части, — он щелкнул себя под скулу и словно посветлел.

— А я, между прочим, девочки, специально для вас скажу, — неожиданно, без всякого приглашения заговорила Виноградова и поправила свою рыжую копну, — самое главное — это следить за собой. Будете красивые, будете хорошо одеты — и не пропадете. Для мужчин — другое дело, а для нас, женщин, главное — красота. Надо уметь завлечь, надо знать, когда приласкать, когда потребовать свое, законное. Вот у меня было пять мужей, среди них один генерал...

Николай Артемьевич Косогоров смотрел, покусывая губы, на тот берег реки, на далекие синие пятна лесов и рош, на горизонт, подернутый голубоватой дымкой. Он уже ничего больше не слышал и только думал о том, что, возможно, через три десятка лет его бывшие ученики, и тщедушный, но деловой Вадим Маслов, и здоровяк Конев, и задумчивая, наивная Жанна Бочарова, и уж, конечно, красавица Верочка Тинская, — все они, возможно, станут вот такими наглыми, бесстыжими, как Виноградова, или ограниченными, как пьянчужка Свечкин, или в лучшем случае матерями, как Анна Моршанская, или такими несчастливыми в личной жизни, хоть и удовлетворенными работой, как он сам. Их перемелет необходимость, думая одно, говорить другое, склока коммунальных квартир, ежедневные заботы о куске хлеба, грубость начальства и сотня других таких привычных мелочей жизни, которые даже не замечаешь в повседневных встречах с ними. Как можно сохранить то золотое, что было сейчас в сердцах и умах этих молодых существ? Косогоров мучительно старался найти ответ и не мог. А они, свежие, прелестные юноши и девушки сидели пришибленные увиденным и услышанным, и было в их лицах, позах что-то протестующее, испуганное. Если они и не додумались до того, до чего додумался Косогоров, то они, наверное, чувствовали то же самое без мыслей, одними чуткими молодыми сердцами. Но они были также бессильны что-нибудь изменить, как был бессилён Косогоров. Для них началась взрослая жизнь, и никто не мог знать, куда и кого она заведет.

ТАКИХ НЕ НАДО

Рассказ

Актер Запальский всегда играл бандитов, вредителей, пьяниц, прогульщиков, а один раз ему пришлось сыграть Гитлера. Ничего, сыграл и Гитлера. А вот когда в прошлом году Запальскому хотели подсунуть роль положительного героя, какого-то чересчур придирчивого ко всем парторга-трезвенника, Запальский устроил шекспировский скандал. Он долго бушевал, кричал, что у него есть враги, грозился уйти из этого провинциального театра в столичный МХАТ, но на своем все же настоял. Отвоевал роль лодыря и спекулянта. Сногсшибательный успех имел! В городе все так и говорили: Ах! Этот душка Запальский!

Все шло отлично, но совсем недавно актер Запальский ударился в ересь. То ли ему надоело пожинать лавры, то ли ему наскучило быть любимцем публики, но он вдруг, при распределении ролей в новой пьесе попросил дать ему роль Сталина.

Художественный руководитель театра Ник. Помпеев схватился за голову:

— Невозможно это, Сергей Сергеевич! — начал умолять он Запальского. — Ведь публика вас обожает. Только вы появитесь на сцене в prime Сталина, вам устроят такой фурор, какого Сталин и при жизни не имел. Теперь это культ личности, чёрт бы ее побрал!

Запальский смилиостивился:

— Хорошо, так и быть, сыграю Ленина!

Но тут выступил актер Мамалыгов, всегда игравший самые положительные роли, а поэтому оскорбленный, нелюбимый публикой, и сказал таким мягким утробно-медовым голосом:

— Товарищи, это политическая ошибка! Как можно Сергею Сергеевичу Запальскому, исполнителю отрицательных персонажей, давать светлую роль товарища Ленина?.. А не истолкуют ли это, как...

И пошло, пошло!.. Мамалыгов договорился до такой диалектики, что художественного руководителя Ник. Помпеева, в свое время реабилитированного, начал прошибать озноб.

Но Запальский не растерялся, не впал в малодушие и панику, и когда Мамалыгов окончил, он встал и заговорил:

— Товарищи, дорогой мой друг Мамалыгов высказал много здравых и разумных мыслей, а вот слона-то и не приметил. Роль Отелло, например, можно играть и толстому и тонкому, и высокому, и низкому. Если у актера рожа на боку, если у него флюс и раздуло щеку, все это терпимо. Мавр Отелло может иметь какую угодно физию, потому что он жил в эпоху феодализма. Кому намажут морду сажей, тот и будет Отелло. А вот Ленин — это другое дело. В этом случае сажей дело не исправишь. Надо иметь фактуру...

И тут все вдруг заметили, что Запальский маленького роста, невзрачный, плюгавенький, что у него природная лысина, а по бокам рыжие волосы, и что он говорит картавя и держит голову этак криво, словно ему по шее съездили. А когда гример прикинул Запальскому усы и бороду, Ник. Помпеев заключил его в объятия, чмокнул в щеку и не мог нарадоваться:

— Сереженька, сукин сын ты милый! — говорил Ник. Помпеев. — И до чего, подлец, на Ленина похож! Убить тебя мало, до чего натуральный Ленин! Просто хоть на стенку вешай!..

В общем, закрепили за Запальским роль Ленина, хотя и не обошлось без натурального в таких случаях подсиживания и хамства. Мамалыгов, поняв, что ему не светит сыграть роль вождя мирового пролетариата, долго и невразумительно что-то мычал о школе Станиславского, а потом ввернул, что Запальскому следовало бы заняться изучением трудов Ленина для того, чтобы войти как следует в роль. Когда Мамалыгов говорил об этом, по лицу его блуждала неопределенная загадочная улыбочка.

Но Запальский этот подземный удар принял, устоял и даже не пошатнулся. Он и сам решил именно с изучения творений Владимира Ильича постигнуть его гениальную душу и тем самым создать образ потрясающей правдивости и силы.

С этого-то все происшествие и началось.

Поначалу Запальский мучился, как прешник в аду. Возьмет том Ленина и еще не начнет читать, а его уже зевота одолевает, все у него чешется, какие-то нервные тики у него появились, головные боли. Потом ничего, привык. Человек ко всему привыкнуть может.

В общем, Запальский постепенно втянулся. Мог, ни разу не зевнув, страниц пятьдесят за один присест из Ленина прочесть. Начал кое-что запоминать, пересказывать. Дальше — больше. Запальский отпустил себе усы и бородку и внешне стал походить на великого Ильича. День и ночь читает, из Маркса выписки делает, целые трактаты с цифрами и диаграммами стал писать. Да все так серьезно, с такими безапелляционными по-ленински утверждениями, что парторг театра Кобылякин, как-то просмотрев труды Запальского, заскучал, впал в уныние и подал заявление о предоставлении ему возможности поехать на целину.

Политически чуткий товарищ Кобылякин укатил, а на следующий день, в день премьеры, и произошло это дикое и странное происшествие.

Надо сказать, что во время репетиций и политического совершенствования Запальский, вычитав где-то, что Ленин не пил, не курил, имел только одну жену и только одну любовницу, с большим трудом заставил себя подражать такому спартанскому образу жизни. Но в день премьеры Запальский не выдержал. Может быть, он сильно волновался, может быть, традиции взяли верх, кто там сейчас разберет — почему, однако, по пути в театр Запальский во всем своем ленинском виде зашел в пивную.

Насосник, тот, который качает пиво, долго смотрел на Запальского, потом от растерянности высморкался в фартук:

— Гражданин, у вас такой недозволенный вид, что пива вам не могу отпустить!

— То есть, почему это недозволенный? — законно возмутился Запальский. — Ваше дело накачивать прибавочную стоимость на пене и не рассуждать о видах.

— Вы, гражданин, — повысил голос насосник, — мне тут политпрамоту не читайте, я сам партийный и завсегда честно борюсь за пе-

ревыполнение плана по пиву и вобле. Вы лучше смывайтесь, пока я вас в шею не вытолкал!

В общем, между ними завелась словесная перебранка. Народ, конечно, стал на шумок подходить. Одни вступаются за Запальского, мол, ничего в этом преступного нет, если человек похож на Ленина, и не убивать же его за это. Другие говорят обратное, что, мол, никому не дано права выглядеть, как Ленин, и что это сущее хулиганство так выглядеть. Нашлись и такие, которые проявили нездоровое любопытство: дергали Запальского за бороду — не приклеена ли? А один, сильно ослабевший гражданин, уцепился Запальскому в петельки и спросил:

— Ты что, ангел, пива хочешь, а в мавзолей не хочешь? . .

Тут из задней комнаты появился милиционер, на ходу что-то дожевывая. Увидел он Запальского и сразу за свисток. Свистнул и говорит:

— Гражданин, давайте не будем! . . Пойдемте у район! Подчинись, говорю!

Ну, в районном отделении милиции дежурный старший лейтенант первым делом подергал Запальского за бороду, а потом изрек: дело это, мол, можно отнести к разряду политических, и поэтому Запальскому следовало бы набить баки и отправить в комитет госбезопасности для дальнейшей обработки.

В этот момент в милицию ввалился сам товарищ Октябрьев, — первый секретарь горкома партии. Откуда успел пронюхать — уму непостижимо!

— Ага! — говорит товарищ Октябрьев, — узнаю вас, вы недавно спекулянта Ночкина итрали. Вполне талантливо изобразили. Однако, на этот раз вам прозят большие неприятности.

— Помилуйте! — взмолился Запальский. — Ну, что я такого преступного сделал? Что же в том ужасного, что я похож на Ленина?

— Удивляюсь вам, как это вы не понимаете, — пожал плечами первый секретарь. — Если вам сегодня безнаказанно разрешить выглядеть как Ленин, то завтра, вы может быть попробуете писать, как Ленин?

— Зачем завтра, когда я уже давно пишу, как Ленин? — легкомысленно похвалился Запальский.

Товарищ Октябрьев от удивления даже хрюкнул.

— А я всего Маркса, Энгельса, Ленина на зубок знаю. Почему бы мне и не писать по-ленински? Ну, как сам Ильич писал . . .

— Берите его! Тащите его напрямиком в сумасшедший дом! — крикнул Октябрьев. — Нам таких мазуриков не надо!

И потащили Запальского . . .

*

А на премьере Ленина играл Мамалыгов. И так как роли он не знал, ни разу не репетировал, то, может быть, он повторял заблуждения Троцкого, может быть цитировал ошибки Маха, или так и хлестал из речей ренегата Каутского? Но поскольку Мамалыгов говорил в об-

разе Ленина, то любое его изречение принималось за гениальное. Товарищ Октябрев, сидевший в первом ряду, говорят, громко и первым зааплодировал, когда Мамалыгов-Ленин промывчал утробным голосом:

— Перманентная революция, которая подсказана историей, не может быть недооценимама, недоучитываемама и недосматриваемама. Так об чем же разговор, когда все ясно и только враг не поймет, что это так? . .

РАССТАВАНЬЕ

Хотел бы я оставить внукам
Своей любви какой-то след —
Мой след хождения по мукам
На протяжении долгих лет.
Я расстаюсь . . . но не разлука,
А расставанье без конца.
Такая сладостная мука —
«Черты любимого лица».

Ее лицо — поля, просторы,
Дуга, озера, облака,
В степи туманы, косогоры,
Моя песчаная река.

О если б расставанью длиться!
Ведь в нем такая благодать.
Хотя бы раз еще родиться,
Иль никогда не умирать.

К О Н Ь

Лето. Горлилки турчанье.
У пруда вальками бьют.
На конюшне слышно ржанье,
И тебя поить ведут.

Ты идешь на недоуздке
Весь блестящий и гнедой.
Припадешь к колоде узкой
Розоватую губой.

Ты напьешься и потянешь
Елифана за собой.
На минуту диким станешь,
А потом пойдешь домой —

В свой дневник, где пахнет четко
И тобою и твоим,
Где сквозь крепкую решетку
Небо смотрит голубым.

Ты мой конь — ты брат мой милый,
Было нам немного лет,
Но они с такою силой
Вновь лучат чудесный свет —

Голубой, почти небесный,
Полный тайны бытия.
Я с тобою, с бестелесным.
Брат пнедой — любовь моя.

«Только всего — жизнь!..»

2. У ЛЮБВИ СВОИ ЗАКОНЫ

В тот день, когда миссис Уинслоу и Бетти вернулись домой из Новой Мексики, мать — недоумевающая, а Бетти — смятенная, никто их не беспокоил. Никто не ждал, что они возвратятся так скоро. Но на другой день кто-то из знакомых увидел их на улице, и весть о приезде разнеслась. На третий день телефон звонил чуть ли не каждый час. Бетти боялась звонка миссис Сондерс, матери Аллана. Она знала, что ей предстоит сказать правду о неожиданной развязке, весть о которой старухе будет тяжела. Та знала Бетти с детства, любила и непоколебимо верила, что брак с Алланом — счастье для обоих. Лучше пойти к маме-Сондерс и все рассказать, не откладывая, и этим облегчить себя. Поездка к Аллану, встреча, волнение, неожиданная, явно неоправдываемая перемена в нем, появление чужой, странной девушки, и, наряду с этим, — печальная нежность, с которой Аллан вытирал слезы Бетти, новая нежность в его потемневших глазах. Два несомнимых выражения на его лице — она видела, но не могла охватить разумом... Скрыть от всех и скрыться — было всё, чего ей хотелось. И как можно скорее, пока мать не поняла, что случилось. Бетти должна остаться наедине со своими переживаниями. Но для этого необходимо как можно скорее рассеять блаженные заблуждения мамы-Сондерс; скрывать правду — не поможет, надеяться не на что. Она сняла трубку. Ласковый, знакомый голос: «Это Бетти?..» — отозвался издалека. Девушка захлебнулась слезами, уронила черный эбонит. Из висящей и качающейся на шнуре трубки слабо доносились безответные вопросы мамы-Сондерс: «Когда приехали? Почему так скоро? Не ждала я... Бетти, слышишь меня?»

Она сделала над собой усилие: — Нас разъединили... Да, мы только что приехали... Всё хорошо... Аллан здоров и счастлив... По телефону всего не расскажешь... Забегу завтра, часа в четыре, хорошо? Я тоже рада... Ну, еще бы! Спасибо, да, обо всем завтра!

В обед, вечер и почти всю ночь Бетти думала о том, как она скажет то, что нужно сказать. Если сказать, что Аллан разлюбил, мама-Сондерс положит ласковую руку на голову и добрым голосом начнет убеждать, что этого быть не может, что она знает своего Аллана луч-

ше. Могла ли она убеждать маму-Сондерс в том, что ей самой было так больно? Ей самой нужно утешение, чтобы справиться с потерей и обидой! Опять вспомнилось, как стояли оба на обрыве дель Печо, как Аллан сказал жестокую правду, а смотрел на нее растроганно; как она крепилась, и это делало его всё нежнее... Как слезы упали из ее глаз... Как вытер он их. А она улыбнулась его ласке. И от этой улыбки покатились новые слезы. А он вытер их еще ласковее.

Какая томительная слабость уронила ее веки, чтобы ничего не видеть... Защититься от участи... Всё это минуло, сейчас надо найти слова для его матери... Не сказать ли миссис Сондерс, что оба они изменились, оба хотят быть свободными?.. Что они расстались друзьями? Не добавить ли, что она увлеклась кем-то прошлым летом и хочет проверить себя? Чужь, нелепость! Спать, спать, спать!..



Миссис Сондерс встретила Бетти как всегда. На маленьком столике в гостиной был приготовлен чай с тортом. После крепкого объятия мать Аллана сказала:

— Ну, садись. И расскажи всё по порядку. Это — твой любимый ореховый торт. Алл тоже его любит.

Она, улыбаясь, отрезала кусок. Бетти смотрела на торт, который «Алл тоже любит». «Не разлюбил еще? Счастливый торт!» Она попробовала улыбнуться, а набежала слеза. «Торту позавидовала...» Слеза упала. Но миссис Сондерс не заметила. Она разливала чай.

— Ты сказала вчера, что Алл хорошо выглядит и вполне счастлив. Но раз поправился, чего же он там сидит, в этой глуши? Пора устраивать жизнь, думать о будущем. В письмах он ничего об этом не пишет. Но вы-то об этом говорили? Это самое интересное.

— Мне кажется, что он нашел там то, чего искал и хотел и, что важнее всего, «нашел себя», как говорят современные психологи.

Мама-Сондерс с удивлением подняла глаза.

— Но ты ведь не останешься там жить? Понимаю, там дичь, красиво, художники приезжают картины писать, но что же там делать молодой чете? Решили вы что-нибудь?

Она в ожидании и недоумении смотрела на Бетти.

— Нет, миссис Сондерс.

Бетти спохватилась: вместо «мамы-Сондерс» сказала «миссис». В смятении пытаясь смягчить холодок обращения, она открыто взглянула в материнское лицо. Ее глаза были полны тепла и горя.

— Мы решили... (и вдруг она забыла всё, что придумывала, но вовремя спохватилась)... решили, что оба должны пересмотреть всё заново, независимо друг от друга.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать? — испуганно отозвалась старушка.

— Просто, оба хотим освободиться от прошлых обещаний.

— Хочешь сказать, не уверены — поженились ли?

— Мы уверены, что... нет! — отрубилла Бетти. — Мы расстались друзьями, — поторопилась добавить. («Пошлость! Пошлость! Но как хорошо, что она существует, за нее можно спрятаться...») — Характер наших чувств изменился. Мы были так молоды, не понимали се-

бя... Когда они уезжали, они были героями, а мы — девочками, к которым приятно вернуться... Всё это прошло.

Бетти говорила, точно вычитывала из плохой книжки. Но так легче, чем раскрыть себя. Нельзя старым говорить о новом, для них непонятном. Старушка слушала молча. Когда Бетти наконец остановилась, мать Аллана покорно ответила таким же прописным, привычным:

— Ну, это ваше дело... Вам лучше знать. Но смотреть вашими глазами не могу. Не могу не огорчаться... после стольких лет, что верила, что доживу...

Она стиснула дрожащие губы.

Обе замолчали.

— Ты мне не чужая, Бетти... — сказала она мягче и горше. Бетти ответила жалкой, застенчивой улыбкой.

Старушка взяла ее руку и пристально глядела в глаза:

— Уверена ли ты, что так лучше? — спросила тихонько, робко, чуточку надеясь. Бетти не ответила. Она смотрела в окно, на этажерку, на пианино, лишь бы не в глаза маме-Сондерс.

— Не знаю, была бы ли я хорошей женой для Алла...

Рука старухи тихонько выпустила ее руку.

— Алл был очень огорчен? — В материнском голосе зазвенела тревога.

— Не думаю. Кто знает?.. Он изменился. Может быть, обязательства тяготили его? Пусть попробует свободную жизнь, совсем другую, чем раньше... Я не сделала ему больно, нет!

Старушка снова взяла руку родной девочки.

— Ты не умеешь делать больно. У тебя всегда было золотое сердце. Я не буду вмешиваться в вашу судьбу. Буду только любить вас. Знаю, что я старая, что всё изменилось; лишь бы вы были счастливы...

— Алл ничего не говорил. Но, может быть, он встретил кого-нибудь? Сам колеблется...

Бетти пыталась оправдать решение.

— Там, в этой глуши? Там и порядочных людей-то нет, в этом мексиканском поселке. Мне Алл никогда ни о ком не писал.

— Я не настаиваю; только высказала предположение. Не огорчайтесь. Мы просто решили освободить друг друга от всяких планов. Там видно будет...

Теперь она сказала всё. И ощутила вдруг пустоту и слабость, как перед дурнотой. Мама-Сондерс пила чай. Сквозь тюлевый воротничок видно было, как напряженно глотало горло. Связь между ними была оборвана. Каждая осталась в одиночестве, со своим горем.

— Не понять мне вас, новых детей, — сказала старушка и обняла Бетти. Та почувствовала на своей щеке, не свою, а материнскую слезу. Мама-Сондерс тоже почувствовала на своей щеке слезы и тоже — не только свои.

— Может быть, мне написать Аллану? — спросила она шепотом.

— О нет, ради Бога, нет! — испуганно сказала Бетти. — Если вы любите меня, обещайте, что ни слова не напишете ему о том, что я вам сказала. И никто другой не должен этого знать!.. Мне надо бежать. Мама ждет гостей к обеду, надо успеть переодеться. — Бетти тихонько освободилась из объятий. Она знала, что больше не придет сюда. Старушка тоже знала, что Бетти уходит из ее жизни. Куда? По-

чему? Из окна она следила, как Бетти спешила к автобусу и скрылась, не оглянувшись.

Мама-Сондерс спешить было некуда. Ночью она написала длинное письмо сыну. Сперва написала, что «следовало». Но разорвала и написала то, что «не следовало»... А на утро, опустив свое письмо, получила от Аллана. Из его письма мать узнала, что посылала свое напрасно. Долго сидела она, не шевелясь и закрыв лицо руками. В письме Аллан говорил о Хуаните. Это было двойным ударом. Но если первый она приняла от Бетти, то... Сондерс были англо-саксонской крови, и вдруг ее сын готов жениться на простой мексиканке, желтокожей, мужичке, дикарке! Католичке, вероятно? Говорящей на ломаном английском языке, выросшей без матери, в лачуге с мужиком-отцом. Мама-Сондерс долго не могла оторвать рук от лица — так стыдно ей было за сына. Единственного, которым так гордилась!

«Эта девушка вернула меня к жизни, она — моя жизнь теперь, — писал Аллан. Ты не должна думать, что я делаю ошибку, женюсь на ней, а не на девушке моего круга. После того, что я испытал, всё связанное с моим прошлым перестало для меня быть живым. Не пытайся понять. Этого нельзя понять со стороны. Будь просто матерью, желающей счастья сыну. Мне ведь тяжело пришлось. Порадуйся тому, что здоров не только физически».

Мать старалась не рассудком, а чувством принять его слова. Но понимала лишь одно: то, что было важно для нее и для всех Сондерсов, для сына потеряло смысл. Как и для многих молодых. Она прочла письмо еще раз, надеясь, что вторично новость не покажется такой ужасной. Но всё осталось по-старому. И вместе с тем то, что писал он о Хуаните, трогало ее. Она чувствовала, что написанное им — правда, что эта девушка — его жизнь. Но почему правда должна так жестоко противоречить всему, с чем она, мать, жила, чем дорожила? Почему? Этого понять она не могла. Она опять закрыла лицо руками, как бы пытаясь в темноте старческих ладоней укрыться от того, что стало неизбежным. Не знать, ах, если бы можно было не знать!

Неужели мало любила, мало желала ему счастья? Или счастье, которое ему желала, перестало быть счастьем? В этом вопросе было больше отчаяния, чем любви... Слезы катились по старым щекам. Она поняла: дети не хотят того, чего желают им родители. Она робко оглянулась; всё кругом оставалось неизменным: старинная громоздкая мебель, бронзовая подставка с папоротником, канарейка в золотой клетке, на столике альбом; в нем Сондерсы нескольких поколений, тонкогубые, коротконосые, чинные. В этой гостинной она останется доживать свой век. А сын? Сын ушел... Но почему не продать эту мебель, не перестать противиться его браку и не полюбить эту мексиканку, что принесла ему жизнь? Любить их обоих, забыв об остальном, быть только матерью...

Она сжала руки так, что они хрустнули. И в комнате наступила тишина.

Часа два спустя она всё еще сидела в кресле, в глазах не было слез. Они были сухие и несчастные. Мать знала, что не уедет к сыну, не полюбит чужую «мужичку», а останется здесь, со старой мебелью, со старыми понятиями и хроническим ревматизмом.



Раньше Хуанита никогда не тяготилась праздностью. Праздность была для нее естественным и приятным состоянием. Работать она не любила. Работала быстро, чтобы скорее отвязаться, и часто не исполняла обещанного. «А ну ее!» — было ее любимым решением. Теперь она была всё время занята и озабочена. Даже когда ложилась отдохнуть, это было делом, а не праздностью. Аллана сперва забавляла такая деловитость, но мало-помалу он понял, что в жизни Хуаниты произошла коренная перемена.

Станным казался прошлый апрель, когда они оба еле знали друг друга; когда Хуанита приносила козье молоко по утрам, а в сумерки иногда забегала в его сад нарвать цветов и убегала с ними — ее платице уплывало в синеве сумерек, как далекий кораблик; оттуда доносился ее голос, как пастуший рожок. Аллан оставался один, с порожными руками и томлящим желанием всю теплую весеннюю ночь...

Этот апрель был совсем иным, и совсем другой стала Хуанита. Она потеряла свою девичью стройность, рот и веки отяжелели. Теперь Хуанита была всегда при нем. В течение дня они оба занимались своими делами (книга, которую писал Аллан, подвигалась быстро); вечерами сидели вместе, часто молча; ночью она была рядом, теплая, набухшая жизнью. Он и сам стал другим. Не желанье, а ожиданье руководило обоими; известность сменила неизвестность. Не было колебаний, не было зыби волнений... Жизнь стала тихой заводью. Время шло быстро.

Аллан часто вспоминал их ссору: как он впервые заговорил о браке, а Хуанита недоумевающе смотрела на него. Ее широко расчеркнутые брови казались крыльями. Он вновь видел, как она уходила в ветреную, черную щель, где был ее дом, а над домом — тяжело нависли тучи. Она готова была тогда унести их неосуществленное счастье. Теперь она не могла улететь. Ни даже уйти к отцу, в избу, где родилась. В ее молодом, набухшем теле была жизнь их обоих. Когда он раньше обнимал ее хрупкие, худенькие лопатки, ему казалось, что он держит птицу. Обнимая ее теперь, Аллан касался теплой, спелой, живой мякоти осуществленного желанья.



Лето кончалось. В один из знойных дней Хуанита лежала в постели. Ставни были закрыты. И ночная свежесть еще оставалась в комнате, сквозила в узкие просветы жалюзи. Хуанита была горячая; оливковая кожа ее влажно поблескивала; под простыней напряженно вздымался живот. В глазах был страх. Аллан хотел вызвать доктора, но боялся отойти от нее, оставить ее наедине со страхом.

— Лучше я протелефонирую доктору, — сказал он наконец, впросительно глядя на Хуаниту. Она не отвечала. «Вдруг она никогда ничего не скажет!» — мелькнула мысль.

— Хуанита! — вскрикнул он.

Она подняла тяжелые веки. Ее зрачки были как два черных зерна.

«Зачем страдает она одна, когда это наш ребенок?» — Аллан нагнулся и шепотом спросил:

— Разве, когда больно, ты не со мной?

И тут же пожалел, что сказал. Губы ее шевельнулись беззвучно, но Аллану послышалось: «Дай мне выстрадать то, что принесла любовь». В ее дыхании был железистый, кровавый привкус.

Аллан побежал к телефону и вернулся с намерением не отходить больше от ее постели. Она положила свою руку в его. На лице ее было больше слабости, чем муки.

Через час у дверей стоял доктор, маленький развязный мужчина, с бородкой клиншком.

— Здравия желаю, капитан! Как дражайшая половина?

— Не очень хорошо, доктор. Она страдает. Думается, пришло время.

— Рановато, но всё бывает. Она — молодец, справится. Волноваться нечего. Мы здесь, всё будет сделано.

Рядом с доктором возвышалась большая благообразная блондинка с чемоданчиком.

— Разрешите представить: миссис Хейворт — капитан Сондерс. Я пойду прямо к пациентке, а вы покажите миссис Хейворт, где она может переодеться. Ну и жара же!

— Не лучше ли мне сначала пройти вместе с вами к жене? Она нервничает. Ее мать умерла в родах.

— Мы прекрасно с ней столкуемся. Мужья в таких случаях плохие помощники.

Аллан проводил миссис Хейворт во вторую спальню. Ему казалось, что она — актриса, которой нужно успеть переодеться, прежде чем поднимется занавес.

— Благодарю вас. Теперь я должна поспешить. А то доктор может позвать меня в любую минуту...

Закрывая дверь, Аллан увидел, как она вынула из чемоданчика белый халат.

Через несколько минут акушерка проплыла по коридору, вся белая, накрахмаленная. Было невероятно жарко. В саду сливы падали на запекающуюся землю, истекая липким соком.



Хуанита рожала шестой час. Доктор разрешил Аллану войти в комнату на минутку. Он увидел Хуаниту страдающую и жаркую. В комнате больше не было зеленого сумерка. Окна были распахнуты, и в них вливались запахи цветов, смешиваясь с встречным запахом карболовой кислоты... Миссис Хейворт вошла в комнату, хрустя льдом в салфетке, и положила на лоб Хуаниты.

— А теперь ступайте погулять. Всё будет хорошо, — и доктор мягко вытолкнул Аллана за дверь.

Аллан пробовал ходить по патио, потом — по дорожке до калитки. Хруст гравия раздражал, мешая прислушиваться к стонам. Вернулся в кабинет и сел у стола против громадной, черной цифры отрывного календаря «3 сентября. Среда», и сидел, пока его длинные ноги, в белых полотняных брюках, не окаменели. Наступила ночь. На часах было пять минут второго. Это означало, что начался новый день. Аллан протянул руку, сорвал листок и увидел: «4 сентября. Четверг». Тогда

он встал, пересек гостиную и, не задерживаясь у двери спальни, открыл ее и вошел молча, не глядя на махавшего рукой доктора.

— Я останусь здесь, — услышал Аллан свой голос в густом молчании комнаты.

На широкой кровати он увидел голубоватые, мокрые компрессы, прилипшие к смуглому телу Хуаниты, веснущатую руку доктора на стройной, полудетской ноге... Веки Хуаниты были опущены... рот мучительно вздрагивал.

— Я останусь здесь, — повторил Аллан тихо и твердо. И услышал:

— Останься.

Но глаза Хуаниты не открылись. Миссис Хейворт держала кисть ее руки, считая пульс.

✱

Хуанита лежала на спине. Ее отдавшее плод тело опало...

Миссис Хейворт привычными движениями обмывала того, кто кричал, что он жив.

✱

Мама-Сондерс вернулась с парада растроганная. Это была седьмая годовщина мира. Вспомнилась захлестывающая радость минут, когда его объявили семь лет назад, когда на улицах шумели и обнимались люди; каждый пытался что-то сказать, голоса срывались, в глазах лучилось от слез.

Сегодня она вернулась в тихий, пустой дом. Старалась убедить себя, что грустить не о чем: Аллан жив, здоров, остальное неважно. Но остальное было важно. Когда он был на фронте, она ждала его. А теперь ждать было некого и нечего. Иногда приходили письма, но он даже перестал звать ее к себе. Кто виноват? Почему она не поехала к нему, когда родился ребенок? Может быть, полюбила бы малютку... держала бы его на руках, маленького, тепленького; купала и улыбалась бы, вспоминая маленького Алла... Но она не поехала к сыну, боялась, что не найдет в себе любви. Упрямое сознание убеждало, что «стара, поздно меняться, начинать жить по-новому». И она осталась со своими Сондерсами в толстом альбоме, отказавшись от радостей бабушки.

Но альбом, с тутой бронзовой застежкой, ни разу за все эти годы его не раскрылся...

✱

В эль Монте дель Печо стоял ноябрь. Так же, как и в Нью-Йорке. Полдень был солнечный, но в сумерках потянуло холодом, и горы заволоклись и застыли в темной синеве.

Аллан сидел за столом и писал письмо. Пятилетний Гарри играл в детской. Из кухни слышались привычные звуки: напевала Хуанита, брякала печной заслонкой. Аллан писал письмо боевому товарищу Джону, которому не писал с тех пор, как они сошли по сходням с борта «Капитана Гранта».

«Дорогой, прежний Джон!

Не буду говорить, как и почему я не писал все эти годы. После того, как положили сходни на борт «Капитана Гранта», и мы готовились сойти на берег, чтобы окунуться в разные судьбы после двух лет

единой, жуткой жизни, лучше было молчать (что вовсе не означает — «забыть»). Я знал о тебе, а ты обо мне — из вторых рук. Но теперь пора тебе узнать то, что через вторые руки не передается. Я хочу знать, как ты справился с прошлым? И сказать как я: насколько сбежал от прошлого. Никто другой сделать этого за меня не может. Мои легкие не могли дышать нигде, кроме гор. А перестать дышать я еще не был готов. Все это явилось как бы символом того, что требовало мое сознание. Были минуты в Нью-Йорке, когда казалось — не все ли равно? Почему не остаться умирать? Это было так просто. Не было бы нужды принимать решения. Болезнь сделала бы свое дело и без моего вмешательства. Не знаю, годы или инстинкт побудили меня и дали решимость вырваться. Помнишь, как в прыжной землянке, на вшивых подушках, мы решили, что уже умерли? Но мы не умерли, мы только дошли до грани терпимого и пытались обмануть себя, будто жизнь нам не дорога. Но в этом-то и было живое начало, протестующее против насилия над волей и совестью. Желание жить, конечно, главное положительное начало, потому так остро и здорово отворачивание к убийству. В нашем решении «будь, что будет! Мы уже умерли» скрывалась наивная попытка молодости отпугнуть действительность... Теперь я жив и даже здоров; у меня есть любимая и любящая женщина, ничем не связанная с прошлым и не напоминающая о нем. От нашей любви есть и ребенок; я работаю над книгой, в которой я вполне искренен и могу выразить себя. Но когда я спрашиваю себя, счастлив ли я, честный ответ — нет! Ведь жизнь людей не есть счастье. Счастье это — миф несчастного. Счастье оценивается путем сопоставления его со страданием. И желание жить всегда острее его осуществления. С осуществлением уходит, утекает боль из сознания; этим нарушается двойственное начало в человеке. Ясно ли это тебе, не знаю. Когда мне грозила смерть, вся тата сводилась к тому, чтобы ж и т ь, в самом реальном, природном смысле. А теперь, когда это достигнуто, рождаются другие желания; их создаешь сам, находишь в себе, пресекаешь свои естественные начала и общие установки, ищешь свой мир, выражающий то, что открыл сам. Мир, в котором можно жить с самим собой, не навязывая его никому, но и не позволяя никому вмешиваться и лишать тебя права б ы т ь тем, чем хочешь...

Аллан смотрел на застывший за окном темнеющий вечер, ощущая пробелы в отношениях с другом: уже годы не говорил он с ним! Он любил, стал отцом, читал чужие книги, работал над своей, но не общался с Джоном, с которым было пережито прошлое. А ведь из этого прошлого выросло настоящее...

На большом пальце у себя Аллан заметил зарубцевавшийся порез. Со всем напряжением ища слов, чтобы выразить то, что поддавалось словам с таким трудом, но что могло вновь соединить его со старым другом, Аллан сорвал ногтем запекающуюся кровь. На пальце открылось сырое, яркое мясо.

В комнату вбежал Гарри: отец должен ему починить игрушку. Винтик выскочил из колеса жестяного автомобильчика. Аллан взял сломанную вещь. Сын стоял у ручки отцовского кресла, внимательно следя за движениями отца. Длинные черные ресницы лежали на его персиковых щеках.

— Что это? — любопытно спросил он, указывая на расцарапанный палец. — Покажи!

— Ничего интересного, сынок. Была ранка, а я ее расцарапал ногтем, теперь надо ждать, пока снова заживет.

— Больно? — Гарри с интересом коснулся ранки грязным пальчиком и шаловливо взглянул на отца. Тот покачал головой.

— На, разбойник, тебе твой автомобиль. Починено. Больше не ломай.

Мальчик схватил игрушку и побежал, но с порога двери, вспомнив, сообщил:

— Мама сказала, к обеду будет пухлый пудинг, но раньше надо съесть бобы. Бобы — гадость! — крикнул он и хлопнул дверью.

Сын убежал, Аллан сидел тихо. В комнате заметно потемнело. Он чувствовал, что не один: с ним был Джон. Семь лет молчания не нарушили их единства. Исцеляющее влияние Хуаниты заключалось в том, что его прошлое для нее не существовало, и оно зажило. Но не исчезло. Из прошлого, как из почвы, растет всё. Окно затухевалось мглой. Во мгле чернели горы, у подножья которых он жил почти семь лет. Но друга у него здесь не было.

Аллан не слышал, как Хуанита звала его, и поднял голову лишь тогда, когда она вошла в комнату.

— Что с тобой? Ты заснул?

В комнате было слишком темно, чтобы различать предметы. Но Аллану казалось, что он видит ее лицо. Он встал и взял ее руку.

— Обедать?

Дверь в столовую распахнулась, на светлом фоне ее стоял маленький Гарри.

— Неужели надо съесть всё? Все бобы, чтобы получить пухлый пудинг?

Когда они сели за стол, Аллану вдруг показалось, что всё написанное Джону осталось на столе в темной комнате.

Когда в доме стихло, уснул не только Гарри, но и Хуанита, Аллан вернулся к письменному столу. Прочел еще раз написанное. Главное не было сказано, и многое было непонятно. Он взял перо и приписал:

«Когда я почувствовал, что могу и хочу жить не так, как люди живут, а как бояться жить, я очутился в том состоянии, при котором великая ложь и великая правда ищут соединиться. Вот это я хотел сказать тебе, но боюсь зря взволновать себя. Ты ближе к моим корням, мы связаны...»

Но и это было высказано неясно, а, главное, отвлеченно. Аллан посидел молча и снова взял перо.

«P. S. Видел ли ты Бетти? Рассказала ли она тебе про нашу встречу и разлуку? Бетти — осколок прошлого. Так думал я, и ошибся. Я нашел новую Бетти... Я люблю ее, думаю о ней. Она — мое единственное страдание теперь. А ведь страдание дороже, вернее счастья. Я не могу дать ей своей любви, потому что люди решили, что нельзя любить двух женщин сразу. Но ведь чувствуем мы не потому, как решили за нас другие... Желания не гибнут от насилия, они неутолимы. У них свои законы».

Аллан положил перо и, не перечитывая, запечатал конверт. Теперь он сказал всё, и от этого Джон стал ближе, чем раньше.



За последние годы письма, которые получал Джон, были почти исключительно счета, объявления, приветы от путешествующих знакомых, просьбы от бедных родственников или самые разнообразные приглашения. Когда он нашел на столе, между счетом от дантиста и месячным отчетом банка, конверт со штемпелем «Печо, Новая Мексика», первое, что он ощутил, было беспокойство. Он знал, что это письмо от Аллана. Но связь их оборвалась; Джон слышал о нем, иногда видел его во сне, но думать избегал: Аллан сбежал из той жизни, в которой Джон остался жить. Читать письмо ему было жутко и неловко. Эти чувства мешали непосредственной радости услышать старого друга. Сердце в груди вздымалось и падало, будто раскачивалось на качелях. Услышав голос жены, Джон судорожно сунул письмо в карман.

Среди знакомых много говорилось о поездке Бетти к Аллану. Никогда раньше Бетти не останавливала на себе внимания Джона, но недавно, после ее поездки к Аллану, он встретил ее на Пятой Авеню. С тех пор он не раз думал о ней. Когда же слышал пересуды знакомых о ее «разрыве» с Алланом, избегал в них участвовать. Бетти ничего не рассказала Джону, ни о себе, ни о своем визите. Он увидел ее около витрины универсального магазина; за стеклом изящные манекены, с восковыми лицами и застывшей грацией, красовались в дорогих мехах на фоне искусственного снега. На Бетти тоже была норковая шубка. Девушка просто и тепло протянула Джону руку. Все в ней показалось ему настоящим: настоящий мех, настоящая красота и настоящее горе в глазах. И горе было заметнее красоты.



Джон вошел в свою контору (с письмом Аллана в кармане) и проделал всё, что ему полагалось: пробежал деловую корреспонденцию, продиктовал письмо секретарше, мисс Сполдинг, ответил на несколько телефонных. Рутинная успокаивала, дарила уверенность, что всё идет своим чередом, что Джон такой, как всегда. Но нечто в этом было искусственное. Припомнились вдруг манекены в витрине, а рядом с ними живая, настоящая Бетти... В кармане лежало недочитанное письмо от Аллана. Покой был нарушен. Лишь после того, как мисс Сполдинг ушла на завтрак, Джон вынул письмо и стал читать сначала. В груди опять закопалось сердце, когда мелькнула первая строка: «Дорогой, прежний Джон». То, что писал Аллан, было понятно, но непривычно. Их довоенный опыт, их прошлое было одинаковым, но послевоенный выбор — разным: Джон вернулся к старому и привычному, Аллан сбежал от него. Письмо беглеца обнаружило важную истину: разные решения — лишь приемы жизни, а не перерождение чувств. Новые условия не защищают от самого себя, сколько себя ни ломай; закрывать глаза, затыкать уши и прятаться за факты — всё это не меняет сущности, а лишь охраняет до поры, до времени. Вот встретил же он Бетти и узнал в ней то, чего раньше не подозревал, хотя ни тот, ни другой ничего друг другу не сказали. Он обнаружил в ней измененное «неизменное», не наружное, а самое внутреннее. Аллан писал: «ведь чувствуем мы не потому, как решили за нас другие». Джон мог бы добавить: «И не потому, как решили мы сами». Знал Джон и то, что сила неутоленных желаний возрастает, а желаний,

осуществленные в действительности, впитываются в нее, теряют остроту. Может ли человек жить только воображением, когда он — часть природы?

Ведь сам Аллан признает, что живет теперь, не воздвигая в своем воображении счастья. И именно поэтому страдание для него стало дорожкой счастья. Всё это хаотично в словах, но, может быть, в этом сказывается несовершенство слов? Есть же люди, которые передают без слов то, что без слов и понимается...

Вернулась мисс Сполдинг. Теперь настала очередь Джона идти завтракать, так и не решив, что дорожке человеку: осуществленное счастье или горе по неосуществленному. Но Джон ощущал, что это решение — ответ не Аллану, а самому себе — невероятно для него важно. Живут же люди просто, не поднимая таких вопросов? Можно ли их избежать?

Джон вышел в переднюю комнату, где мисс Сполдинг раскладывала бумаги, готовясь возобновить работу. Он подошел к ней и неожиданно для самого себя спросил:

— Мисс Сполдинг, что человеку дорожке: осуществленное счастье или горе по неосуществленному?

Секретарша взглянула испуганно, точно перед ней вырос сумасшедший или пьяный. Но, спохватившись, ответила:

— Ну, конечно! Я слышала это по телевидению... не могу только припомнить ответа. Хотя мне кажется, что вопрос был поставлен несколько иначе... — Она наморщила брови, припоминая.

— Постарайтесь, пожалуйста, припомнить, пока я позавтракаю, — сказал Джон и вышел.

*

Следующий день у Джона начался с головной боли. Дав надлежащие указания мисс Сполдинг, он закрыл дверь кабинета, но, вместо того, чтобы просматривать деловую корреспонденцию, вынул из кармана письмо Аллана. Оно показалось ему сегодня более сбивчивым, чем вчера. И только слова о Бетти были ясные, живые, нужные, у которых могло быть будущее. А что если всё письмо не ему, старому другу, а через него — ей, Бетти? Он вынул из ящика ножницы, вырезал строчки о ней, чувствуя, какое большое волнение они передавали, вложил вырезку в конверт и адресовал Бетти.

На отдельном листке написал:

«Милая Бетти, спешу послать Вам кусочек полученного от Аллана письма, относящегося к Вам, в уверенности, что он будет очень дорог Вам. Джон».

Добавлять ничего больше не нужно. Он знал, что это так. В висках стучало больнее. Было горько, но наступило и облегчение. Поздно ему было нарушать законы, по которым он жил эти годы... И он даже обрадовался, когда мисс Сполдинг вошла к нему с очередным делом.

*

В большом городе легче всего укрыться от людей. За это Бетти полюбила Нью-Йорк. Одиночество стало ее долей. С ним ей надо было жить, прислушиваться к себе, сговариваться с собой. Жить одной, отделиться от матери без семейного разрыва, было невозможно. Потому

на два года Бетти уехала за границу, а, вернувшись, обособилась под предлогом, что пишет книгу о своих впечатлениях для европейского издательства. Это давало возможность часть дня проводить в библиотеках, завести новые знакомства из другого круга, где не знали ее личной жизни. Старые друзья сперва обижались, но постепенно отстали. За эти годы многое в Бетти изменилось. Но Аллан остался не только воспоминанием, а реальным влиянием, неотъемлемой частью ее судьбы. В первые годы находили по ночам нестерпимые горечь и тоска. Бывало даже, что на каком-нибудь мосту или на подоконнике высокого этажа, откуда смерть доступна, она колебалась: не проще ли?..

Самым большим воспоминанием в последней встрече с Алланом было то удивительное, необъяснимое противоречие чувств и движений. В этом воспоминании, наравне с обидой, жила утешающая, живая теплота. От нее невозможно было оторваться; лучше терпеть боль, только бы лелеять эту томительную, недоговоренную нежность, когда Аллан стоял с ней на горе дель-Печо, и, едва касаясь одной рукой ее плеча, другой вытирал ее слезы. Это была недозволенная, недопустимая людьми любовь, которой не было места в их судьбе и в его решении. Именно эта любовь их разлучила, но поэтому сама не умирала.

Когда Бетти получила записку Джона и вырезку из письма Аллана, она не заплакала, не закрыла глаз, не улыбнулась. Было время идти обедать, и она пошла в столовую, предварительно взглянув в зеркало и убедившись, что ничто не выдает ее состояния. Письмо она спрятала в туалетный столик. Бетти успела прочесть строки Аллана четырежды, и уже знала их наизусть. Запомнить их было легко: они были ответом на ее переживания, на ее немые догадки, удержавшие ее от отчаяния. Слова Аллана не сулили никаких реальных надежд. Было ясно, что он понял и принял действительность, выросшую вокруг него оградой. Но за этой оградой он созрел и приобрел мужество не сливаться с неизбежным всецело.

У счастья нет формулы. Аллан писал, что Бетти — его единственное страдание, и что «страдание дорожке, вернее счастья». Открылось, что все эти шесть лет, сами того не зная, они касались друг друга.

Бетти ела десерт. Он был такой вкусный!

— Ты давно не выглядела так хорошо, как сегодня, — сказала мать. — Этот зеленый оттенок (на Бетти было зеленое платье) очень освежает цвет лица, а глазам придает блеск. Когда ты была еще маленькой, тебя звали «изумрудные глазки».

Бетти слушала и улыбалась. Редко она улыбалась тому, что говорила мать. Так, улыбаясь, встала из-за стола и пошла в свою комнату; не зажигая огня, села у окна. Темнота не была страшной. Она была звездная, мерцающая. Бетти ничего не ждала, ничего не просила, а только сидела тихо, перебирая слова Аллана, которые знала наизусть.

Почему Аллан написал о ней Джону, а не ей самой? Но тут же поняла, что написать ей он не мог и не должен был. Даже не смел просить Джона передать ей написанное. Джон, конечно, сделал это по собственному побуждению. Бетти зажгла свет и написала Джону записку, короткую, простую, ничего не открывающую. Но сама она в большом волнении поняла, что лишь много переживший человек мог так поступить. Кто знает, что руководило им! Такой обыденный с виду, наладженный, а вот понял и бережно передал ей «недопустимое» в его обиходе. И он стал мил и близок. Но об этом лучше не говорить.



В горах дель-Печо было грозно. Рваная темнота трепалась над крышей. Аллан встал с постели, чтобы закрыть разбудившую его сту-чащую ставню. Хуанита и маленький Гарри спали крепко. И сон их делал тишину теплой и живой. Аллан вспомнил пустую тишину этой комнаты, когда он спал в ней один. За шесть лет осуществленной любви было не мало тягот, ссор, недомолвок или просто скучных дней; детских болезней, тревог, насущных забот, но и радостей, ласк, в которых тает действительность. Было ли это счастьем, он больше не спрашивал. Он понял, что счастье, как золото — условная единица, а не абсолютная ценность; что спутник счастья — страдание, уход от которого отнимает остроту переживаний. Только болевший наслаждается здоровьем, только голодный — сытостью, только жаждущий — водой.

Было приятно вернуться в постель и под одеялом согреть ноги. Аллан слушал вой ночи; ветер рвал ее на куски; в щель ставни он видел небо, на нем то тут, то там мерцали звезды над горами темноты, дыблящейся, как штормовые волны в океане. Теплое дыхание спящих касалось его... Так близко были они... Так хорошо было уснуть рядом с ними и рядом же проснуться, когда встанет солнце.

Но за закрытыми окнами, над ночными горами, мерцали звезды далекого мира — неизведанного, но неотъемлемого, того, что не дает уснуть, в котором живешь, когда другие спят; мира, в котором разлука бессильна, в котором сроки не иссякают. В этом мире человек приговорен к реальному одиночеству, но только в одиночестве он свободен от людских соглашений. В нем он — хозяин своих чувств.

Бетти, изъятая из его жизни, никогда даже не снилась Аллану. Но ее нельзя было забыть, когда не спалось. Она стала бессонной частью его жизни. Не раз он пытался написать ей, уверенный, что новая Бетти все поймет и почувствует, но слова на бумаге становились бумажными, либо слишком четкими, уложенными в общие для всех формулы, либо ускользающими, отвлеченными. Письмо — всегда монолог; в нем нет взаимокасания, переливания волнений из одного в другого. В письме только спрашивают или предлагают издали и ждут ответа.

Как ни горька была та правда, которую пришлось сказать Бетти, стоя на обрыве дель-Печо, эта правда была омыта нежностью. И Беттины слезы были осушены щемящей лаской. Обоим было больно, но они были близки. Из этой близости ничего не убыло за семь лет разлуки. Разлука стала их участью. А боль обречена оставаться свежей, неизживаемой, неутоляемой.

Тучи закрыли почти все небо. Остались только две звезды, как две слезы на лице измученной бурей ночи.

ЗАКАТ

Ну, конечно, я всех богаче,
Посмотри — для одной меня
Над кустами соседней дачи
Разгорелись снопы огня,
Вознеслись золотые горы,
Из огней потекла река,
А края голубой амфоры
Превращаются в мотылька.
И меняются . . . Ангел некий
Простирает на юг крыло,
Бирюзовыми стали реки
И прозрачными, как стекло . . .

Но никто не посмотрит даже
На сияющий склон небес,
И никто дружим не расскажет,
Как сменяется ряд чудес.

Вечерами, как зритель в ложе,
Я гляжу на закатный час.
Посмотри — ты увидишь тоже,
Как горят небеса для нас.

В. Бунина-Муромцева

Беседы с памятью

Сирия, Галилея, Египет

*«О, память, ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастья мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова
милы».*

Е. Баратынский

Весна 1907 года

В день отъезда из Иерусалима мы с Иваном Алексеевичем были утром на базаре. Купили провизию для вагона.

Затем уже знакомое: фаэтон, вокзал, маленький поезд, путь в Яффу... Яффа, базар, взморье на закате. Наш пансион, Хаим, Шоры. Все нам рады. Вечером разработка плана дальнейшего путешествия. Выбираем морской путь до Бейрута, а оттуда на Баальбек, Дамаск, Генисаретское озеро, Тивериаду, Назарет, Кайфу, Порт-Саид, Каир и Александрию, из Александрии же прямо в Одессу, из Одессы в Москву, а на лето в деревню.

На другой день, после завтрака мы с Шорами поехали на Яффскую пристань. В толпе выделялся широкоплечий дьякон с густыми волосами, спешащий большими шагами к концу пристани: в руках у него несколько длинных пальмовых ветвей.

Пассажиры нашего парохода — почти все туристы с пледами, кодаками, но их немного.

Солнце уже касается горизонта, море спокойно и отливает розово-фиолетовым. Яффа со своими золотыми окнами спокойно смотрит на нас, на привычную для нее картину — суету перед погрузкой на пароход.

Я заглядываю в нашу каюту, затем отыскиваю Яна*), он пристально смотрит на движущийся берег со своим палевым, а теперь розоватым городом. Он о чем-то крепко думает, так как не сразу замечает меня. Мы идем мимо Саронской долины. Вода понемногу теряет свой красноватый оттенок и делается все синее и гуще.

Начало этого путешествия напечатано в №№ 60 и 62 «Нового Журнала». — Ред.

*) Иван Алексеевич. — Ред.

За обедом, очень длинным, народу немного, но все иностранцы, некоторые мужчины в смокингах, дамы в вечерних туалетах.

Очень тепло, мы сидим на палубе, над которой высоко в небе стоит полумесяц.

Шор делится с нами своими впечатлениями о колонии, в которой ему удалось побывать. Он восхищается энергией, работоспособностью сионистов, — как они в пустыне создают целые городки, сколько у них энтузиазма! Потом с большим восхищением рассказывает нам о художнике, кажется, по фамилии Шах, который создал в Иерусалиме школу живописи.

Шор-отец счастлив своим паломничеством, очень тротателен, он поклонился всем святыням и с чувством удовлетворения возвращается домой. С нами он только до Бейрута. Послезавтра на этом же пароходе он плывет в Константинополь, где переседет на русский, севастопольский.

Часам к одиннадцати мы расходимся. Когда в каюте я сняла с себя блузку, Ян так и ахнул: обе руки мои были покрыты мелкими ссадинками. Он даже рассердился, а я не сразу поняла, почему. Это его манера — начать сердиться, не объяснив в чем дело:

— У тебя иерихонка, почему ты не сказала мне об этом раньше, нужно было обратиться к врачу...

Он взял свою желтую мазь, забинтовал мне руки, делая все почти с женской ловкостью и заботливостью.

Ночью Ян разбудил меня:

— Взгляни в иллюминатор, видишь два мутных огня? Это или Тир или Сидон. В древние времена можно было пройти под землей между этими двумя городами. А тиро-сидонские потребательные пещеры с их гrotтами получили страшное название: «сетей смерти», «колдцев гибели»...



Утром за кофе против меня сидел англичанин, который пытался что-то объяснить лакею. Я предложила ему написать, что он желает, так как тоже не могла разобрать его английских слов, оказалось, что он просил три яйца, пол-литра молока и мелкого сахара. Когда ему все это принесли, он вылил молоко в большую чашку, выпустил туда яйца и насыпал сахару, потом все смешал и проглотил. Я с удивлением смотрю на него. Он объясняет, что питается только так три раза в день и чувствует себя сильным и здоровым, с восхищением показывает на свои бицепсы.

Вышла на палубу, когда уже подходили к Бейруту, окруженному лесистыми горами и виноградниками, за которыми поднимаются снежные горы Ливана. Пароход стоит здесь около суток. Шор-отец еще день проведет с нами.

Бейрут смотрит на север, а потому море у его ног печальное. Город сирийский, восточный, без всяких памятников. Европейцы, главным образом французы, — чиновники или занимаются торговлей. Сирийцы — народ красивый. Богатые живут в довольстве, но, вероятно, очень скучно.

Мы ездили по городу, выезжали за заставу; там много садов, вилл, увитых глициниями и другими цветами. За обедом пили густое палестинское красное вино.

Вечером мы распрощались со стариком Шором, прощанье было сердечное, — он очень доброжелательно относился к нам. Мы так с ним больше и не встретились. Вероятно, он уже умер. Ведь в то время ему было лет семьдесят. Мы о нем сохранили самые лучшие воспоминания как о человеке добром, мудром и религиозном.



Ян меня очень напугал: проснувшись, стал жаловаться на сердце, уверял, что умирает, ему казалось, что у него жар.

— Что делать, — говорил он печально и со страхом в глазах, — придется сейчас вместо вокзала ехать на пароход, благо он еще здесь, а то заедем Бог знает куда, и что ты станешь делать, если я расхворююсь.

— Да ты мерил температуру? Померяй, если жар, то, что же делать, как ни грустно, сядем на пароход, — сказала я.

— Хорошо, только ты всё-таки попробуй мне лоб.

Пробую, — странно: сначала кажется горячий, а потом нормальный...

Через 15 минут смотрю на градусник — 35,8. Как впоследствии выяснилось, Ян всегда чувствовал себя плохо, когда ему приходилось жить у самого моря.

Половина седьмого мы сели на извозчика и отправились на вокзал.

Дорога между Бейрутом и Баальбеком красива и разнообразна: сначала море, сплошные сады, виллы в цветах, затем мы поднимаемся по змеевидной дороге, которая на некотором расстоянии делается зубчатой. Я впервые еду по железной дороге в горах и поражена великолепием открывающихся картин. Едем мы в третьем классе, — на востоке мы ездим всегда днем в третьем классе, — здесь обычно можно увидеть что-либо интересное из туземной жизни, всмотришься в лица, в нравы. Но я больше смотрю в окно. Чем выше взбирается наш поезд, тем становится все прохладнее. Море то скрывается, то снова показывается и с каждым разом делается все просторнее и безбрежнее, так же, как и небо, а Бейрут опускается все глубже и кажется все мельче и мельче.

После Софара море пропало, мы уже в глубинах Ливана, и перед нами радостно сверкает над горной цепью какая-то новая снежная гора, вся как-бы в серебряных талунах.

Перевал мы делаем около 11 часов утра. Тут уж настоящая горная свежесть, хотя высота и небольшая, всего 5.000 футов над уровнем моря.

Ян чувствует себя совсем здоровым, очень весел, радуется, что не поддался утренней слабости.

После перевала — большой туннель. За ним огромная долина, на которой много распаханной земли. Теперь мы находимся между Ливаном и Антиливаном.

Красивый туземец, указывая рукой в окно, говорит:

— Джебель-Шейх!

Ян вскрикивает:

— Да, это Гермон! Как же это я забыл? А снег на нем как талес. Не правда ли, Давид Соломонович?

— Да, похоже, — подтверждает Шор.

— Что такое «талес»? — спрашиваю я.

— «Талес», — объясняет Шор, — это полосатый плат, которым евреи покрывают голову во время молитвы.

В Райяке пересадка на Баальбек.

Почва тут красноватая, в редких посевах.

— Недаром, — говорит Ян, — существуют легенды, что рай был именно здесь, — вот и та самая глина, из которой Бог вылепил Адама...

Слева закрывает горизонт цепь Ливана, испещренная белыми ледниками снега, а справа возвышается Антиливан.

— Вот откуда, — говорит Ян, который все время, не отрываясь, смотрит в окно, — вот откуда все эти полосатые хламиды, талесы, полосатые мраморы в мечетях! Все отсюда!

Баальбек — развалины огромного храма, вернее храмов, самых древних и самых огромных из всех когда-либо созданных рукой человеческой.

Как показывает само название, они были посвящены Ваалу, богу Солнца.

За Баальбеком — пустыня, хотя земля и плодородна.

От огромного города, который на своем веку перетерпел так много и от людей и от стихии, осталось маленькое селение, а от храма — шесть исполинских колонн, которые мы по пути с вокзала в город неожиданно увидели над развалинами, вокруг которых зеленели сады.

Вдруг затрещал гром. «Успеем ли добраться до отеля сухими?» — подумали мы.

Успели. Но тотчас же начался ураган с грозой и градом.

В нашей комнате балкон. После грозы мы долго не можем оторвать глаз от этих знаменитых шести колонн, которые так легко возносятся в небо, уже ясное и спокойное.

— Однако, нужно, пока еще не поздно, пойти туда, — говорит Ян.

Мы долго бродим среди этих циклопических развалин, с каким-то недоумением взираем на колонны, которые вблизи кажутся еще более исполинскими.

Подробно описывать храмы Баальбека я не буду, — слишком это трудно и сложно. Скажу одно: все время среди этих развалин я испытывала изумление и восхищение, и легенда о титанах уже не казалась мне легендой.

Мы оставались среди руин до самого заката, то есть до того времени, когда вход в них запирают. Неужели бояться, что и их раскрадут?

Ян, отвоевывая лишние полчаса у нетерпеливо ожидавшего сторожа, ждавшего нашего ухода, взбирается к подножию колонн, и мы долго не можем дозваться его.

За обедом мы делимся впечатлениями. Ян восхищается тем, что он видел у колонн: сочетанием бледно-голубого неба с этими оранжево-красноватыми «поднебесными стволами», безбрежной зеленой долиной, простирающейся за ними до хребтов, тишиной, нарушаемой лишь шумом воды...

После обеда Давид Соломонович доставил нам большое удовольствие — он играл Бетховена, и играл очень хорошо. Он уже несколько лет перед этим посвящал себя Бетховену, читал о нем лекции, играл только его. Он очень любил говорить о нем, чувствовалось, что он живет им.

Вышли пройтись, полумесяц высоко стоял над развалинами и лил

на них свой волшебный свет. На окраине селения мы остановились. Тут Ян неожиданно стал читать стихи. Он читал (все восточные свои стихотворения) как-то особенно, я никогда раньше, да, пожалуй, и потом не слыхала такого его чтения. Кажется, никогда в жизни не волновали меня стихи так, как в эту месячную ночь.

В стихотворении о Стамбуле Шор возмущился «кобелями», нашел это слово недостойным поэзии.

Возник короткий, дружеский спор. Ян доказывал, что нет слов поэтических и прозаических, что все зависит не от самого слова, а от сочетания его с другими, от темы. И кстати рассказал, как раз он застал Бальмонта, что-то вписывающего своим четким почерком в книжечку. Он спросил, не стихи ли он пишет? Бальмонт ответил, что он записывает «сладостные слова»: пустыня, лебедь, лилейность и так далее. Но Шору Бальмонт, по-видимому, был ближе...



Я еще была в постели, когда Ян убежал еще раз взглянуть до отъезда на Храм Солнца.

Я воспользовалась свободной минутой и написала письмо брату Мите, это был день его рождения. Сохранилось ли это письмо или погибло за эти ужасные годы?

По железной веточке мы направляемся опять к Райяку, где пересядем на поезд, идущий в Дамаск.

Вагон пуст, и мы стоим, каждый у своего окна, стараясь крепко запечатлеть в себе все эти развалины, колонны, так хорошо, по-утреннему, освещенные солнцем, в честь которого они и были воздвигнуты. Потом, когда они скрылись, мы смотрим на мирную долину, на полосатые гряды Ливанских и Антиливанских гор.

В Райяке придется ждать поезда довольно долго, но почему-то даже и это весело.

За завтраком на вокзале мое внимание привлекают два француза. Один — очень красивый блондин. Оба отлично одеты. Кто они? Куда едут?

Дамасский поезд идет сначала по той же долине, над которой царствует Гермон.

Поезда здесь не спешат. В вагоне мы опять с туземцами. Есть и белые чалмы, и красные фески, и закутанные женщины.

Чем ближе к Дамаску, тем становится все шире и пустыннее, а земля приобретает тон светло-коричневой глины.

Дамаск — оазис, стоит на ровном месте, окружен садами, из-за которых высятся острые белые минареты.

Гостиница поразила меня своим восточным характером. Внутри — мраморный двор с журчащим фонтаном, вестибюль и широкие галереи, оставленные узкими, обитыми восточными материями, диванами. Комната у нас большая, с балконом.

Мы решаем поехать за город, к реке с очень странным именем — Борода. Город без особых памятников старины, так как строительного материала здесь очень мало, а из глины прочных зданий не построишь. Отъехав от города на некоторое расстояние, мы останавливаемся и смотрим на Дамаск, который необыкновенно хорошо освещен предвечерним солнцем и весь утопает в зелени.

Ян выскакивает из экипажа и с большой торечью восклицает:

— Почему я не видел всего этого пятнадцать лет тому назад?

Я в то время не поняла ни его восклицания, ни печали, но мне почему-то самой стало очень грустно.

За обедом он повеселел.

В салоне какая-то англичанка записывала что-то в кожаную тетрадь, — вероятно, свои впечатления. Кто она? Может быть, писательница? Как странно — встречаешь людей, видишь, что они делают, и не знаешь, кто они!

Вечером мы долго сидели на балконе. Месяц, хотя было еще светло, высоко стоял в небе. Потом спускались во двор и слушали журчание фонтана, немного прошли по уже спящему городу, залитому лунным светом.



У Шора везде знакомые, как я уже писала; благодаря этому, мы попадаем на какую-то фабрику, где изготавливаются медные вещи: огромные вазы, кувшины, старинные походные чернильницы, пепельницы, чашки для мытья пальцев после обеда, кастрюльки для турецкого кофе... Мы покупаем на память несколько пепельниц и медную чернильницу с ручкой-пеналом, которую можно засунуть за пояс.

Потом мы попадаем в чей-то очень богатый дом. Дом совершенно восточный, с внутренними двориками, где журчит фонтан, с какими-то переходами, балкончиками и галереями, убран тоже по-восточному дорогими коврами, тахтами, под парчевыми тканями, узкими диванами, обитыми пестрым шелком, разными столиками, отделанными перламутровой инкрустацией, шальями, какие носили наши бабушки... Нас даже угостили кофе, сваренным на наших глазах прямо на углях, необыкновенно вкусно приготовив его с какими-то орешками.

Было около полудня, когда мы покинули этот гостеприимный дом. Улицы были пустынные, на каком-то перекрестке мы встретили несколько женщин, одетых во все черное. Они остановились с таким видом, точно им хотелось что-то спросить. Знакомый Шора подошел к ним. Оказалось, они интересовались мною — «из какой страны такая женщина?»

Днем мы посетили главную мечеть. Меня поразило, как низко висели в ней лампы на железных цепях. Мы восхищались, что мечети всегда открыты, что всякий правоверный во всякое время может найти себе приют, что с грязными ногами никто никогда не вступает в них. Хорош и этот двор с обилием воды для омовений, окруженный крытыми аркадами.

Из мечети мы идем на базар и проводим в его рядах, похожих на ряды константинопольского Чарши, несколько часов. Так же зазывают тут продавцы покупателей, и так же благодушно провожают тебя, если даже ничего не купишь. И мы насмотрелись вдоволь — и на ковры необыкновенных тонов, и на шарфы, вышитые золотом и серебром, и на кашемировые шали, и на оружие, на изделия из слоновой кости, из серебра, золота, и на всякие парчевые ткани, — словом, на все, что делает Восток таким роскошным и заманчивым.



Бродим мы по городу и по базару и на другой день с раннего утра, досматривая то, чего не успели досмотреть накануне. На базаре все прелестно и, может быть, потому, прежде всего, что все сработано с любовью, руками...

После завтрака мы решаем выехать за город к месту постройки Багдадской дороги. Уже очень жарко, но ведь в пустыне зной всегда приятен, если он только переносим. И был зной, пески, глиняные могилы, а дальше люди, работавшие в этом пекле, проводившие железную дорогу в Багдад, и мы невольно стали мечтать совершить и этот путь. Вообще, когда путешествуешь, всегда растет желание увидеть как можно больше, ехать все дальше и дальше.

Последний вечер в Дамаске был мяткий, и высокая неполная луна была очень спокойна, когда мы бродили по спящему городу, который казался нам фантастическим.



Из Дамаска, запасшись провизией, мы выезжаем рано. Путь немалый, ехать придется часов десять, у Генисаретского озера мы будем только часам к шести.

Дорога идет почти все время по пустыне, которая вся как бы из черного шлака. В вагонах — никаких удобств. Когда останавливается поезд, то пассажиры в халатах и чалмах просто выскскивают и садятся на корточки.

На одной станции в наш вагон входит высокий, толстый, весь в белом человек, увешанный оружием. В руках у него седло, которое богато и красиво отделано, лицо красиво: орлиный нос, огненные глаза. Он едет несколько станций, затем слезает. Недалеко от полотна железной дороги стоят два коня, один из которых оседлан. Наш араб подходит к ним, человек, по-видимому, его слуга, низко ему кланяется, прикладывая руку ко лбу и к сердцу, затем быстро помогает ему подседлать второго коня, и оба с невероятной быстротой уносятся по черной блестящей пустыне вдаль. Хороша дикая жизнь!

Ян долго сидел в отдалении от нас. Когда он опять подсел к нам, завязался литературный разговор. Шор расспрашивал его о Куприне как о человеке. Ему казалось, что Куприн должен быть похож на своего героя «Поединка» — Ромашева.

Потом заговорили об Эртеле, дочерям которого Шор давал уроки музыки. Ян был в хороших отношениях и с этим писателем. Оба восхищались им: его культурностью, его деятельной натурой, его широтой... Ян между прочим сказал, что он любит шампанское. Шор возмутился. Как тратить деньги на шампанское! Вот что он купил рояль за тысячу рублей, это дело другое.

— А по-моему и на шампанское можно тратить! — возразил Ян.

Было уже тяжело ехать, я очень устала, даже легла на лавку, а еще до цели нашего пути оставалось часа два, которые и прошли очень томительно.

Конечная станция этой дороги лежит близ Генисаретского озера, недалеко от истока Иордана.

От станции до озера мы шли пешком. Заря была простая, тихая, такая только бывает в поле у нас летом. Мы шли по тропинке, пробитой среди уже поспевшего ячменя, и она привела нас на самый

берег озера, к бедному глиняному селению без всякой зелени. Вокруг расстилались пески, за озером царственно возвышался полосатый Гермон. Опять разочарование: я думала, что Галилея вся в зелени, а между тем и здесь пустыня, хотя и гораздо мягче по краскам и линиям, чем в Иудее.

Солнце садилось за горы, и стало быстро темнеть. Мы наняли лодку с четырьмя гребцами и поплыли в Тивериаду.

Озеро уже беспокойно, поднимается ветер, наши гребцы натягивают парус и вполголоса затягивают что-то очень грустное. Сначала мы весело относимся к плаванью под парусом, к кренам, к брызгам. Рассматриваем наших гребцов, находим в них сходство с апостолами. Но ветер все усиливается, лодка все более и более накреняется, настало и дело окатывает водой. Ян начинает волноваться, а наши лодочники, в войлочных белых шапочках на макушке, преспокойно продолжают петь свои песни. Ян не выдерживает и кричит на них архируски, чем приводит в смущение Шора; лодочники сначала улыбаются, показывая блестящие зубы, а потом, видимо, его прозный вид и крики действуют, и они более внимательно начинают управлять парусом. Из темноты на нас смотрит Тивериада своими немногочисленными огнями.

Ночь провели мы в старинном католическом монастыре у самого озера. Нам дали сносный ужин и хорошего красного вина. После ужина мы сидели на плоской крыше, любовались заливным зеленоватым светом озером и фантастическими очертаниями гор. К Яну подошел настоятель, высокий старик; началась беседа о бедном быте этого Святого озера.

Спали мы, несмотря на усталость, очень плохо, — где-то кричал козленок, да и славные на весь мир тивериадские блохи давали себя знать.



Шор еще вчера уговаривал нас поехать в Табху, где тоже есть маленькая гостиница при монастыре. Оттуда он должен ехать верхом в какую-то отдаленную сионистскую колонию. Звал туда и нас, но мы отказались. Отказались сначала и от Табхи, — мне нездоровилось. Но утром, когда я еще лежала в постели, он опять через дверь стал очень настойчиво уговаривать нас проводить его до Табхи и подождать его там до следующего дня. И уговорил. По тесной грязной улочке мы спустились к озеру, где нас ждала лодка. Еще в воздухе ощущалась свежесть, но все же натянули парусиновый навес. Озеро очень спокойно, мы плывем на веслах. Гребут двое: старик и подросток, оба с загорелыми блестящими лицами. Сначала мы держим путь на Капернаум, который лежит на северном берегу. В нем ничего не осталось, кроме развалин знаменитой синагоги. Когда мы выпрыгиваем из нашего челна на берег, мы ничего не видим, кроме колонн, камней, между которыми коричневыми пятнами выделяется сожженная солнцем трава и розовеет дикий олеандр, с которого я срываю и прячу в путеводитель цветок...

Затем мы направляемся в Табху; она находится между Капернаумом и Магдалой.

Я лежу на дне лодки и наслаждаюсь тишиной и покоем. Мы почти все время молчим. У Яна счастливо-грустное лицо.

Возле Табхи высаживаемся. Обитель, состоящая из нескольких серокаменных строений, с маленьким садом, окружена высокими стенами, стоит на пригорке. Медленно поднимаемся к ней. На пути — эвкалипты, под которыми пасутся черные козы. Шора уже ждут. Он сейчас же садится на лошадь и уезжает. Его маленькая, с опущенной головой фигура гораздо лучше подходит к роялю, чем к седлу.

Пребывание наше в Табхе было самым счастливым временем за все время нашего пути.

Комнату нам отвели довольно большую, но полутемную: она в нижнем этаже, и окна ее увиты зеленью. Перед окнами, в саду — мimosы, пальмы, кипарисы.

Во всем мире монастыри почти всегда находятся в самых красивых местах. Вероятно, религиозное чувство нераздельно с любовью к природе и с чувством красоты. И не мне передать ту нежность красок, мягкость очертаний, что я видела из Табхи, с берега этого дивного озера. Недаром именно здесь родилось самое прекрасное и милосердное учение в мире. Насколько Старый Завет слил с Иудеей, настолько в Галилее и особенно на этом озере понятно Евангелие.

По-настоящему я в те годы была далека от христианства, но в этот незабвенный день и я чувствовала Христа и, может быть, по-настоящему...

Вечерней зарей мы гуляли за монастырем, где колосилась тощая пшеница. Мир, покой и тишина царили над всей, уже позлащенной закатом, страной. Мы долго сидели и на самом берегу озера, и золотой шар солнца медленно склонялся к горам, которые казались уже почти бесплотными в своей золотистой дымке.

Я прочел мне свои новые стихи, которые он написал по дороге из Дамаска о Баальбеке, и сонет «Гермон», написанный уже здесь. Я выразила радость, что он пишет, что он так хорошо передает эту страну, но он торопливо перебил меня:

— Это написано случайно, а вообще еще неизвестно, буду ли я писать...

И перевел разговор на другое. Я тогда не обратила на это его замечание никакого внимания, но оно оказалось очень характерно для него.

Потом он заговорил о Христе:

— Вот в такие самые вечера Он и проповедывал... Надо всегда представлять прошлое, исходя из настоящего... Правда, зелени здесь было больше, край был заселен, но горы были такие же и солнце садилось все в том же месте, где и теперь, и закаты были столь же просты и прелестны...

Потом он заговорил об апостолах. Он больше всего любит Петра за его страстность. (Я же с детства любила больше всего Иоанна, как самого нежного).

— Петр самый живой из всех апостолов. Я лучше всех его вижу... Он и отрекался, и плакал... и потребовал, чтобы его распяли вниз головой, говоря, что не достоин быть распят так, как Учитель...

Очень интересовал его и Фома. — Хорошо было бы написать о нем, — говорил он. — Это вовсе не так просто, как кажется с первого взгляда, — это желание вложить персты в рану...

Конечно, вспомнили и Андреевских апостолов. «Иуда Искариот и другие» — мы уже слышали это произведение зимой в Москве в лите-

ратурном кружке «Среда», Андреев прислал свою рукопись для прочтения из-за границы. Яну это произведение не нравится.

За разговорами мы не заметили, как стемнело, из-за горы показался медный месяц; на несколько мгновений он как бы задержался на ней, затем стал подниматься вверх, теряя свою красноту, становясь все меньше и меньше и, приобретая зеленовато-голубое сияние, наполнил им всю страну, уже звеневшую цикадами.



Радость ощутила я, когда, вставши, выбежала в сад. Солнце еще стояло над восточными хребтами, и тепло, красноватым блеском, отливало под ними вода. В воздухе чувствовалась свежесть. Монахи, — их было всего пять человек и все немцы, — были уже за работой.

Мы прошли довольно далеко за Табху, и было одно и то же: сожженная солнцем коричневая трава, редкие посевы, бесплодые, тишина, нарушаемая лишь пением птиц, и непередаваемая красота в линиях гор с розово-снежными полосами Гермона.

К вечеру возвратился Шор. Он был очень доволен поездкой, жалел, что мы не сопутствовали ему, опять восхищался сионистами.

По тихому, нежно-прозрачному озеру, мы возвращались на веслах в Тивериаду. И как было хорошо лежать на дне лодки и смотреть в бездонное, уже немного побледневшее небо!

Ночевали опять в Тивериадском монастыре.



После завтрака, в большой со сводчатым потолком столовой, в очень еще знойный час, мы сели в экипаж и поехали. Ехать было необыкновенно приятно по этой выжженной, но исполненной какой-то особой прелести, стране. Но я всем своим существом еще жила на Геннисаретском озере.

В Кане Галилейской — остановка. Несколько домиков, несколько деревьев, высоких и раскидистых, вот и все, что осталось от города, где Иисус сотворил самое земное чудо.

Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосифа, где лого вина, вспомнили, конечно, и об этом чуде, о доброте, заботе и снисходительности к людям Богоматери...

В Назарет мы приехали в тот час, когда стада возвращаются домой; навстречу нашему спускающемуся вниз по улице экипажу поднимались черные козы с живописным пастухом позади.

У фонтана женщины в длинных синих рубашках, с платками, ниспадающими до самых пят, наполняли глиняные кувшины водой, ставили их на плечо и медленно, грациозно ступая, расходились по своим домам.

— Здесь ничего не изменилось, — сказал Ян, — вот так и Божья Матерь приносила домой по вечерам воду.

Мы как раз подъехали и остановились около дома Иосаифа, где прошло детство и отрочество Иисуса, — темной без двери конуры.

— Да, да, — сказал Ян грустно, — вот на этом самом пороге сидела Она и чинила Его кубовую рубашку, такую же, как и теперь носят здесь. Легенда говорит, что Они были так бедны, что не могли поку-

пать масло для светильника, а чтобы Младенец не боялся и засыпал спокойно, в Их хижину прилетали светляки...

— Удивительно хорошо! — сказала я.



До завтрака — беглый осмотр Назарета, милого, простого города с очень красивыми детьми и грациозными женщинами.

За завтраком спорили с знакомыми Шора: можно ли еврею менять религию, если он равнодушен к своей да и ко всякой религии ради, например, науки, возможности приносить людям пользу? Я тогда еще мало была знакома с еврейским национализмом, а потому искренне не понимала тех нападок, которые сыпались на бедную голову Н., — мне казалось, что это дело личное, и никто не может в него вмешиваться...

В два часа мы опять в экипаже, — едем в Кайфу.

В Кайфе мы посетили лишь монастырь на Кармеле. Монастырь старинный, большой, с очень строгим уставом. На его вышку женщин не пускают, но и там, где я была, можно было достаточно почувствовать всю ширь, всю мощь, всю красоту Средиземного моря. Такого простора я никогда не видала. Тут понимаешь, что пророк Илья был взят живым на небо именно с этой горы в бурю и грозу...

До отхода парохода у нас час времени, мы заходим в ресторан и спрашиваем бутылку кармельского красного вина. Вино недурное, но тяжелое.

Напитки каждой страны Яна очень интересуют. Он говорит, что через вина он познает душу страны.

На пристани турецкий чиновник требует наши паспорта. Ян неожиданно вскипает, что-то кричит ему, чиновник теряется и нас пропускает...

Пароход немецкий, удобный, сияет чистотой.

В Яффе мы — на закате, и море так хорошо, что я не могу оторвать от него глаз, — оно розово-голубое с золотым налетом.



Утром знакомое: Порт-Саид, залитый солнцем, масса пароходов, — на некоторых грузят уголь полутонные, совершенно черные от угольной пыли, худые, но сильные люди, — памятник Лесепса, надоедливые мальчишки-чистильщики сапог, опромные магазины.

В поезд попадаем как раз к отходу. Едва размещаемся, как он трогается. Поражает скорость: деревья, канал, дома мелькают с удивительной быстротой. На станциях поезд стоит так мало, что Ян чуть было на одной не остался. Вот и настоящая пустыня, именно такая, какой я ее воображала: ровная, с далекими беспредельными горизонтами.

Часам к одиннадцати пассажиры закрывают не только решетчатые ставни, но и окна, отчего в вагоне становится и душно и сумрачно, — с солнцем здесь не шутят.

Рассматриваю в полумраке случайных спутников. Против нас сидит человек в черной одежде и черной чалме, толстый, с зеленовато-бронзовым цветом лица. Ян думает, что это копт. Рядом с ним — чело-

век в белой чалме, но национальность его определить мы не можем. Далее несколько высокоплечих и толстогорлых феллахов в голубых рубашках; в соседнем отделении полосатые халаты и фески, против них женщины с медным цилиндром вдоль носа, закутанные во все белое, от чего особенно резко выделяются их продолговатые глаза с агатовым отливом.

Каир поразил меня чистотой, благоустроенностью, блеском, и не только солнечным. Здания, площади, скверы, улицы, извозчики — все говорило о богатстве этого города-оазиса.

Остановились мы в «Метрополе», почти уже пустом, столь европейски комфортабельном, что о Каире напоминали в нем только фески на красивых смуглых подростках при лифте и мушкетеры над кроватями.

Когда жар спал, — на этот раз мы не отважились выйти на улицу в неурочное время, — мы отправились прогуляться. На площади бросился в глаза большой стеклянный куб с красивыми разноцветными коробочками, расставленными по полкам.

«Что это такое? Конфеты?» — мелькнуло у меня в голове.

Увы! Это была табачная лавка! И Ян провел в ней чуть не час, нюхая, рассматривая, пробуя разные сорта папирос, сигар, табаку и все покупая и покупая. Я приходила в отчаяние: послезавтра из Александрии уходит наш пароход, а он тратит время на такие пустяки. Наконец, накупив всё, что ему казалось заманчивым, он точно пришел в себя и, оглянувшись, неожиданно и весело сказал:

— Однако, что же мы такое делаем, поедem лучше к Нилу, закат будет, вероятно, удивительный.

Мы прошли по людным широким улицам, среди нарядной толпы, — было воскресенье. Потом сели в покойный, блестящий черными крыльями экипаж с извозчиком во всем белом и поехали взглянуть на закат, на грациозные пальмы, раскинувшие перистые ветви свои по алому небу, на кровавые отблески Нила, на пирамиды, ставшие фиолетовыми.

На обратном пути мы попали в бесконечную вереницу экипажей с очень нарядной публикой. Я то смотрела на лица женщин, мягко оттененные полями воздушных, из тюля, или соломенных, со страусовыми перьями, ниспадающими до плеч, шляп, то на мужчин в белоснежных костюмах, то на обгоняющие нас кавалькады английских офицеров с каменными лицами и гибких амазонок, ехавших рысью или галопирующих на кровных лошадях.

Было почти темно, когда мы вернулись домой. Каир сиял огнями, оживления было, кажется, больше, чем днем.

За обедом Ян угощал нас кианти, которое оказалось очень хорошим и так развеселило нас, что мы отправились в арабский театр. Там было страшно жарко. Партер, где мы сидели, сплошь был занят мужчинами в фесках, ложки почти все закрыты решетками. Мне очень хотелось заглянуть в них, познакомиться с этими невидимыми женщинами, узнать их, понять их душу...

На сцене — лубок с огненными чертами, появляющимися под грохот литавр и барабана, с каким-то пашей, луной, какую я видала с детства в балаганах в Поддевичье. Удовольствия не получили, до конца не досидели. В соседнем кафе утоляли жажду минеральными водами, но никак не могли ее утолить, — мы тогда были еще неопытны,

не знали, что много пить в жарких странах не следует. Ночь была душная. Кругом стоял крик, стук, звон, пили, играли в кости, домино, размахивали руками, спорили люди с греческими и итальянскими лицами, и спокойно курили кальян или сидели перед чашкой турецкого кофе сыны Востока.

Шор уговаривает нас возвращаться домой через Италию и южную Германию, ему надо побывать для своих работ на родине Бетховена. Соблазн большой, но, к сожалению, мы должны отказаться...



От жары и москитов спать почти не пришлось. Забылись к рассвету. Но все же мы чувствовали себя освеженными, бодрыми, — в Каире дышится от сухости легко, а, кроме того, мы ведь ехали к пирамидам!

В воздухе есть утренняя прохлада. Просторная парная коляска стоит у подъезда. С нами какая-то супружеская чета, знакомые Шора. Она — полная экспансивная женщина, трудно переносящая жару, он — пожилой, медлительный, острязий человек.

Улицы уже политы: когда мы проезжаем мимо многочисленных скверов, садов, нас обдает воздушной, душистой волной цветников. Встречается рабочий люд в голубых длинных рубашках, женщины с кувшинами на головах, навьюченные всякими овощами ушастые ослики, верблюды, важно идущие своей ныряющей поступью. Иногда обгоняют нас всадники, английские офицеры в белых шлемах, выехавшие на утреннюю прогулку.

Вот и Нил, но сейчас он иной, чем накануне, — весь в утренних парах, и пальмы кажутся проще на фоне бледного неба. Переезжаем мост. Едем по прекрасной аллее, прямой и обсаженной высокими деревьями. Проезжаем мимо зоологического сада, куда заглянем на обратном пути.

Уже в конце аллеи различаем пирамиды. Ян сравнивает их с деревенскими ритами. Издали они не кажутся грандиозными. Наша спутница вскакивает и едет стоя, — она не в силах дольше ждать встречи с пирамидами, — от волнения ее сильно выступающая вперед грудь высоко вздымается. Муж, держа ее за юбку, успокаивает:

— Не волнуйся, семь тысяч лет они ждали тебя, подождут еще четверть часа...

Она не унимается, от нетерпения начинает декламировать чьи-то стихи...

Я смотрю на Яна и внутренне смеюсь: опять чеховский рассказ! Наконец останавливаемся. Идем мимо английского отеля.

— Вот где побить бы зимой! — роняет он как бы про себя.

Мы с ним быстро идем вперед. Но тут нас обступают проводники, хозяева верблюдов, предлагающие прокатиться вокруг пирамид, какие-то отвратительные личности в синих балахонах, сующие нам с нахальным видом всякие поддельные статуетки, будто бы древние, и, наконец, мальчишки, требующие бакшиш. В конце концов, мы всеми правдами и неправдами отбились от всех этих докучливых, развращенных туристами людей.

И вот мы одни у подножья Хеопса, и только тут, подойдя вплотную к пирамиде, я ощущаю ее величину. Но ни взбираться на нее, ни

осматривать ее внутри мы не решаемся — слишком жарко! Мы обходим вокруг все пирамиды, удивляемся высоте каждого шершавого уступа и всем существом понимаем, что значит «египетская» работа, вспоминаем Баальбек. Затем долго стоим перед сфинксом, очень засыпанным. Сфинкс производит на меня более сильное впечатление, чем пирамиды — своей мощью и загадочностью. Я никак не могу оторвать взгляда от его плоского лица.

Потом идем по пустыне, по слоистым пескам. Становится жарко, песок начинает нагреваться. Ян опасается солнечного удара, но все же идет и идет вперед. Доходим до какого-то могильника. Ян устремляется в него, но очень быстро с криком вылетает оттуда, и я вижу, что весь его светлый костюм — в коричневых точках: это блохи, которые уже немилосердно кусают его. Он быстро скидывает куртку, и я трясусь ее, что есть мочи, а он то же самое делает с брюками, потом бросается на песок и катается на нем, — хорошо, что никого нет поблизости!

Когда мы возвращаемся, то видим, что наша спутница намеревается о'ехать пирамиды на верблюде, как полагается каждому уважающему себя туристу. Верблюд покорно опускается на колени, и она с помощью проводников взбирается на него, но как только он поднимается, с высоты горбов раздается вопль отчаяния. Даме страшно и нехорошо. Удивленный верблюд падает ниц, и даму благополучно снимают и ставят на землю.

Время летит очень быстро, солнце неумолимо поднимается все выше и выше, небо дышит жаром, песок горяч. Пора уезжать, — у нас впереди еще зоологический сад.

Наскоро выпиваем в английском отеле кофе и, с грустью окинув все прощальным взглядом, садимся в экипаж. Когда-то еще попадем сюда?

Быстро доезжаем до зоологического сада, поспешно идем по его осененным узорчатой тенью аллеям, мимо цветников, над которыми порхают огромные ярко окрашенные бабочки. Я вдруг чувствую себя девочкой, когда я собирала насекомых, и меня охватывает желание поймать их и, осторожно, чтоб не испортить их наряда, умертвить эфиром и, насадив на булавки, воткнуть в ящик со стеклянной крышкой.

На минуту мы останавливаемся перед жирафами. Один вытягивает тонкую шею чуть ли не до макушки дерева; затем замедляем шаг у загона прелестных антилоп; минуем пруды, где розовеют фламинго, и на одной ноге стоят цапли и еще какие-то голенастые птицы; останавливаемся против отмели, на которую наполовину из воды вылез крокодил; довольно долго стоим около террариума с маленькими, очень ядовитыми африканскими змейками. Лицо Яна искажается — у него мистический ужас перед змеями, но его всегда к ним тянет, и он долго не может оторваться от них, следя с какой-то мукой в глазах за их извилистыми движениями.

Когда мы приехали в Каир, нам показалось, что мы попали в мертвый город: тишина, безлюдье, закрытые ставнями окна, и уже крутит раскаленной пылью.

Завтрак показался нам необыкновенно вкусным, — мы были очень голодны. После него — сладкий, благодетельный сон.

Часа в четыре едем вместе с Шором в старый Каир. К закату под-

нимемся на Цитадель, где находится колодезь Иосифа, мечеть и дворец вице-короля.

У Старого Каира отпускаем извозчика и идем пешком. Для Египта это очень молодой город, ему немного больше тысячи лет. Ян рассказывает, что сначала он назывался Фостат, что значит палатка. У подножьи Махама был некогда город, называвшийся Новым Вавилоном. Во времена Омара, один из его полководцев завоевал его. Во время ссоры на его палатке голубка свила гнездо. Завоеватель, чтоб не разорять гнезда, уходя оставил свою палатку: так зародился Каир.

Старый Каир — город внушительный, одних мечетей насчитывается до пятисот. Минареты здесь изысканные, нарядные, они возвышаются над тяжелыми, часто полосатыми мечетями.

Как во всех восточных городах, жизнь протекает здесь на улице. Тут и бредут, тут и стряпают, и производят самые различные ручные работы. Вон женщина ведет козу, останавливается, доит ее и тут же продает кружку молока оборванному старику в феске. Конечно, как всегда, масса полуголых чумазных детей, пристающих с бакшишем, конечно, попадаются ослы, верблюды, которых я уже ощущаю как домашних животных.

На Цитадель мы подыались как раз вовремя, за четверть часа до заката. У ворот нас встречает очень приятный человек в белой чалме и ласково предлагает свои услуги. Он прежде всего ведет нас к колодезю Иосифа, который волнует нас своей древней простотой. В мечеть мы только заглядываем, она в стиле Айя-Софии. Двор ее большой, чистый, выложен мрамором, обнесен высокими стенами, с фонтаном посреди. Цитадель построена Саладином в XII веке, на нее пошли камни с малых пирамид.

Нас тянет к себе западная стена, оттуда открывается вид на весь Каир; сначала мы видим Старый Каир с лесом минаретов, затем Ниль, далее Нил, пирамиды, пустыню...

Солнце уже по-летнему садится правее пирамид, надо всем — пыльный золотистый туман. Долго не могу оторвать взора от всей этой до грусти прекрасной картины, от розоватой тесмы Нила, теряющейся в песках... Подле нас английские солдаты в шлемах смотрят на закат с унылыми лицами. О чем думают они? Тоскуют ли по своей столь отличной от этой страны родине? Считают ли дни до возвращения домой?

Когда солнце потонуло в золотистой дымке и желто-красным запылал небосвод, с тонкого минарета раздался вечерний призыв муэдзина. И ему, как эхо, начали отвечать снизу, с других мечетей. И от этого восточного вопля, от африканского заката повеяло такой чуждой, невыразимо прекрасной жизнью, что я почувствовала великую тоску...

Ян немного отошел от нас. Я посмотрела на Шора, он тоже печален:

— Как грустно все видеть одному, как хотелось бы показать все это детям...

Мы прощаемся с проводником, он ласково смотрит на нас своими восточными продолговатыми большими глазами, прикладывает руку к сердцу и низко кланяется. Наш взгляд задерживается несколько на куполе мечети, на минаретах ее: до чего они стройны и прекрасны на фоне нежного гелиотропового неба! Мы быстро спускаемся, некоторое

время молча идем пешком, затем берем извозчика. У Эзбекийского сквера отпускаем его. Ян опять забегает в стеклянный домик и опять наслаждается покупкой папирос, табаку в зеленых железных коробках, на крышке которых изображены пирамиды, пальмы и красный закат. Одну такую коробочку, самую маленькую, мы храним до сих пор, она проделала с нами все пути, и, если бы мы потеряли ее, я испытала бы, вероятно, очень горестные минуты...

После обеда мы втроем долго бродим по ярко освещенным улицам, сидим в Эзбекийском саду, наслаждаемся благоуханием цветов, потом в многолюдном кафе все утоляем и утоляем, но без всякого результата, жажду. Ощущается некоторая грусть. Наши дороги с Шором расходятся. И хотя не только дружбы, но и желания продолжать знакомство в будущем у нас обоюдного не возникло, — очень уж мы разные люди, — все же было жаль расставаться с ним.



Ночь опять тяжелая, с москитами, почти бессонная. В Александрию едем с первым поездом, не знаем в точности, когда отходит наш пароход.

Опять вагон переполнен разноцветным людом, есть даже и негры. У Яна скандал с рослым, могучим египтянином. Мы заняли места, Ян выскочил на минуту из вагона, а в этот момент феллах сел на его место, несмотря на мои возражения. Ян вернулся и попросил его уйти. Феллах продолжал сидеть. Ян пришел в такой гнев, какого я еще никогда у него не видала, и схватил его за плечо, таща с места. Жилы на бычьей шее феллаха раздулись, стали сизыми, лицо налилось кровью, он что-то кричал на своем гортанном языке, но Ян был так бледен и грозен, что великан уступил.

Поезд уже мчится вдоль Нила, на север, и опять с невероятной быстротой мимо зреющих хлебов, мимо феллахских деревушек с глиняными домишками под соломенной крышей, мимо каналов, мимо маленьких городков. Везде, где Нил, там жизнь, а чуть дальше, — пески, пустыня. Поезд с грохотом проносится через мост, и мы на левом берегу реки. Становится жарко, и опять стук ставень и рам. Наше окно дольше всех остается открытым, — очень жаль напоследок не видеть этой уже залитой белым слепящим блеском страны. Промелькнул какой-то город, — как здесь живут летом? Ведь это маленький оазис! Наконец и мы закрываем наше окно, но не в состоянии сидеть в полумраке и выходим на площадку. Вот уже и Дельта с плотинами, каналами, огородами, лагунами, далее — сплошное водное пространство, камыши, птицы на отмелях... Но вот и белая Александрия со своим печальным морем.

С вокзала — на пароход, где нас ожидает и большая радость и легкая досада. Радость: пароход тот же самый, на котором мы плыли в Александрию. Нигде не встречали мы такого радушного приема, как на пароходе, когда мы попадали на него вторично. Все, начиная от капитана и кончая горничной, стараются оказать всякое внимание и, если можно, сделать то или иное исключение. Нам отвели лучшую каюту, и через пять минут мы почувствовали себя дома. Досада: пароход снимается только в 4 часа, — мы могли успеть побывать в Каирском музее!

Ян предлагает ехать завтракать в Александрию:

— Закажем морской рыбы, кебаб...

Берем извозчика и едем в ресторан. Потом бродим немного по улице Шерифа Паша, любуемся в окнах переливающимися серебром шальями, шарфами, кружевами, страусовыми перьями необыкновенной величины. Затем направляемся к морю, там не так знойно. Идем вдоль стены, которая тянется мили на три, защищает город от морских волн и является излюбленным местом прогулок александрийцев, затем поворачиваем, направляемся к Маяку.

Вспоминаем, что в древней Александрии, от которой почти ничего не осталось и которая была гораздо больше нынешней, доходила до станции Рамлэ, здесь находился дворец Цезаря, перед которым возносились к небу «Иглы» Клеопатры, то есть два обелиска. Оба они увезены — один англичанами, другой американцами.

Мне всегда грустно смотреть на обелиск в Париже, всегда кажется, что он тоскует по своей столь непохожей на Францию стране, что он чувствует себя очень неуютно в дождь, слякоть, непогоду, что даже в самые жаркие дни ему недостает солнца...

(Продолжение следует)

В бурные годы

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

Прологом к революции 1905 года, завершившейся установлением в России умеренно-конституционного строя, была волна «беспорядков» (как их официально называли), поднявшаяся в последних годах прошлого века по всей Российской Империи в образе забастовок, стачек, крестьянских волнений и восстаний, уличных демонстраций в больших городах. Если не главную, то во всяком случае наиболее заметную и показательную роль в этих «беспорядках» — прежде всего оттого, что они происходили в больших городах — играли студенческие волнения. В острой форме они начались с издания 29 июня 1899 года «Временных правил» об отбывании военной службы студентами, уволенными за беспорядки из высших учебных заведений. Я был не только внешним наблюдателем этих революционных движений, но и участником в них вплоть до декабрьского вооруженного восстания 1905 года, которым завершился острый период первой русской революции. В последующем я хочу изложить впечатления московского очевидца этой революции и по возможности исправить ту ее искаженную картину, которую мы встречаем в партийной и официальной советской прессе.

1. Московские студенческие беспорядки в феврале 1902 года

В январе 1902 года стал циркулировать в Москве «Манифест все-русского студенческого съезда» — документ, по-видимому, апокрифический, так как точно не известно, когда и где происходил этот съезд и кто был его участником. В «Манифесте» объявлялось, что студенческое движение есть движение политическое, и студенческая борьба есть борьба против существующего политического порядка; что наилучшим средством борьбы является устройство уличных демонстраций; что должно быть учреждено центральное студенческое бюро для руководства этим движением. В листовках, распространяемых от имени «Исполнительного студенческого комитета», назначалась общесту-

денческая сходка протеста против временных правил на 9 февраля. В конце января — начале февраля произошел арест части членов «Исполнительного комитета». Движение было обезглавлено, организация сходки, ее программа, ее президиум не были установлены, и движение приняло стихийный характер. В назначенный день стали стекаться к Университету студенческие массы уже к 9—10 часам утра. Часть пришедших вошла в актовЫй зал, помещающийся в старом здании Университета, другая часть толпилась на улице и на университетском дворе. В русской нелегальной прессе за праницей сообщены были совершенно легендарные сведения об этой сходке: будто бы «гостеприимный ректор» «заманил студентов, собравшихся на уличную демонстрацию, в стены Университета», будто бы студенты «готовились к деятельному сопротивлению при демонстрации» и для этой цели «запаслись всем необходимым» (см. «Революционная Россия» №5, стр. 16, Женева). Я знавал большинство руководящих лиц «Исполнительного комитета» и могу категорически утверждать, что идеи вооруженного сопротивления властям при помощи «всем для этого необходимого», то есть при помощи оружия или бомб, ни у кого из них не было. Авторство подобного плана могло принадлежать или каким-то провокаторам, или же отдельным лицам, ничего общего не имеющим с «Исполнительным комитетом». У тогдашних возглавителей студенческого движения — да и у большинства его участников в целом, — был другой план: во-первых, при помощи сходки, в движение рабочие массы и вызвать в Москве беспорядки, похожие на происходившие в конце февраля предшествующего года. Однако «рабочие массы» к Университету не пришли, на улицах, ближайших к Никитской, стояла не очень значительная толпа зевак, в других городских кварталах и в фабричных районах было совершенно спокойно. Студенчеству оставалось «вариться в своем собственном соку» в пределах университетского здания, что далеко не входило в расчеты руководителей студенческого движения. Правда, было не мало и чисто студенческих проблем, к обсуждению которых и свелись прения на сходке.

В актовом зале Университета собралось свыше тысячи студентов, не считая тех, которые остались во дворе и в других университетских зданиях. В председатели сходки был избран И. Г. Церетелли, мой однокурсник, в будущем известный меньшевик, депутат II Государственной думы, министр Временного правительства и позднее непримиримый к советскому правительству эмигрант. Сходка началась с довольно беспорядочных споров о характере, целях и тактике студенческого движения, и с самого начала обнаружилось основное разногласие между так называемыми «академистами», считавшими, что студенческая борьба должна преследовать только академические цели, и «политиками», утверждавшими, что студенческие требования не выполнимы без изменения русского политического строя. Было ясно, что настроение большинства склоняется на сторону «политиков», точку зрения которых разделял и я. Не желая солидаризироваться с «политиками», небольшая группа «академистов» покинула сходку. При выходе некоторые из них были переписаны педелями и агентами охранного отделения, но никто не был арестован. Решено было приступить к формулировке резолюции митинга и требований, предъявляемых студентами к правительству. Для этого была выбрана комиссия, которая растворялась в дебатах. Время шло, было около трех часов полудни. Око-

ло Университета появилась полиция, но он еще не был блокирован ею. В университетский двор можно было еще войти и из него выйти. Некоторые из моих коллег сбежали домой пообедать и воротились обратно на сходку. Студенческая масса, дожидаясь резолюции, растеклась по всем университетским зданиям, где помещались аудитории, научные кабинеты, библиотеки и прочее. Залезли даже в помещавшуюся в мансардах квартиру приват-доцента Чистякова, у которого, как потом сообщалось в правой печати, будто бы выпили вишневую наливку. Между тем отряды полиции очистили от публики Моховую и Никитскую улицы и блокировали вход в Университет. Около Манежа появились войска. Чтение резолюции происходило уже в некотором смятении. Правильного голосования ее не было, голосовали наспех поднятием рук. Кроме того, к моменту голосования многие участники сходки успели ее покинуть, осталось на ней 912 человек, которые, когда Университет был решительно блокирован, решили из него не выходить, пока не будут принуждены к тому силой. Положение оказалось довольно курьезным. Считать, что, сформулировав свои требования, сходка сделала свое дело, значило бы сдаться полиции. Полиция всех гонимых: одних арестует, других отпустит, третьих вышлет из Москвы. Уже если идти к ответу, то всем вместе. Студенческие требования для своего времени были довольно смелы — неприкосновенность личности, свобода печати, свобода совести, свобода собраний и организаций, ответственность аллилуйистративных лиц, общедоступность образования, допущение женщин в Университет, уравнивание прав национальностей, восьмичасовой рабочий день; что касается требования созвать Учредительное собрание, то оно было вставлено в постановления сходки позднейшими партийными ее редакторами, в подлиннике резолюции оно отсутствовало и на сходке не голосовалось. Подобные требования нельзя было опубликовать в газетах, их нужно было все же подкрепить каким-либо делом — но каким?.. Выйти на улицу и вступить с полицией в бой или сдаться на ее милость казалось невозможным. Нам казалось, что был только один честный исход: отсиживаться в блокированном университетском здании, пока нас не выгонят из него. Силение это произведет впечатление во всей стране и будет актом, подкрепляющим наши требования. Так мы и решили — 912 человек, оставшиеся в зале. «Мы 912», — говорили мы про себя не без некоторой гордости. Мы досидели до вечера, электричество было выключено, актовый зал и все огромное здание старого Университета погрузилось в мрак. Расстилали на полу шинели, ложились на них спать, тихо разговаривали. Наши дозорные стояли во дворе и общались, что делается на улице. Улицы были пусты, стояла только полиция и войска. Никакие рабочие массы не шли нас выручать. Так досидели мы до трех часов ночи.

В три часа пристав Тверской части, Ермолов, подошел вместе с вооруженным патрулем к воротам той решетки, которая отделяла здание старого Университета от улицы, и начал зычным голосом кричать: «Объявляю, что студентам предлагается немедленно покинуть Университет, если не покинут, будут удалены военной силой; на размышление дается 15 минут»... Эта декларация разнеслась в несколько минут по всем уголкам и закоулкам университетского здания. Никто не знал, что делать. Главное, в полной темноте нельзя было посовето-

ваться и вынести какое-нибудь коллективное решение. Раздавались крики: «Баррикадируйтесь!» Другие предлагали: «Выходите все на внутренний университетский двор!» Третьи: «Выходите на передний двор перед зданием». Слышны были крики: «Берегитесь провокации, бросайте оружие, если оно у кого-нибудь есть!..» Мерцающий красный свет стал отражаться в окнах и на стенах актового зала, и через окна мы увидели, как в медных касках, с горящими факелами в руках, на передний двор с Никитской улицы входят пожарные, а за ними, штыки наперевес, вооруженные винтовками солдаты. Зрелище, надо признать, было довольно жуткое. Через несколько мгновений пожарные и солдаты ворвались в актовый зал и стали вытеснять нас группами к выходу. В эмигрантской заграничной прессе писали об избиениях и эксцессах, которых на самом деле не было. Солдаты смотрели на нас злобно, но не дрались и не ругались. «Выходи, выходи, не задерживайся!» — командовал офицер. В нелегальной социал-демократической газете «Искра» было написано: «Войскам пришлось вынести много оскорблений» («Искра», № 19, стр. 2). Чистая выдумка — оскорбления могли привести к побоищу, студенты шли молча, с угрюмыми, бледными лицами. Выведенные группы студентов направлялись прямо в Манеж, где партиями человек в 50 стояли окруженные солдатами с ружьями. Я видел, как какой-то студент начал что-то говорить солдатам. Молодецкий поручик, заметив это, стал кричать: «Пропаганды не допущу! Заткните глотку с своей пропагандой!» В Манеже нас продержали часов до 6 утра и потом стали выводить группами на улицу и направлять прямо в Бутырскую тюрьму. В тюрьме для нас освободили целый этаж, в котором мы были размещены по камерам с правом свободного выхода в длиннейшие тюремные коридоры, где мы могли бродить денно и нощно. Свободное общение между жителями отдельных камер очень облегчало нашу тюремную жизнь и позволяло организовать ее согласно с нашими умственными и культурными интересами. «Вообще тюрьма оказалась не такой ужасной, — писала попавшая в Бутырки журналистка, — как мы ее представляли по романам Достоевского и Мельникова». Слова эти были написаны в нелегальной социал-демократической «Искре» (точно не помню номера, по-видимому, вышецитированный номер девятнадцатый). Пища была простая, здоровая — щи, борщ, черная каша, вареное мясо. Тюремная стража относилась к нам вежливо и внимательно. Был учрежден нами Бутырский университет, где ректором состоял юрист 4-го курса, Л. С. Меерович, в будущем московский адвокат, а деканом юридического факультета пишущий эти строки. Был образован хор. Студент Сладкопевцев, талантливый рассказчик, потешал нас своими рассказами — впоследствии его любил слушать покойный царь, Николай II. Каждый день нас выпускали на прогулку на большой тюремный двор, где мы играли в снежки, бегали и дурачились. К нам свободно пропускались вещи, посланные нашими родными, подушки, одеяла, одежда. По воскресеньям разрешались свидания с родственниками. Словом, тюремное житье наше было легкое и даже веселое. При всяком удобном случае мы распевали революционные песни — «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног, Нам не нужно святого кумира, ненавистен нам царский чертог», «Мы жертвою пали в борьбе роковой» и т. д., словом, весь революционный репертуар. Меня

поместили сначала в большой камере, где было не менее сотни арестованных студентов, и моя койка стояла рядом с койкой студента Пажитнова, который еще доныне состоит профессором политической экономии на юридическом факультете Московского Университета. Но потом товарищи мои перетаскили меня в единственную маленькую камеру, где разместились почти что весь семинар Новгородцева: Меерович, Фальковский, Пржебыльский, Урисон и другие. Камеру эту студенты называли «аристократической». В каком-то эмигрантском нелегальном издании за границей я нашел фотографию этой камеры, на которой сняты были все ее жители.

Одним словом, режим в тюрьме был очень либеральным, и нас беспокоила только одна мысль — неизвестно, какое нам предъявят обвинение, и долго ли мы будем сидеть в неведении о нашей дальнейшей участи. Мы требовали приговора у прокурора, у главного тюремного инспектора, но власти молчали. Вероятно, это молчание, тюремное безделье и избыток молодых сил были причиной той глупейшей истории, которая сильно ухудшила наше положение в тюрьме. Приблизительно через месяц после нашего заключения, часов в 9 вечера, кому-то пришлось в голову обратить на нас внимание жителей Москвы путем инсценирования пожара Бутырской тюрьмы. Вытащили из камеры матрац, набитый сеном, подожгли его и выбросили в окно. Это тотчас же нашло подражателей. Горящие матрацы посыпались из всех окон нашего этажа. У москвичей получилось впечатление, что Бутырская тюрьма горит. К тюрьме прискакали пожарные и многие родственники заключенных. Тщетно жители нашей «аристократической» камеры уговаривали прекратить это глупое занятие, заключенными овладел как бы коллективный психоз. «Пожар» Бутырок прекратился, когда все матрацы сторели. После этого в тюрьму был введен батальон тюремной стражи с саблями наголо. Нас развели по камерам, двери которых заперли. Выход в коридор прекратился, даже в уборные. Нас «посадили на параша» — говорю известным тюремным жаргоном. Лекции, рефераты, пение и увеселения наши прекратились, началась скучная однообразная тюремная жизнь в запертой камере.

Редко тюремная изоляция бывает столь совершенна, что прекращает всякие сношения с арестованными соседями. Скоро у нас установились правильные сношения с жителями других камер, и мы узнали, что в тюрьме начались заразные болезни (брюшной тиф), и что многих наших товарищей отправили в тюремную больницу. Тогда мы решили объявить голодовку вплоть до сообщения нам приговора о нашей каре. Я голодал четыре дня и нашел, что пост этот не лишен некоторых интересных неизвестных мне ощущений. Первый день испытываешь от голода, на второй — ощущение голода прекращается, на третий — наступает какое-то мирное успокоение во всем организме, начинаешь жить как бы вне своего физического существа. Я понял тогда, что подобные чувствования развивают в себе великие постники и аскеты. На пятый день у меня заболело горло и поднялся большой жар. Пришел тюремный врач и перевел меня в тюремную больницу. У меня открылась стрептококковая ангина. Когда я начал поправляться, меня потребовали назад в тюрьму и объявили приговор: шесть месяцев тюремного заключения в одной из губернских тюрем Российской

Империи, по местожительству родственников. Местом моего заключения была назначена Митавская тюрьма — в Митаве и в Курляндии у меня было столько же родственников, сколько их было на Северном полюсе или в Патагонии.

2. Митавская тюрьма

В десять часов вечера вызвали нас, человек сто, отправляемых в Балтийские губернии, привели на нижний этаж, в большую темную сборную, куда были принесены все наши вещи, и стали выводить маленькими группами на тюремный двор, где стояли арестантские кареты с единственным задним окошечком, у которого сидел часовой с ружьем. Карета загромыкала по булыжной мостовой, мы не знали, в каком направлении. Сидеть в ней было неудобно. Когда карета остановилась, и нас из нее высадили, стало ясно, что мы стоим на каких-то железнодорожных путях, на окраине города. Подъехали другие кареты и подошел паровоз, прицепленный к арестантским вагонам с окнами, заделанными решетками. Очевидно, отправку нашу обставляли особой таинственностью, опасаясь проводов и демонстраций. Уже рассветало, когда наш вагон с паровозом тронулся в путь. Поездной состав состоял из трех арестантских вагонов: в двух из них помещались студенты, в третьем — конвой из тюремной стражи. По Крестовским водопроводным башням, которые мы увидели в утреннем полусвете, можно было определить, куда нас направляют — на северо-запад, по Виндавской железной дороге. Поезд не останавливался на станциях, и только в Новых Сокольниках он сделал продолжительную остановку против самого вокзала. Публика с вокзала была удалена, оставались многочисленные жандармы и железнодорожные служащие. Нас вывели из вагонов под охраной вооруженных часовых, ввели в буфет, где были накрыты столы для нашего обеда. Прислуживающие за буфетной стойкой смотрели на нас с сожалением и провожали со вздохами. Разносившие обед официанты успели подсунуть нам несколько новых газет. Мы тронулись дальше, и чем более продвигались на Запад, тем более чувствовалась ранняя весна. В Москве все было еще под снегом, а здесь виднелись черные проталины на снежных полях, тралы каркали на станционных деревьях. Окна в нашем вагоне все время были открыты, дул сквозной ветер, и я, не совсем еще оправившийся после болезни, чувствовал, что у меня поднимается озноб и тело ломает, как при припье. В Риге, куда мы приехали вечером, наш поезд разделился — один вагон отправился на север, в Лифляндию и Эстонию, для распределения студентов по тамошним тюрьмам, нас же повезли в столицу Лифляндии, Митаву. В Митаву мы прибыли глубокой ночью. Под многочисленной стражей повели нас по пустынным улицам в Митавскую губернскую тюрьму, находившуюся на краю города. У меня был большой жар, все тело болело, и я еле передвигал ноги. В тюремной конторе нас раздели, обмерили, как настоящих преступников, переписали и отобрали все вещи и деньги. Присутствовавший при осмотре врач отправил меня в тюремную больницу. У меня открылся острый суставной ревматизм.

Тюремная больница представляла собою большой деревянный, построенный на тюремном дворе барак, в котором дуло из всех щелей и гулял холодный ветер. Я метался в жару на жесткой тюремной койке, потел, с температурой в 38-39 градусов по Реомюру. Стонал от боли в опухших суставах, не мог не только встать с койки, но даже повернуться на другой бок. Меня мазали йодом и кормили большими дозами салицилового натра, от которого меня рвало. Мучительнее всего было, когда меня выносили на руках из камеры и клали в горячую ванну. В ванне этой купали лежавших в соседней камере двух сифилитиков, и в бредовом сознании моем меня охватывал страх, что заражусь и я. Тюремный врач, суровый и мрачный литовец, был невнимателен и груб. Два тюремных сторожа, оба латыши, видно, меня жалели и старались оказать посильную помощь. Милым человеком оказался тюремный фельдшер, которому я и обязан спасением от верной смерти. «У вас есть деньги в конторе?» — спросил он меня. — «Есть». — «Так вот существует одно средство от ревматизма — аспирин. Его нет в тюремной аптеке лекарств, если хотите куплю его вам в аптеке. Когда выйдут, рассчитаемся. Я — человек бедный, жена больна, куча ребят, жалованье маленькое»... Он принес мне белые порошки — тогда еще таблеток не существовало. Я проглотил один порошок — и буквально через десять минут почувствовал необыкновенное облегчение во всем своем теле. Я начал глотать порошки каждые 2-3 часа, пока действие лекарства не ослабевало. Я глотал аспирин 10-12 раз в сутки, мне казалось, что без него я не могу жить. «Берегитесь, — говорил фельдшер, — средство сильное, испортийте сердце». Мне было все равно, пускай испортичу сердце, только бы прекратилась боль и жар. Температура стала у меня спадать, опухоли на суставах уменьшаться, появился аппетит. Я был так слаб, что меня нужно было подымать, чтобы посадить на стул. Я упал, когда попытался встать на ноги. Тюремная пища была слаба — жидкий суп с рисом, в котором плавали червячки, вечером пшенная каша с малым количеством масла. Говорю моему фельдшеру: — «Иван Антонович, я так умру с голода, нельзя ли улучшить питание?». «У нас, — говорит, — дополнительной пищи нельзя приготовить, нет для этого приспособлений. Подайте прошение прокурору, если он разрешит получать пищу со стороны, я вам буду приносить. Когда выйдут, рассчитаетесь». Прошение подал, и разрешение мне было дано. И вот, вижу, фельдшер мой приходит раз с целой серией поставленных друг на друга судков, ставит на столик и говорит: «вот вам обед, питайтесь»... Обед превосходный, из ресторана, суп с пирожками, рыба, жаркое, пирожное. «Достав, — говорит, — у хозяина лучшего опеля. Как выйдете, рассчитаетесь». Я начал питаться и постепенно приходил в себя. Помню, 9 мая (день моих именин, вешний Никола), приносит мне тюремный сторож опромный букет красных пионов, с открыткой, на которой по-латышски написаны какие-то стихи. Я так и не узнал, кто прислал мне этот подарок, знакомых в городе у меня не было. Но растроган был до слез. В эти дни стояла чудная весна, меня стали выпускать на маленький больничный дворик на прогулку. Сидел на солнце и грелся. Как-то ночью, часов в одиннадцать, зашел ко мне один из моих стражей, латыш Якобсон. Светила луна, в заставленное решеткой окно моей камеры падал ее свет, из открытой форточки вры-

вался свежий воздух, пахло весенними цветами и травами с речных лугов, которые были около тюрьмы. «Какая ночь чудная», — говорю я. А он мне в ответ: — «Хотите выйти на минутку на дворик». Ну, как не хотеть? Он вывел меня из барака на двор, а сам вынул револьвер из кобуры и смотрит, не сделаю ли я попытки к бегству.

Я совсем поправился в начале июля, и меня перевели в общее здание тюрьмы, в камеру, где сидели мои товарищи по заключению. Им удалось установить сложный и хитроумный порядок сношений с сидящими в верхнем этаже политическими арестантами. От них мы узнали, что убит министр Сиплягин, что на Украине крупные крестьянские бунты, что восставших крестьян жестоко усмиряют и порют. Сведения эти передавались записками, вложенными в краюхи хлеба, которые приносили нам услужающие из уголовных, возведенные в это звание за отличное поведение; или же опускались на тонкой веревке из верхнего этажа тюрьмы в нижний. Около 15 июля вся эта махинация была прослежена и ликвидирована тюремным начальством, за что нам всем, арестованным, упрощали разные кары. Начальник тюрьмы, свирепый немец, обходивший вечером все тюремные камеры и всегда державший руку в кармане — уголовные нам рассказывали, что в кармане он держит револьвер, так как на него было несколько покушений (имя его упоминалось даже в эмигрантской революционной прессе) — пришел в нашу камеру 21 июля, понюхал сначала по обычаю воздух, не пахнет ли куревом (курить было запрещено, но табак всегда имелся), прочел нам длинную нотацию по поводу нашего недозволительного поведения, заявил, что за тайные сношения с арестованными на нас будет наложен штраф — трехдневный карцер с питанием хлебом и водой. Наказание это, добавил он, мы будем отбывать по очереди в алфавитном порядке, и первый отбывает студент Николай Алексеев. Но так как завтра, 22 июля, день тезоименитства вдовствующей императрицы, Марии Федоровны, то наказание отлагается на послезавтра. 22 июля он снова явился к нам, прочел долгую нотацию и вдруг заявил: «по воле императрицы вы все освобождаетесь от наказания, ваше тюремное заключение прекращается до срока, потрудитесь очистить тюрьму завтра в 6 часов утра» ...

Мы встретили это заявление громким, неистовым криком. Ни у кого и не возникло мысли о том, что нельзя принимать милость от «проклятого самодержавия», но не было, сколько я понимаю, и чувства признательности за милостивое деяние. Не спали целую ночь, все собирались в путь, складывали принесенные нам из тюремной конторы корзинки и чемоданы. Утром нас свели в тюремную контору, выписали из списков заключенных, вернули отобранные деньги, у кого они были, и подвели к тюремным воротам. Ворота открылись, и мы, нагруженные нашим багажом, зашагали по незнакомой нам Митаве, спрашивая у удивленных прохожих дорогу на станцию.

На вокзале было значительное количество наблюдавшей за нами полиции. Сотоварищи мои сели в первый отходящий в Ригу поезд, я же остался в Митаве, чтобы расплатиться с долгами. Посетил моего милостивого фельдшера, осмотрел город и Бироновский замок, в обед пошел в тот ресторан, из которого получал еду в тюрьме. Сел за столик, выпил на радостях две рюмки водки, съел чудный завтрак и в заключение

спросил кельнера, здесь ли хозяин и можно ли с ним говорить. Кельнер указал мне на толстого немца, стоящего за буфетом. Подхожу к нему и говорю: — «Простите, я тот самый студент, которому вы посылали в тюрьму обеды. Я желал бы узнать, сколько я вам должен?» — «Мы никаких обедов в тюрьму не посылали, и вы нам ничего не должны» — ответил толстяк. — «Да как же? Обеды передавались через тюремного фельдшера, я сейчас у него был, и он указал мне на вас». — «Вы ничего нам не должны, а если хотите ваше питание оплатить, положите, сколько можете, в кружку Красного Креста для бедных» . . . Я положил в кружку несколько рублей, поблагодарил хозяина, пошел на вокзал и уехал в Ригу.

На рижском странде, в Майоренгофе, жили тогда мои московские знакомые, пригласившие меня к себе на несколько дней. Место само по себе было скучное, деревянные дачи, вроде подмосковных, тощий сосновый лесок. Но я переживал восторг освобождения, всё мне казалось прелестным. Я никогда до того не видел моря, и скромный, немного матовый, небогатый красками Рижский залив показался мне прекрасным. «Таласса, таласса, привет тебе, синее море» — декламировал я из Гейне, бродя по песчаным его берегам. Попостив несколько дней в Майоренгофе, я тем же путем, которым меня везли в Митаву, поехал домой в Москву.

Вышел из вагона закусить в Новых Сокольниках, где нас на казенный счет кормили, когда везли в тюрьму. В буфете, к удивлению моему, меня узнали женщины, стоявшие за буфетной стойкой. Начали охать и ахать. «Да вы никак один из тех студентов, которых прошлой весной везли в тюрьму! Как же это ты, родименький, выжил? Вспомнили мы тебя, говорили, не выживет, уж очень хил» . . . На прощание снабдили на дорогу пирожками, бутербродами, папиросами.

Летняя Москва встретила меня своей пылью и дурными запахами от подмосковных свалок. Я спешил домой, а попавшийся извозчик был из тех, которые любили ездить какими-то своими, окольными путями. Поехал не прямо по первой Мещанской улице к Сухаревой башне, а потащился какими-то переулками, вывез наконец к Тургеневской читальне. Ну, вот, наконец, Чистопрудный бульвар, вот наш дом, наша квартира. Вот отец! Обнимаемся. У него на глазах слезы. К пенатам своим вернулся уже не студент юридического факультета, но «бывший студент», потерявший право дальше учиться и поступить в какое-либо высшее учебное заведение. Титул неважный, вроде «бывшего человека». Что-то он будет делать в своем отечестве? . .

Делать, действительно, было нечего. Мне удалось уехать за границу, в Дрезден, где были у меня приятели. Мне, что называется, «подвезло» — я нашел в Дрездене урок в семье дочери бывшего берлинского посла и варшавского генерал-губернатора, графа П. А. Шувалова. Это позволило мне не только жить безбедно в Дрездене, но и учиться в Дрезденском Политехникуме. А, кроме этого, познакомиться с русской аристократической средой, что мне дало много новых впечатлений.

К осени 1903 года все штрафные студенты были амнистированы министром Святополк-Мирским, и я мог опять вернуться в Москву и поступить в университет.

3. События 1903—1905 годов. Университет, Японская война и «Гапоновщина»

Вернувшись осенью 1903 года в Москву, я был принят обратно в университет и с увлечением начал свои научные занятия в семинаре Новгородцева. Я отшлифовал свой реферат о марксизме и напечатал его в начале 1905 года в журнале «Вопросы жизни», под названием «Кризис марксизма». Сколько таких писаний об этом кризисе появилось после этого!.. А марксизм не только существует, но и является официальной идеологией государств, насчитывающих ныне 800 миллионов подданных во всем свете. Люди делают ошибку, беря марксизм совсем не с той стороны, с которой его нужно брать. В ошибку эту впал и я в названной статье, в которой обсуждались недостатки и противоречия чисто теоретических предпосылок «Капитала» Маркса. Успех марксизма создан не философскими мудрствованиями «Немецкой идеологии» и не тяжелой логикой «Капитала», но истолкованиями отдельных рассуждений в многочисленных произведениях Маркса и Энгельса мыслей, отражающих экономические интересы и политические настроения вышедших на арену истории народных масс, о существовании и силе которых имели очень слабое понятие родоначальники марксизма. Успех марксизма создали экономически отсталые народы, народы полукOLONиальные и колониальные, а не пролетариат высокоразвитых капиталистических стран. Никто из нашей среды в 1903 году этого не подозревал, хотя именно в названные годы создана была та интерпретация марксизма, которой он обязан своим современным успехом.

Воротившись в Москву, я достал в декабре 1903 года нелегальную брошюру Ленина «Что делать?». Мои товарищи Н. А. Свавидский и Б. Я. Гринберг предложили мне прочесть о ней доклад, но не в семинаре Новгородцева, а в доме студента В. Шера во втором Зачатьевском переулке. О доме этом в то время еще не осприли: «смесь елса с петролеем», так как философский кумир его — Валерий Свенцицкий — еще не успел развить своей скандальной деятельности на почве совращения на религиозной почве невинных девиц, а другие, близкие к Шеру люди, не вошли еще в эсеровскую террористическую партию. Я читал доклад этот в начале января 1904 года, и из моих знакомых студентов я встретил там, кроме вышеуказанных лиц, А. М. Братенши и А. С. Орлова, постоянного посетителя семинара Новгородцева, где он выступал с умными, обстоятельными и интересными докладами. В моем реферате я проводил мысль, что основные идеи брошюры Ленина представляют собою смесь марксизма с некоторыми тезами, заимствованными у русского революционного народничества. Ленин, например, утверждал, что социал-демократического сознания у рабочих нет, что его нужно привить пролетариату, повторяя, таким образом, эсерский тезис, «что самый исконный фабричный тоже не является прирожденным социалистом», и что работа по переплавке обыденных интересов рабочих в социалистический идеал является делом очень трудным (см. «Революционная Россия», № 8, 1902 г.). Ленин говорил, что крепкая организация профессиональных революционеров важнее, чем широкая организация рабочих масс. Эсеры на это возражали, что для них организационный вопрос не является проблемой, что они уже создали крепкую организацию профессиональных революционеров. «Дайте нам организацию ре-

волюционеров, — восклицал Ленин, — и мы перевернем Россию!» ... «Вот мы ее и перевернем», — думали эсеры, — позиция, чисто идеалистическая, неприемлемая, с точки зрения основных марксистских тез. Марксисты-меньшевики называли воззрения Ленина «якобинской утопией», а его тактику — устарелой, заговорщицкой. Доклад мой не встретил особых возражений, так как хозяин дома, Шер, и его друг, Орлов, а также будущий доцент по кафедре статистики, Н. А. Свавицкий и будущий издатель, Б. Я. Гринберг, были убежденными «меньшевиками». В этой среде в 1903-1904 гг. никто не мог предполагать, что руссофицированный Лениным вариант марксизма победит российскую революцию и завоюет полмира.



Из всех периодов моей прошлой жизни я менее всего вспоминаю о Японской войне. Помню, 8 или 9 февраля 1904 года мы шли с моим университетским приятелем И. И. Власовым домой по Неглинному проезду около памятника первопечатнику Федорову, когда появились первые экстренные прибавления к московским газетам, извещавшие о нападении японцев на Порт-Артур и о гибели лучших судов нашего Дальневосточного флота. Смутные чувства возбудили в нас эти события. Наша дальневосточная политика, создавшая трения с Японией, нам казалась ненужной, вредной, вызванной не государственными интересами, а кучкой петербургских аферистов. О каких захватах новых территориальных владений в начале XX века можно было говорить в нашей колоссальной империи, когда ее правительство не умело справиться и со старыми? В то же время мы были людьми XIX века, не потерявшими, подобно нашим теперешним современникам, веры в ценность международного права. Открытие военных действий без предварительного объявления войны казалось нам актом разбойничьим, нарушавшим элементарные международно-правовые нормы и обычаи. Возмущение против японцев охлаждалось у нас другим чувством, смешанным даже со злорадством, обращенным на наши собственные политические порядки: «Какое ротозейство! — говорили мы. — Как можно было не охранять подходов к Порт-Артуру, когда сношения с Японией были крайне натянутыми, и мы жили в ожидании неминуемого конфликта на Дальнем Востоке?» ... Наше поколение не было заряжено «любовью к отечеству и народной гордостью», но все же дальневосточные события уязвляли элементарный национальный инстинкт и требовали каких-то действий. Продолжать столь неудачно начавшуюся войну «до победного конца» — значило ли бы это содействовать реакции? Содействовать поражению? — то есть углублению революционного процесса. Были ли мы беспартийные, но революционно настроенные студенты, пораженцами? В известном смысле были, но в ином, чем поражение наших крайних политических группировок, — анархистов, крайнего крыла эсеров и только что нарождающегося ленинизма. Эти последние группировки считали, что поражение должно довести до уничтожения государства в качестве учреждения классового насилия, и в пределе своем должно привести к установлению безгосударственного социалистического режима. Мы же думали, что «революция, навстречу которой идет быстро современная Россия, бу-

дет буржуазной революцией в том смысле, что она окончательно расчистит путь общественного развития от всех пережитков крепостного строя и даст полный простор развитию капитализма и порождаемой им классовой борьбы». Из этого мы делали следующий вывод: «Поражение не должно вести к уничтожению российского государства, государство это, построенное русским народом, должно существовать, и нужно сделать все возможное, чтобы поражение не довело Россию до гибели»...

Болезненно переживались Россией все неудачи этой войны — уничтожение русского флота во Владивостоке, сдача Порт-Артура, отступление нашей армии в Манчжурии, Мукден, Цусима. Даже нелегальные эмигрантские издания за границей, которые нельзя никак заподозрить в «квасном патриотизме», не могли скрыть чувство уязвленного национального самолюбия. Нужно скорее окончить эту войну, — писала «Революционная Россия», — но будет ли подорван престиж России? .. «Поймите же, господа, что имеется маленькая разница между престижем страны и ее правителей. И если чья гордость будет уязвлена, чей престиж потерян, то нашего жалкого неспособного, зарвавшегося правительства. Престиж народа, сознавшего, наконец, свои истинные интересы и заклеившего игру в темную своих слепых вождей, только вырастет» (№ 50, стр. 9). Так писали социалисты, а вот приехал с фронта студент-юрист, Ждан-Пушкин, принадлежавший в Университете к группе «академистов», делал нам доклад в квартире сестры А. М. Братенши. Докладывал, что положение на фронте безнадежно. Японцы лучше вооружены, лучше обучены, лучше снаряжены, чем наши солдаты. Командование из рук вон плохо, следует перестроить всю армию, начиная с генералов и кончая рядовыми. И под конец у него сорвалось признание: «это может сделать только революция»...



Бурно начался в университете 1904/1905 учебный год. В Петербурге градоначальник Клейгельс приказал провести избиение демонстрирующих студентов. Московские студенты решили по этому поводу начать забастовку и устроить уличную демонстрацию. Осложняющим обстоятельством было то, что Московский комитет партии социалистов-революционеров выпустил прокламацию, также призывающую к демонстрации, причем упрямал, что если и в Москве будет произведено избиение демонстрантов, то за это поплатятся жизнью градоначальник Трепов и генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Зная способ обращения эсеров с бомбами, я решил не ходить на эту демонстрацию, на которой можно было ожидать нелепых и безответственных террористических выступлений. Демонстрантов побили казаки, и некоторых из сочувствующих эсерам молодых людей посадили на короткий срок в тюрьму (из них были арестованы И. А. Ильин и М. В. Вишняк). В Университете учебная жизнь разделилась, начались беспорядки, демонстрации, сходки. 9 января 1905 года произошел известный расстрел петербургских рабочих, шедших под предводительством Галона с хоругвями и иконами в Зимний дворец искать у царя правды. В оценке социально-политического смысла этого движения

теперь нет разногласий. «Значительная часть рабочих еще верила царю», — пишет Большая Советская Энциклопедия (том 10, стр. 216). Гапон — «идеалист и фанатик», писала «Революционная Россия», вызвал «на почве веры в царя» огромное движение рабочих масс. Особо замечательно, что движение имело массовый, стихийный характер и не могло быть удержано теми революционерами-пропагандистами, которые работали среди петербургского пролетариата и, разумеется, не верили в царя. Социал-демократическая большевистская группа, руководимая Лениным, объявила Гапона простым провокатором, но тоже **не смогла однако удержать** петербургских рабочих от того, чтобы поддаться его провокации. Эсеры объявили Гапона «своим», но должны были признать, что партия их **не смогла руководить** движением и довела рабочие массы до трагической катастрофы («Революция. Россия», № 60, от 5 марта 1905 г., стр. 20). Что касается до личности Гапона, то у нас в Москве она никому не imponировала: Гапон вышел из той самой «зубатовской» среды, которая хорошо была известна москвичам. Если он не был просто «агентом царской охранки», то во всяком случае был связан с департаментом полиции и с петербургским Охранным Отделением.

Москва откликнулась на 9 января рядом рабочих забастовок и демонстраций. Газеты не вышли, вокзалы охранялись полицией, адвокаты и другие общественные организации устроили собрания протеста, студенты волновались и требовали закрытия Университета. Так в непрерывных волнениях прошел весь январь месяц.

4 февраля 1905 года я председательствовал на сходе юристов IV курса по вопросу, приступать ли нам весной к государственным экзаменам или бойкотировать их? Сходка происходила в одной из аудиторий юридического факультета, в новом университетском здании, окнами выходящей на Большую Никитскую. Было около трех часов дня. Я стоял на кафедре, и какой-то коллега темпераментно и очень длинно высказывался в пользу бойкота. Речь его была прервана страшной детонацией, от которой задрожали стекла в аудитории. Поток речей на несколько минут прервался, раздались голоса: «Что это?.. Взрыв?.. Пушечный выстрел?..» Я по долгу председателя восстановил порядок, началось снова обсуждение экзаменационного вопроса, как вдруг в аудиторию ворвался взволнованный студент в пальто и фуражке. «Внеочередное сообщение, — кричал он, — прошу слова...» Он вышел на кафедру и закричал: «У Никольских ворот убит бомбой Сергей Александрович»...*) Аудитория на момент замерла и затем разразилась неистовым криком: «Ура!!!» Все смешалось в общей суматохе, студенты наскоро одевались и бежали через Александровский сад к Историческому музею и Никольским воротам, где произошел взрыв.

Подробности убийства великого князя хорошо известны. Он ездил без всяких окружавших его карету стражей по Москве, время его поездок можно было установить через наблюдение, которое производили два переодетых в извозчики члена партии социалистов-революционеров. Московское охранное отделение работало из рук вон плохо, так как за месяц, за два до покушения мне приходилось слышать,

*) Московский генерал-губернатор, родной дядя Николая II, женатый на сестре императрицы, Елизавете Федоровне.

что по городу разъезжает какой-то таинственный извозчик, совсем интеллигентный и даже говорит по-французски (так сообщила мне одна знакомая, ехавшая из театра дама). Административный аппарат империи был разложен до крайности, в самом Московском охранном отделении были сыщики, сочувствующие революционерам — что констатирует В. М. Зензинов в своих воспоминаниях (см. «Пережитое», стр. 129—130). Из воспоминаний Зензинова следует, что в Москве существовали извозчики-сыщики и даже целый «извозничий двор» Охранки. Как могли они не знать о существовании «интеллигентных извозчиков», даже говоривших по-французски? Над всем этим делом тяготеет дьявольская фигура величайшего в человеческой истории провокатора «Ивана Николаевича» (кличка Азефа), которому партия поручила самое ответственное дело — «политический террор». Азеф, вместе с Савинковым, и руководил подготовкой убийства московского генерал-губернатора (см. цитир. воспоминания Зензинова, стр. 142). Азеф выносил смертные приговоры и другим деятелям старого режима, но в то же время удерживал руки террористов в одних случаях и подталкивал их в других. Он подтолкнул руку Каляева, убившего Сергея Александровича, но провалил дело убийства министра Дурново. Почему он это делал? «Душа такого провокатора, — говорит в своих воспоминаниях Зензинов, — осталась темной и до настоящего времени». Остается загадкой, почему затемнены были души его товарищей по партии — людей не глупых и образованных, — настолько, что они слепо верили ему и не распознали в нем провокатора. Физиономически, по многим свидетельствам, Азеф был предельно отвратителен, а ведь это много значит при определении человеческого характера. Были случаи и прямого издевательства Азефа над партией, что осталось однако незамеченным. Один из старых партийцев, Коварский, рассказывал мне, когда я, будучи уже эмигрантом, жил у него в пансионе во Франции, в Аннеси, следующий эпизод. Дело было во время эсеровского съезда в Финляндии в 1905 году. Рассказчику тогда пришлось помещаться в одной комнате с Азефом и, почувствовав себя усталым после долгих прений, он пошел в свою комнату, загасил свет и лег на постель. Через несколько минут в комнату вошел Азеф и, не замечая присутствия Коварского, громко произнес: «Ну и дураки же эсеры...» Слова эти Коварского изумили, но не возбудили никаких особых подозрений.

(Окончание следует)

Лев Толстой

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

В 1960 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Половина столетия — достаточный промежуток времени, чтобы мир смог приступить к переоценке жизни и творчества человека, зафиксированных его современниками.

Если Толстой-художник во многом оценен XIX и началом XX века непредвзято, то оценка Толстого-человека и духовного мыслителя сильно пострадала от проявления излишне острых эмоций его современников.

Редакция поставила себе нелегкую задачу предоставить читателю некий спектр видения Толстого представителями дореволюционной, зарубежной, коммунистической России и — отдельно — иностранного мира, в надежде, что в этом многообразии мнений полнее раскроется подлинный образ великого человека-писателя.

Дореволюционная Россия представлена статьей-воспоминанием «Толстой и наука» покойного ныне Ивана Раевского, сына И. И. Раевского, ближайшего друга и сподвижника Толстого по помощи голодающим в 1891 году. Статья эта обладает особой судьбой: написанная в Москве в 1928 году к столетию со дня рождения Толстого, она не могла быть опубликована в России и лишь теперь, проделав сложный путь за границу, впервые вышла на страницы печати.

Зарубежная Россия нашла свое воплощение в исследовательской работе «Жизнь и смерть Льва Толстого» Н. И. Раевского, сына предыдущего автора, затрагивающей самые глубинные проблемы духовной жизни писателя. Проиллюстрирована и дополнена работа воспоминанием А. Невежина, посетившего Оптину Пустынь.

Коммунистическая Россия представлена докладом «Толстой-писатель» — крупного литературного критика В. Ермилова, прочитанным им на Венецианском конгрессе, посвященном юбилею Толстого. Доклад ценен рядом интересных литературоведческих находок. Наравне с этим, он служит ярким примером того, как трактуются советской критикой определенные стороны творчества Толстого.

И, наконец, иностранный мир выразил себя посредством доклада «Завет Толстого» известного европейского публициста и литературоведа Сальвадора де Мадарьяги, также прочитанного на Венецианском конгрессе и отразившего не только отношение элиты Западного мира к Толстому, но и ко всей духовной жизни России «Золотого века».

ТОЛСТОЙ И НАУКА

Воспоминания

Всякие воспоминания о Толстом, всякое освещение с той или иной стороны его мирозерцания и его духовного образа, изложенные человеком, близко его знавшим, имевшим общение с ним, даже при неполноте и отрывочности описания и субъективности взгляда и суждения, имеют некоторую цену, при условии правдивости и искренности.

Волею судьбы я, как мало кто из ныне живущих людей, близко знал и имел частое общение с Толстым. Отец мой — Иван Иванович Раевский — был одним из самых близких друзей Толстого еще с молодых лет; в особенности же близко сошлись они под конец жизни моего отца. Это было в 1891 голодном году, когда они, живя вместе в бывшем имении моего отца (Бегичевка, Рязанской губ.), вместе выработали и провели в жизнь получивший по их почину широкое распространение в России способ борьбы с голодом, охватившим тогда более 30 губерний, сводившийся к устройству в крестьянских избах столовых, в которых кормились, главным образом, дети и слабые члены семей, по выбору и назначению крестьянских обществ. Это не безызвестно всем, кто читал статьи Толстого о голоде и помощи голодающим; об этом упоминается и в литературе о Толстом¹⁾.

Начало моего близкого знакомства с Толстым относится к 1889 году, когда я, будучи студентом и товарищем сына Толстого — Льва, был в числе прочей многочисленной молодежи, съехавшейся на Рождественские каникулы в Ясную Поляну. Замечу, что от станции пришлось ехать в маленьких санках, имея кучером Льва Николаевича; он часто любил выезжать на станцию за почтой, или чтобы встретить гостей и самому править лошастью.

С особым чувством вспоминается за это пребывание в Ясной Поляне любезно-ласковое и внимательное отношение Толстого к нам, молодежи: он часто принимал участие в наших играх, в особенности, в подвижных. Порой он занимал нас чтением вслух; с удовольствием слушали мы в его чтении рассказы Слепцова, юмор которого Толстой очень ценил. Особенно мастерски прочитал Толстой, я помню, рассказ Чехова «Драма», где в заключении литератор убивает ударом пресс-

¹⁾ См. «Полное собрание сочинений Толстого». «Воспоминания гр. А. А. Толстого». «Биография Толстого», Бирюкова.

папье читающую ему свое драматическое произведение даму. Последние слова: «Присяжные оправдали его», Толстой едва мог прочесть от неудержимого, до слез, смеха.

Тогда в Ясной Поляне, по инициативе дочери Толстого Татьяны Львовны, затеяли играть спектакль, и Толстой согласился обработать заброшенную им когда-то начатую комедию «Исхитрилась», которая постепенно и превратилась в «Плоды просвещения». Хотя Толстой в то время не особенно серьезно относился к этому своему произведению, известно, что комедия уже после постановки в Ясной Поляне подверглась значительной переработке²⁾: были вставлены новые действующие лица, как старый повар, артельщик от Бурды, новые явления и целые сцены, какова, например, сцена разоблачения обмана Тани в последнем действии. Мне пришлось быть свидетелем, с какой тщательностью и работоспособностью Толстой обрабатывал свои произведения. Иной раз он брал к себе часа на два заново переписанный текст комедии и так весь его перемарывал, что не переписишь его потом совокупными силами за целый день. Порой он подходил к нам, когда мы переписывали свои роли, и, стоя за спиной и отняв из рук перо, перегнувшись нам через плечо, зачеркивал написанное, изменял всю фразу или вставлял какое-нибудь новое слово; причем, иногда становилось совершенно ясным, почему нужно было сделать ту или иную поправку или вставить именно данное слово, другой раз — это оставалось совершенно непонятным. Помню, как гораздо позднее, уже в 1899 году, мне пришлось увидеть корректурный лист романа «Воскресение», присланный редакцией. Это было место, где Толстой описывает, как в жаркий июльский день ведут по городу арестантов, один из них падает от солнечного удара, и Нехлюдов подходит к группе лиц, столпившихся около упавшего; в числе этих лиц у Толстого стоял «продавец с апельсинами». Толстой зачеркнул его и поставил «почтальон» и во всем листе никаких других поправок не сделал. Почему почтальон лучше, чем продавец с апельсинами, для читателя остается неясным. Роман «Воскресение», кстати сказать, писался Толстым при исключительно неблагоприятных условиях. Известно, что роман этот печатался впервые в журнале «Нива» за 1899 год. Толстой, еще не отделив окончательно романа, поспешил запродать его в конце предшествовавшего года издателю «Нивы» Марксу с тем, чтобы полученные деньги отдать духовоборам на переселение в Америку. Роман печатался в каждом номере «Нивы», Маркс посылал Толстому корректурные листы, Толстой их иногда задерживал, порой, сделав поправки и отослав корректуры, вновь требовал их к себе телеграммой, что вызывало перерыв в печатании романа; Маркс торопил Толстого, и Толстой писал как бы под хлыстом, как не писал и не печатал ни одно из своих произведений, что несомненно отразилось на некоторой скомканности романа.

В те голодные 1891—92 гг., когда мне пришлось подолгу жить с Толстым, неоднократно приходилось слышать суждения Толстого о художественном творчестве. Помнится, он говорил, что главная задача и труд писателя заключаются в возможной краткости изложения, в удалении ненужных подробностей в «Élimination du superflu», как он это

²⁾ См. А. В. Цингер. «Международный Альманах о Толстом».

любил выражать по-французски; к этой постоянной отделке, напоминающей собой, как он говорил, добывание золота промывкой, и сводится вся работа; помнится, что он упрекал Тургенева за излишнее, по его мнению, описание в «Песне торжествующей любви» лечения Муция китайцем, описание его выздоровления и отъезда, считая, что это лишь ослабляет впечатление убийства. Это чувство меры он всегда особенно любил отмечать в талантах; помню, как его восхищал этим Мопассан в большинстве своих рассказов, которые, как известно, Толстой очень ценил и осуждал Лескова, у которого не находил этого чувства в желательной мере; наиболее характерным, неотъемлемым признаком настоящего таланта Толстой считал совершенную невозможность описывать то, чего не видишь ясно во всех подробностях перед своим духовным взором; так, сам он, начав писать «Хозяин и работник» и вскоре его закончив, больше года не отдавал его в печать потому, что никогда не видал замерзшую лошадь; и только когда нашел человека, рассказу которого вполне доверял, он вставил, что лошадь исхудала за ночь так, что остались лишь кожа да кости, стоит вся белая, прижав голову к кадыку, ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и обмерзли слезами, и отдал рассказ в печать. Помню, как Толстой ставил в упрек Короленко, что он в своем рассказе «Светлая ночь» описывает бегство арестанта из тюрьмы в момент начала Пасхальной заутрени при лунном освещении, которого никогда в это время быть не может.

На философском учении Толстого, представляющем особую систему нравственной философии, на так называемом «толстовстве», я останавливаться не буду, ибо должен признать, что не уясню себе как следует этого учения, хотя и интересовался им и читал многое из того, что о нем писалось раньше, а также и то, что пишется и говорится о нем и до сих пор. Мне кажется, что это учение еще ожидает своего полного истолкования; последователи Толстого, так называемые «толстовцы», его по-видимому не понимали вполне, по крайней мере существует статья, написанная Толстым — «Против толстовства»; правда, заглавие это дано издателем Горбуновым-Посадовым, и статья представляет из себя выписку из дневника Толстого, но если нашлись в дневнике Толстого страницы, которые можно было озаглавить «Против толстовства», то это как будто ничего другого не может значить, как то, что Толстой находил, что так называемое толстовство, то есть то, что проповедают и проводят в жизнь толстовцы не есть в точности то, чему он учил.

Я остановлюсь подробнее на отношении Толстого к науке.

Существует, и не без основания, убеждение, что Толстой отрицательно относился к науке, убеждение, на мой взгляд, все же основанное на недоразумении. Толстой, как известно, с молодых лет увлекался идеями Руссо о вреде культуры и просвещения. Прожив большую часть своей жизни в деревне, он горячо любил крестьянский трудовой народ, любил его жизнь и мирозерцание, находил возможным и сам у него учиться жизни. Кроме того, Толстой считал особенностью своего таланта, а потому и своим призванием, проповедовать религиозное единение людей, распространять и укреплять в людях религиозные и нравственные знания. К этому и сводилась, как совершенно верно говорит биограф Толстого Бирюков, вся его многолетняя кипучая дея-

тельность, которую он и заканчивает, как известно, составлением «Круга чтения», книгой, сплошь состоящей из афоризмов и изречений великих мыслителей всех времен и народов в области нравственной философии. Знание того, как достигнуть этого религиозного единения людей, он и считал тем воистину насущным хлебом, который требуется человечеству, той наукой всех наук, которую, как говорил он, в особенности и требует простой, разумный рабочий человек и которой он зачастую владеет в большей мере, чем человек образованный, человек ученый. Эту науку он сравнивал с ножом, от века лежащим среди человечества, и вот, говорил он, приходили и приходят люди, от Конфуция до Христа, и отпачивают этот нож. Эта наука и подлежит обязательному изучению и представляет из себя несомненное и необходимое знание; и по сравнению с этой наукой все прочие науки дают незначительное знание. Трудно указать произведение, где бы Толстой в той или иной мере не сопоставлял ограниченность ума и нравственную тупость образованного, даже ученого, человека с трезвым умом и чуткостью простого неграмотного человека; любил он это замечать и отмечать в жизни. В угоду этой своей мысли о едином на потребу знании он, как мы думаем, преувеличивал свое отрицательное отношение к науке, этим проникнуты многочисленные его писания, где он говорит о науке. В особенности резко и определенно высказывается он против науки в известной сказке об «Иване-дураке и дьяволе» и в предисловии к статье Карпентера «Современная наука», ничего особенно нового не говорящей³⁾. Толстой использует эту статью, чтобы особенно сильно высказаться против чистой науки, «науки для науки», в угоду все тому же единому на потребу знанию.

Все эти писания и мысли Толстого то вскользь, то с особенной настойчивостью им высказываемые в его произведениях и создали совершенно неправильно, на мой взгляд, мнение и убеждение, что Толстой безусловно отрицательно относится к науке, мнение, которое академик Старков резюмирует следующими словами⁴⁾: «Толстой ворвался в храм науки и нашел его мертвым, безбожным, бесчеловечным, бездушным и рабским, потряс и с силою поколебал колонны и этот храм, и все истуканы, стоявшие в нем, рухнули, и новый свет, свет любви к человечеству ворвался в это тысячелетнее здание».

На самом деле, конечно, никакого храма науки Толстой не разрушил и разрушить не мог, и он так же твердо стоит на своих устоях, как и стоял, и будет стоять, и служители науки, работающие в этом храме, в своем законном и неудержимом стремлении к истине, как двигали,

³⁾ Карпентер много говорит о временном значении научных гипотез, в чем никто никогда не сомневался, высказывается, что вид (в зоологии) есть отвлеченное понятие, что пораздо раньше его и более убедительно и научно доказано профессором Усовым в его диссертации «Таксономические группы и единицы», говорит о ненаучности наук юридических, что также не ново, и прочее.

⁴⁾ См. академик Старков: «Лев Толстой и наука». Сборн. «Толстой и о Толстом». Изд. Толстовского музея 1924 г.

так с тем же успехом и впредь будут двигать науку, руководясь чисто идеальными стремлениями к познанию истины. И ослабление интереса к чистой науке в любом народе, по справедливому замечанию Пастера, всегда будет служить признаком его регресса, могущим привести его к гибели⁶⁾. И успехи чистой науки, о размерах которой в будущем мы не можем составить себе и гадательного представления, по-прежнему повлекут за собой ряд многочисленных ее приложений, из которых человечество будет извлекать материальные пользы.

Но, на наш взгляд, Толстой этот храм науки не разрушил и для самого себя. Всякий, кто имел случай беседовать с Толстым о науке, слышать, наблюдать его отношение к новым завоеваниям науки, к научным теориям, выводам и обобщениям, мог твердо в этом убедиться. Толстой, помню, и сам говорил о непонимании людей его отношения к знанию и науке. «Ведь вот как меня иногда понимают, — говорил он, — Толстой не велит ничему учиться, а велит земле пахать».

Правда, что Толстой не обладал научным складом ума; он, помимо промадного таланта, обладал в высшей мере тем ясным, трезвым, простым умом, столь характерным для русского, умного мужика, на которого он так походил и физически, в особенности в старости. Известно также, что в ранней молодости ум Толстого никогда не подвергался систематической и строго научной дисциплине. Толстой не проделал ни средней, ни высшей школы, но Толстой был не только просто образованным, но и широкообразованным человеком, часто общался с людьми науки, имел и друзей среди них, а потому и не мог не иметь представления о многих науках, живо интересовался наукой и ее достижениями. Он обладал своею собственною классификацией наук по степени их, так сказать, научности, в чем сходилась в мнении со многими известными представителями науки. Имел совершенно определенный взгляд на роль и значение работы ученого, а во взгляде на идеал науки и место, занимаемое ею в жизни человека, Толстой очень близко стоял к самым крупным представителям науки, как среди своих современников и соотечественников, так и среди ученых других времен и народов. В особенности сведущ и начитан был Толстой в области философии, богословия, истории культуры, религий и западных литератур. Владея сам в совершенстве тремя иностранными языками, он придавал большое значение знанию языков, особенно для знакомства с художественными произведениями в подлиннике. Толстой считал, что понять дух народа без знания языка не представляется возможным. Он сам в пятидесятилетнем возрасте изучил древнегреческий язык, которого раньше не знал, настолько, что свободно читал Гомера, и, экзаменуясь у известного в то время филолога Леонтьева, поправил его в сделанной им ошибке в переводе на греческий; изучал и древнееврейский язык, чтобы читать Библию и уяснять себе точный смысл различных текстов путем сравнения их на различных языках; занимался Толстой и филологическими исследованиями русского языка: известны многочисленные, данные Толстым, объяснения значений различных приставок к корням слов. Над иными филологическими изысканиями и ухищрениями в объяснении слов Толстой любил порой и поглумиться. Помню, как он рассказывал, что известный в свое время

⁶⁾ См. Louis Pasteur. «Pourquoi la France n'a pas trouvé d'hommes supérieurs au moment du péril».

профессор русской словесности Буслаев так объяснял стих одной древнерусской свадебной песни «и метали в воду венцы кугинные»: венцы — это значит кольца, «кугинные» — это — кугинные, кутунные, кугунные, цугунные, чугунные; между тем, как Буслаеву, очевидно, было неизвестно, что слово «кута» есть очень распространенное в средней России название осоки, и «метать в воду венцы кугинные» значит бросать на воду венки, сплетенные из осоки.

К большинству наук гуманитарных Толстой относился отрицательно, так как все науки юридического цикла он считал науками выдуманньми и принесшими человечеству больше вреда, чем пользы. Отношение Толстого к истории известно, — считая ход исторических событий predeterminedным, он до минимума низводил роль и значение исторических личностей в развитии истории, и если его что и интересовало в истории, то скорее изучение того, как в зависимости от особенностей духовного склада народа, со сменой поколений меняются его идеалы и верования; с большим интересом читал он, помню, появившееся в 90-х годах сочинение Гастона Буассье «Падение язычества». Математику он считал за прекрасную гимнастику ума, очень любил отмечать в людях математический склад ума, считая его особенно приятным, понимал по Канту значение математического анализа в физических науках, любил математику, но особенно большими известной в свое время задачей Павлива (переводчика «Фауста») о ние какой-нибудь красивой по заданию задачи, он с удовольствием сообщал ее всякому, кто ее не знал. Так, помню, это было при мне с известной в свое время задачей Павлива (переводчика «Фауста») о косцах ⁷⁾, задачей одинаково легко разрешающейся как при помощи геометрического чертежа, так и алгебраическим уравнением, а также и рядом простых арифметических вычислений и логических рассуждений. Но в особенности нравились Толстому различные упрощенные приемы исчисления и вычисления, вытекающие из столь свойственной русскому уму математической сметки, той особой смекалки, благодаря которой крестьяне любой русской деревни, с совершенно достаточной для практических целей точностью, разбивают на клинья поля на участках земли самой неправильной геометрической фигуры, а плотники и бондари определяют радиус кривизны звеньев для чана с круглым или эллиптическим дном любого размера. Проведав как-то про особый упрощенный способ счета до 100 на пальцах, Толстой с особым удовольствием обучал ему детей и подростков; в Толстовском музее есть фотография, изображающая Толстого за обучением этому своих внуков. К физическим наукам, к естествознанию в широком смысле слова Толстой всегда относился с интересом, в чем мне нередко приходилось убеждаться. В те годы, когда я особенно часто общался с ним, я был студентом естественного факультета Московского университета. Толстой в известной мере интересовался моими занятиями, как заня-

⁷⁾ Артели косцов надлежало скосить 2 луга, один вдвое больший, чем другой по площади; артель, начав косить с утра большой луг, после обеда разделилась пополам; одна половина осталась на большом лугу и докосила его к вечеру; другая, перейдя на малый луг и также покосив его до вечера, оставила недокошенной полосу, которую докосил один косец на другой день, проработав целый день. Сколько было косцов, если силы косцов равны, и обед делит рабочий день пополам.

тиями сына своего друга, расспрашивал иногда меня об них, и мне, будучи слушателем таких крупных представителей русской науки, как Сеченов, Тимирязев, Столетов, Мензбир, удавалось рассказать ему что-нибудь новое и интересное. При этом Толстой очень восхищался и глубиной мысли и остроумием как различных теорий, гипотез и обобщений, так и искусством в постановке опытов. Помню, например, как ему нравилась теория Гельмгольца, объясняющая неиссякающуюся тепловую энергию солнца указанием на то, что источник тепла лежит в самом процессе остывания солнца, вызывающего его сжатие; подробно расспрашивал Толстой о блестящих опытах Тимирязева по спектральному анализу хлорофилла; в особенности же помню, нравилось ему, как согласно с теорией Дарвина выходит, что плод фруктового дерева, долженствующий лишь служить в пищу животному и человеку, этим самым является полезным приспособлением для самого растения в процессе размножения, так как становится съедобным лишь тогда, когда зерна в нем заключенные облекутся непереваривающейся в желудочном соке пленкой; здесь в особенности радовал, конечно, Толстого тот вывод, который можно из этого сделать, то есть, что плоды и только плоды являются пищей, ни в коей мере не связанной с уничтожением жизни в какой-либо ее форме, а лишь ей содействующей, а посему единственной воистину безпрешной, райской пищей для человека. Все более или менее крупные и заметные явления в науке и новые открытия его живо интересовали, — помню, как он интересовался известной речью Дюбуа-Раймонда о пределах естествознания и его радовало заключительное слово: «*ignorabimus*». Заинтересовавшись опытами с жидким воздухом, он просил бывшего приват-доцента Московского университета А. В. Цингера показать ему их⁸⁾, восхищался опытами замораживания и интересовался, и просил разъяснить ему теоретическую сторону вопроса получения низких температур и спущения газов. Посетив отстраивающийся близ Ясной Поляны чугуноплавильный завод, он, помню, с большим увлечением рассказывал об устройстве доменной печи, которую ему показывали, и выплавке чугуна, восхищаясь совершенством техники и научной теоретической разработкой вопроса, повлекшей за собой такое блестящее применение.

Под словом «наука» Толстой разумел только естествознание, в широком смысле этого слова, взгляд довольно распространенный, которого придерживался, например, Тимирязев, в свою очередь разделявший взгляд Пастера. Во взгляде же на место, занимаемое наукой в духовной жизни человека, он уже резко расходился с Тимирязевым. Здесь он всего ближе подходил к взгляду, который лучше всего можно формулировать словами, сказанными известным в свое время профессором математики Московского университета В. Я. Цингером, бывшим в то же время одним из самых выдающихся русских ботаников, в его речи на общем собрании IX съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве в 1894 году. Утверждая это, я не толословен, ибо Толстой был на этом заседании. Я же был в числе студентов, помогших Толстому проникнуть в зал заседания; когда, после закрытия собрания, мы вместе вышли из теперешнего Колонного зала Дома Союзов и шли пешком домой, Толстой шел и приговаривал: «Ах, какой молодец Цингер, Цингер-то какой молодец»; на мой вопрос, согласен ли он с

⁸⁾ См. А. В. Цингер: «Международный альманах о Толстом».

оратором во взгляде на науку, он, особенно подчеркивая, повторял: «Ах, да, как же, да, конечно, да, это нельзя иначе и думать».

Профессор Цингер в конце своей речи, озаглавленной «Недоразумения во взглядах на основания геометрии»⁹⁾, говорит:

«Если возможны недоразумения и заблуждения даже в такой простой области познаний, как науки математические, то в разнообразной и сложной области естествоведения для мысли предоставляется без сомнения еще более опасности попасть на ложный путь неправильных выводов и незаконных обобщений», и заключает свою речь следующими словами: «Наука и истинное знание не должны быть рабами опыта, они должны над ним господствовать и заставлять его служить своим задачам... Верно то, что наука должна руководиться не материальными, а идеальными стремлениями, но еще вернее то, что она основывается на идеальных началах... Высшие качества науки — это ясность, простота и искренность или добросовестность мысли, светоч науки — это идея истины... Но наука есть только одна из сторон духовного бытия и жизни человека, тот же идеал истины является с других сторон, то как идеал красоты и гармонии, то как идеал добра и чести, правды и человеколюбия, это один и тот же идеал, — тот, перед которым мы все, без различия возрастов и положений, без различия взглядов и убеждений, без различия заслуг и талантов, благоговеино преклоняемся как перед идеалом Божественной мудрости и любви».

Во взгляде Толстого на работу ученого, стремящегося к постижению истины, можно найти много сходственного со взглядами самых крупных представителей науки. Ньютон говорил: «Я не знаю, что обо мне думают люди, самому себе я представляюсь как бы мальчиком, который играл на берегу моря, забавляясь, когда найдет гладкий камушек или красивую раковину, меж тем как обширный океан истины, который я никогда не изведаю, лежал передо мною». Эти слова не напоминают ли порой высказываемое суждение Толстого о роли и работе ученого? Основные законы природы, представлявшиеся, можно думать, Толстому, так же, как Эрстеду¹⁰⁾, мыслями Божьими, казались ему для человеческого гения недоступными или в той же мере достижимыми, как достижимой является длина окружности для прогрессивно возрастающего периметра, вписанного в круг многоугольника. Если бы в его время появилась теория относительности Эйнштейна, в дебри которой Толстой не смог бы да и не пожелал бы на верное углубиться, эта теория одной возможностью своего появления и тем вниманием, которое оказал ей ученый мир, доставила бы Толстому, как нам думается, немало удовольствия, как теория, подвергающая сомнению дотоле, казалось, раскрытые и незыблемо установленные законы природы. Для Толстого оставались незыблемо установленными лишь законы человеческого духа, его совести, которые совпадали для него с христианством.

В итоге нам представляется, что всякий, кто интересовался отно-

⁹⁾ См. «Журнал философии и психологии», март 1894 г.

¹⁰⁾ Датский физик начала XIX столетия.

пением Толстого к науке, имел случай слышать его суждения, беседовать с ним, никоим образом не может согласиться с мнением, подобным мнению академика Старкова, что Толстой отрицал науку и тем мог заставить людей науки усомниться в целесообразности служения науке и научной работы, а должен прийти к заключению, что отношение к науке Толстого, порой напоминающее собой, порой противоречащее отношению к ней людей науки, есть мало разработанная и может быть наименее ясная область миросозерцания Толстого, та сторона духовной жизни человека, в суждении о которой он зачастую сам себе противоречил.

Нам представляется несомненным, что Толстой не мог не разделять безусловно верного суждения Пастера о том, что не существует никаких прикладных наук, а существуют лишь приложения науки, а потому и не мог не признавать чистой науки, по крайней мере, по отношению к естествознанию, ибо, как несомненно верно говорил и Тимирязев, наука для науки и есть наука для жизни. Должен был бы также, как нам кажется, Толстой оценивать и признавать вполне законным неукротимое стремление в ученом к научному творчеству, созданию чего-то нового для всего человечества, столь напоминающему собой художественное творчество писателя, которое Толстой любил уподоблять родам.

Это тот же процесс, — говорил он, — блаженство зачатия, труд вынашивания, муки рождения и торжество сотворения нового, дотоле не существовавшего.

Таковы противоречия в суждении Толстого, на которые наталкиваешься, когда изучаешь его отношение к науке.

Но можно усмотреть противоречия у Толстого во взглядах и отношении и к своему собственному творчеству. Так, П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях «В Москве у Толстых»¹¹⁾ пишет: «Толстой и слышать не хотел о возвращении к писательской работе художника и, когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так: «Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состарившейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: как вы восхитительно пели и поддерживали юбочки».

А проходит несколько лет после этого разговора с Боборыкиным, и появляется «Хозяин и работник» — художественное произведение, встреченное публикой, как это отмечает биограф Толстого Бирюков, с особенным энтузиазмом вследствие длительного перерыва в художественном творчестве писателя. Припоминается мне, как Толстой рассказывал: «Я спрашивал у Антона Рубинштейна, не надоело ли вам давать концерты. Ах, да, — говорит, — надоело, да, и нет материальной надобности, но, как вам сказать, соскучишься об аплодисментах публики». И Толстой добавлял: «и это совершенно верно». Нам кажется, что если побуждением написать «Хозяин и работник» и было побуждение, подобное стремлению разрешиться от бремени и произвести на свет нового ребенка у беременной женщины, то стимулом к напечатанию «Хозяин и работник» мог быть стимул рубинштейновского концерта.

¹¹⁾ См. П. Д. Боборыкин: «Международный альманах о Толстом».

В самом деле, между «Крейцеровой сонатой», всеми уже прочитанной в литографированных изданиях почти за два года до ее напечатания, и «Хозяином и работником» прошло около шести лет, в течение которых были изданы такие сочинения Толстого, как «Царствие Божие внутри нас», статья «Против патриотизма» и др., произведения даже мало читавшиеся публикой, а если кого и интересовавшие, то мало кого в чем разубеждавшие или мало нравившиеся; не было при напечатании «Хозяина и работника» и желаний получить вознаграждение, как это было тремя годами позднее с «Воскресеньем»; известно, что Толстой подарил первое напечатание «Хозяина и работника» журналу «Северный вестник», несмотря на то, что американцы предлагали, как помнится, полтора доллара за слово.

Пытаясь объяснить себе те противоречия, которые мы усматриваем у Толстого во взглядах и суждениях о науке, мы, вероятно, можем себе сказать, что они вытекают из того несоответствия, которое было между его громадным творческим талантом художника и чуждым всякого научного творчества умом; поэтому-то в суждениях о науке, как и о других сторонах жизни и явлениях в жизни человеческой, например, даже в суждениях о войне, он руководился больше чувством, чем разумом. Потому-то думается нам, несмотря на то, что Толстой не мог не видеть успехов науки и не убеждаться повседневно в благодетельном значении для человечества ее бесчисленных приложении, он никак не мог простить ей ее исторического греха, который так легко прощал ей Тимирязев. Тимирязев в одной из своих речей говорит:

«Если, может быть, и прав был Руссо, говоря, что цивилизация возникла на почве неравенства, и что в своем течении она еще закрепляла это неравенство, увеличивая пропасть между двумя половинами человечества, между представителями умственного и физического труда и, если, — как говорит он, — уходящая во мрак прошлого история повествует о своей задаче — о создании цивилизации ценой неравенства, то с этим надлежит считаться лишь как с печальным историческим фактом. Ведь не на почве же общего невежества совершится это примирение, — говорит в той же своей речи Тимирязев, — а путем справедливого раздела плодов этой цивилизации, добытых общими усилиями, и то, что служило источником разлада для отцов, послужит для сближения детей».

Толстой не соглашался с тем, что «искусство и наука также лягут в основу нового союза между людьми», как в другом месте говорит это тот же Тимирязев, и как это прозревал более 100 лет тому назад великий художник и естествоиспытатель Гете.

Если мы можем таким образом объяснять себе противоречия Толстого во взгляде его на науку, то его противоречия во взглядах на собственное художественное творчество, искусство, в суждениях о жизни и ее явлениях, и наконец, те, на которые особенно охотно указывают и которые, действительно, можно усмотреть между его проповедью и личной жизнью, — мы не должны пытаться объяснять, а лишь изучать, сказав себе, что объяснение этим противоречиям кроется в несоизмеримости психологии художника с психологией простого смертного.

Жизнь и смерть Льва Толстого

БОРЬБА ТЯГОТЕНИЯ И БЛАГОДАТИ

«Подобно всем, я пробовал кое-как исправить мою натуру моралью. Увы! Это то, что обошлось мне дорожке всего».

Альберт Камю
(«Изнанка и лицо»)

1.

20-го ноября 1960 года исполнилось пятидесятилетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого.

В наши дни, когда на Западе еще не совсем устарело основное положение философского мышления Сартра, утверждающее, что «человек осужден быть свободным», полезно лишний раз обратить внимание на загадочность жизни и смерти Льва Толстого.

Действительно, вся жизнь Толстого настойчиво показывает нам, если не раз навсегда, то во всяком случае лишний раз, что *человек осужден быть рабом*, и что в этом положении, составляющем как бы его *участь*, идеал свободы является основным стремлением. Но если это так, то внутренняя борьба человека, усилия, приложенные им в границах, уделенных ему историческим временем, не приводят его никогда к *приобретению свободы*. Они лишь способствуют исполнению отдельных, *освобождающих действий*. Таким образом, нельзя, без злоупотребления и самообмана, отождествлять понятие свободы с понятием освобождения. *Свобода* — идеал, трансцендентная ценность, по последней истине своей — *благодать*. По сущности своей, она не может быть целью, но имеются цели, способствующие стремлению к свободе. *Освобождение* является прежде всего задачей и смыслом той борьбы, которую мы ведем в измерениях тяготения.

Бог свободен спасти человека, Он свободен его «звести во искушение»; человек свободен стремиться к спасению, и он свободен отдать себя попиребелл. Толстой как будто никогда не вник в смысл этой проблематики, присущей христианскому мирозерцанию.

Человек мучительно испытывает невозможность стать Богом, и не по силам ему стать дьяволом. Предшествующая всякому рассудку

онтологическая жажда достичь абсолютного и овладеть им постепенно похищается разумом, попадает в его владычество, и разум, пытаясь впредь этой жаждой абсолютного, извращая ее, приступает к развитию своих хитрых построений. Человек погружается в измерения тяготения, где он делается сам своим понителем.

Сможет ли он освободиться, или как и откуда придет ему помощь?

Вся жизнь Толстого мучительно ставит перед нами этот основной вопрос жизни. И дает ли смерть его нам ответ? Но прежде этого, какая была его жизнь?

Очень рано Толстой встречает страдание и горе. Крайне чувствительный ребенок лишается своей матери, затем отца. Он горько плачет, слушая повествование о смерти Христа. Юноша, который станет красивым старцем, страдает от своего воображаемого уродства. Воспитанный женщинами, он быстро покидает университет, воюет на Кавказе и в Крыму, ведет распутный образ жизни, испытывает крайнее неудовлетворение самим собой, обвиняет себя, кается в *Дневнике*, покидает армию, возвращается в унаследованную им от отца Ясно-Полянскую усадьбу, со страстью отдается делу образования и воспитания, основывает школу, куда крестьянские дети идут без всякого принуждения учиться читать и писать. Толстой старается развить в каждом ученике присущий ему дар и способности. Дети не обязаны следовать строгой школьной программе, им не навязываются знания, способствующие перепружке памяти. Каждому из них предлагается индивидуальное развитие, углубление личного сознания, ведущее к воспитанию вкуса, раскрытию таланта, развитию физическому и нравственному. Толстой сам вырабатывает и создает методы воспитания и образования, составляет *азбуки и книги для чтения*, которые останутся знаменитыми и полезными по сей день, подбирает себе помощников среди особенно одаренных студентов, всецело отдает себя этому делу, которое отметит период, быть может, самый увлекательный и самый щедрый его общественной деятельности.

Но в этой могучей плоти, исполненной жажды и радости жизни, душа очень рано почувствует себя в тесноте. Вся жизнь Толстой будет вызывать к ней. Самокопание станет его ежедневной, строгой, мучительной дисциплиной. Жизнь покажется ему лишенной смысла, смерть — самым большим ужасом жизни, а значит и сама жизнь тем же ужасом, раз она является лишь путем к смерти. Этот пессимизм временно преодолевается.

Толстой женится; у него родитсянадцать детей. Первые годы своей женитьбы он будет очень счастлив и удовлетворен. Слава писателя вырастет очень быстро, вершина ее будет достигнута с появлением *«Войны и мира»* и *«Анны Карениной»*. Черные мысли, мрачное настроение вновь овладеют его душой. Искатель абсолютного и последней истины, замечает ли он или испытывает вдруг опрания жизни? Во всяком случае, жизнь опять ужасает его своей бессмысленностью. Мысль о самоубийстве начинает преследовать его до такой степени, что ему приходится хитрить с ней и с самим собой, идя на охоту только с собаками, без ружья, чтобы не застрелиться. Преодолевая этот новый кризис, Толстой увидит смысл жизни в объяснении ее религией. Он сразу отдаст себя проповедничеству. Он

станет моралистом, пророком «непротивления злу насилием», основателем новой религии. Его книги, письма, статьи распространяются по всему миру. Он возмутится и восстанет против всего существующего, против государства, правительства, церкви, общества вообще и своей особой среды, против религиозных, философских и литературных течений, против атеизма, господствующего в современном ему позитивизме, хотя последний и опротивится значительно в его миропонимании. Произведения Толстого-учителя будут полны бесспорных истин, но так же часто полны наивностей, а иногда и ложных утверждений, зародившихся, по-видимому, в свойственной ему порывности и страстности. Подобные утверждения дадут повод уличить его в недобросовестности. Так, например, в своем ответе Святейшему Синоду Толстой объявит, что «молитва общественная в храмах прямо запрещена Христом», и он сошлется при этом на Евангелие от Матвея 6, 5 — 13, где не сказано о запрещении молиться в храмах. В *«Царстве Божием»* будет написано: «Нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквах, так что в церквах никогда, кроме как в те дни, когда читается все Евангелие, прихожане не уольшат ее». В действительности же Заповеди Блаженства поются на обеднях, Нагорная Проповедь читается в церквах отдельно тринадцать раз в году, и в множество других дней, посвященных памяти преподобных, на молебнах во время безведрия, о умирании, о соединении веры, за творящих милостыню и «на всякое прощение». Толстой, в своей жизни очень мало побывавший на богослужениях, печатает подобное утверждение, не заботясь о его достоверности.

Он упрекает государство и его органы в действительно совершаемых ими несправедливостях, но его упреки, основанные на философских и моральных убеждениях слишком (или чересчур) умозрительного характера, предполагают невинность и естественную, природную доброту человека. Толстой, вопреки всем реальностям жизни, никогда не захочет признать, что призвание государства и его органов, как и истинное призвание всякого общественного строя, заключается в опра- ничении зла, а не в творении добра. Толстой решит отказаться от всего своего имущества, захочет раздать его бедным. Он действительно отделается от всего своего имения, но лишь окончательно передав его в управление своей жене и продолжая им пользоваться до конца своей жизни. Такой поступок Толстого будет правильно разъяснен тем, что он не мог обречь жену и детей на бедствие нищеты. Но толстовцы захотят прибавить к этому идеологическое объяснение, поучительного и примерного характера: апостол непротивления злу насилием не мог заставить свою семью принять бедность. И забыто будет о том, что сам Толстой продолжал пользоваться имуществом. Самим создателем и проповедником доктрины непротивления злу насилием будут разрешены, зачастую, уже совсем непонятные и нежелательные упущения. Например, когда пойдет речь о «разоблачении» церковного учения, речь о таинствах и о вере; когда появится верующий собеседник, язык Толстого станет намеренно кощунственным и злым. Слова будут часто выбраны среди самых обидных, жестоких и нетерпимых, и Толстой оставит без внимания страдания и истязания, которые он причинит самым искренним, чистым или безза-

щитным душам. Такое поведение, если оно и объясняется в известной степени определенными особенностями характера Толстого, может быть понято до конца только метафизически. Оно восстанавливает перед нами предвечную загадку борьбы божественного и сатанинского.

Проницательный поэт Фет, встретивший Толстого, когда последнему было 28 лет, и ставший затем одним из его друзей, говорит в своих «Воспоминаниях»: «С первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений». Эта «невольная оппозиция» останется особой чертой характера Льва Толстого. Он будет обречен нести ее в себе до конца своей жизни.



В марте 1855 года, двадцатисемилетний Толстой излагает в *Дневнике* мысль, которая ориентирует навсегда ход его последующих исканий: «Нынче причастился. — Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, промадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

В этой *программе* нет ни одной фразы, которая, в глазах христиан, не являлась бы выражением чисто демонической гордыни самовозвеличения, не напоминала бы нам невольно Великого Инквизитора Достоевского, а в настоящее время не наводила бы тошноту, включением обещания земного рая, который воздвигнут «когда-нибудь фанатизм или разум».

Но Толстой, отрицатель таинственности, оставит нам пример глубоко загадочной жизни и смерти. И Толстой, отрицатель веры, напишет следующие слова своей «бабушке» А. А. Толстой, в январе 1903 года: «Приближаясь к неизбежному и хорошему пределу (смерти), я чувствую, что чем определеннее мои представления о том, что будет там, тем я менее верю в них, и напротив, чем неопределеннее — тем вера в то, что жизнь не кончается здесь, а начинается новая и лучшая там, сильнее и тверже. Так что все сводится к вере в благость Божию — все, что у Него и от Него, все то благо. Что как я от Него исшел, родившись, так к Нему иду, умирая, и что кроме хорошего, от этого ничего быть не может». ¹⁾

¹⁾ Правда, — и это следует отметить — Толстой и раньше писал о вере, и защищал ее, и изложил свое понимание в произведении, озаглавленном «В чем моя вера». Он также отрицал, что старался колебать и рушить веру в других. Но тут же надо отметить и следующее: нельзя, не насилюя смысла слов и не обманывая себя и других, отождествлять такие понятия, как вера и убеждение, вера и разумное знание, вера и философское, умозрительное или чувственное разъяснение своего миропонимания.

В течение последнего пятидесятилетия, сторонники разных направлений, да и авторы «Воспоминаний» старались захватить себе труп Льва Толстого. Одни, чтоб отобрать себе те мощи, которые более всего подойдут к их субъективному устремлению и, еще больше, пойдут на страховку их временных убеждений; другие — чтобы предать тленне огненной, также на основании их убеждений (тоже ограниченных, потому что посягающих на исключительные права Единого Судьи), того, кто уже в день опубликования решения Св. Синода был окликнут на городской площади словами: «Вот диавол в образе человека».

Уже многое было сказано, и иногда говорится еще, что попало, о *христианстве Толстого*. И сегодня, как и вчера, следует повторить, что Толстой, если он и воспринял, и даже со страстью проповедывал часть истинно христианской морали, то одновременно, в течение всей своей жизни и с той же страстью, он отрицал самую основу Евангелия: божественность Христа, искупительное значение Его смерти, Его воскресение. Очень наивно, забывая, что он был сам лишь человеком среди других, Толстой утверждал, что божественность Христа, Его воскресение, многие Его слова, переданные Евангелием, являются лишь выдумками людей. Толстой признает Рождество и радуется ему. Он отрицает Пасху. Его Христос — ни Христос Писания, ни веры христианской: он умирает окончательно в Великую Пятницу, то есть в день, для Толстого похожий на все другие дни, в конце которого уходит человек, конечно, исключительный. И, быть может, Толстой, невольно замороженный последней тайной зависти, впадает не раз в сеть демонического искушения, желая сделаться сам повторением этого, только земного, Христа, исправленного и модернизированного, «практического, соответствующего развитию человечества»... Его замечания и выражения не раз наталкивают нас на эту мысль.

* *

Толстой не услышал слова Христа: «Познайте истину и истина сделает вас свободными». Или вернее, как это свидетельствует весь ход его исканий, он опрокинул порядок этих слов, восхотев *сначала* освободиться своими собственными силами, и верил, что *после* этого истина достанется ему.

Конечно, Толстой — человек *религиозного склада*, но он не *верующий*, не *верный*, как это говорится на церковно-славянском языке. Незыблемая грань, отделяющая здесь религиозно настроенного от верующего — за исключением случая, когда они совпадают — определена благодатью, точно так же, как между *мудрым* и *святым*. Говоря это, мы не берем на себя дерзости решать, пребывал Толстой или нет, хоть когда-нибудь, в божественной благодати. Все те, которые берут на себя риск утверждать одно или другое, вызывают всегда большое подозрение именно их уверенностью, так как суждение здесь — дело не человеческое. Но правильно сказать, что Толстой не придавал значения благодати, и что его христиански окрашенный морализм ее лишен.

Быть может, по случаю пятидесятилетия его ухода из нашего мира, следует всем нам выразить благодарность художнику, улаж-

дающему и учащему нас и, одновременно, по мере наших немощных сил, пойти на помощь мыслителю, преодоленному уже и самим собой, с тем, чтобы хоть немного содействовать освобождению его от его собственных уз, которыми, быть может, душа его сама тяготится?..



Биография Толстого, история его мышления, отдельные действия его трагедии очень сложны. Влияния, сказавшиеся в нём — многочисленные: классические, западные, дальневосточные. Нет ничего банального в его жизни, и это так, не только в соответствии с его умом и его гениальностью, но еще более потому, что он столкнулся с основными ценностями жизни и проявил почти сверхчеловеческие усилия в безудержном стремлении полностью взять на себя свою человеческую долю. Нам полезно и поучительно обратить всё наше внимание не на сторону продуманную, а на сторону «испытанную» всех толстовских исканий; то есть, непосредственно на саму жизнь Толстого, на основные, глубоко духовные первопричины его страданий — первопричины, которые он сам не смог разгадать до конца. В его философском творчестве диалектика постепенно подменяет интуицию, перерабатывает, даже уродует ее, и все это ради систематизации, всегда ведущей нас в замкнутый мир. Последовательность, гармоничность Толстого парадоксальны: они заключаются в том, что он все время расстилает настойчиво перед нашим взором, зачастую искренне и без всякого самовосхваления, всю непоследовательность, всю дисгармонию человека. Его мышление — инвентарь до такой степени разнородный, что никакой итог не может быть подведен. Он — великий коллекционер всего евразийского спиритуализма. Он тоже плод Святой Руси, Руси юродивых, но его точит пегелевский червь. Толстой вчера, как Сартр сегодня, приходит к нам из ночи 25 июня 1820 года, когда были написаны слова, давшие новую форму рационализму и определившие на долгий срок течение нашей истории: «Все разумное действительно, и все действительно разумно». Эта короткая фраза оказалась достаточно значительной для последующего развития мировоззрений, чтобы изменить ход истории, дать нам две мировые войны, одну великую революцию, открытое рабство, не называющее своего имени, но не скрывающее саму вещь; наконец, видение пропасти, готовой поглотить нашу цивилизацию.

Правда, тут же следует отметить, что, несмотря на все испытания, потери, преступления и отсутствие человеческой возможности искупить их или хладнокровно примириться с ними, эти события не могут считаться лишёнными смысла. Их глубокий смысл открывается окончательно только религиозному созерцанию души и духа. Тогда эти события и другие, еще нам обещанные, воспринимаются духом, познающим нераздельное единство рода человеческого, как момент катартический, очистительный в процессе развития религиозного сознания. Это сознание отвергает всякое разделение человечества на «добрых» и на «злых», ведет каждого человека к признанию своей личной виновности, а также и своей виновности перед другими и ответственности за себя и за всех. Эту мысль высказывает нам русская религиозная душа Николая Бердяева, когда она говорит, что начало сознанию человеческой совести было поставлено божествен-

ным вопросом: «Каин, что ты сделал с твоим братом Авелем?» — и что сознание это завершится последующим, другим вопросом: «Авель, что сделал ты с твоим братом Каином?»



Как много учит нас Толстой всему тому, чего не следует делать! И одновременно, как много он указывает нам того, что надо сделать, что он хорошо видел сам и старался исполнить! Ему скажут, что он затерялся и пропадает; будут смеяться и глумиться над ним, укорять его в гордости разума, в неискренности философских утверждений. Но старик, чтоб объясниться перед такими людьми, не станет прибегать к мастерским рассуждениям своей диалектики. Он честно и просто выразится в нескольких словах бедного, как и мы все, человека: «Если я знаю дорогу домой и иду по ней пьяный, шатаюсь из стороны в сторону, то неужели от этого неверен путь, по которому я иду? Если не верен, покажите мне другой; если я сбиваюсь и шатаюсь, помогите мне, поддержите меня на настоящем пути, как я готов поддержать вас, а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вот он, говорит, что идет домой, а сам лезет в болото. Да не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня. Ведь вы не черти из болота, а тоже люди идущие домой. Ведь я один и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне: у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились, и, когда я бьюсь всеми силами, вы, при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте».

Барин, стыдящийся своего положения, своей роскоши, своего знания, своей культурности; — стыдящийся всего этого, как и многие из «бар», утрызгаемых совестью и безрассудным чувством прирожденной виновности, Толстой восхищается мужиком, преклоняется перед его смирением и простотой, делает из него почти что предмет культа, ожидая от него спасения. И хотя Толстой и «разоблачает» модное «хождение в народ», он одевается по-крестьянски, упрощает свою речь, пишет драму простонародным языком, сеет и жнет, косит траву, берется за соху. Он отказывается от «преступлений» охоты, становится вегетарианцем. Среди мужицкой среды, которую он встречает, наблюдает, выискивает, он волочит за собой свое хотение уподобиться им, но всюду, куда он идет и где действует, он несет фактически присущую ему психологию терзаемого совестью, виноватого барина. От графа Льва Николаевича Толстого, взявшегося за соху, Россия и весь мир сохраняют только тысячи фотоаппаратов и сотни бронз. Как и все другие его сословия, Толстой обречен остаться барином. Этот веселый человек, любящий шутки, молодежь, ипры, физическую работу, цветы, купанье, прогулки, верховую езду — также человек и глубоко одинокий, беспокойный и мрачный. Противоречия господствуют в натуре, мышлении, жизни этого человека, который сто лет до Сартра, преследует и разоблачает всякое фарисейство, недобросовестность и фальшивость. В этой борьбе, точно так же, как и Сартр, он не раз становится сам добычей своего врага. Но Толстой несомненно подписался бы сразу под словами Симоны Вейль: «Когда противоречие приводит

в тупик, который абсолютно невозможно обойти иначе, как ложью, тогда мы узнаем, что оно, в действительности, является дверью. Надо остановиться и стучать, стучать, стучать безудержно, с настойчивым и смиренным ожиданием. Смирение — самая основная добродетель, необходимая в искании истины».

Для Толстого как человека русского духовного и умственного склада, отсутствие противоречий никоим образом не является критерием истины. Скорее наоборот, оно предупреждает о заблуждении, свидетельствует о неспособности воспринять больше одной мысли за раз. Всякое утверждение несет в себе и вызывает утверждение обратного, и так же, как и свет не составляет противоположное тени, а тесное соответствие с ней, так и противоречия Толстого являются факелами, освещающими его жизнь. Многосторонняя жизнь Толстого не поддается никаким удобным определениям. Всякое определение произвольно суживает определяемое. Определить какую-либо вещь, означает отделиться от самой вещи, заключая ее в подобранные границы. Но остающийся «отброс», не вошедший в эти границы, может как раз удержат в себе самую истинную правду, и мы не заметим ее. Для первосвященников, фарисеев и книжников Христос был этим «отбросом». Они определили Его как преступника по закону Моисея, заслуживающего позорную казнь. И если, как и Толстой через девятнадцать столетий, они не захотели узреть в Нем Бога, то пристрастная логика, пленяющая их рассудок, им даже не позволила увидеть в Нем человека непорочной любви и добрых дел.

В своих исканиях смысла жизни Толстой не прибегает к мысли, что история человечества является лишь историей усовершенствования обезьяны, или только притчей о блудном сыне. И хотя Толстой как будто и не поднимал этого вопроса, быть может, всё-таки его «хитрость» и проницательность состоят как раз в одновременном принятии обеих историй, соединении их в одно целое. Ведь сегодня, как и вчера, — сегодня, может быть, значительно больше, — истории человечества знаком и тип блудного сына и тип сверхобезьяны.

Противоречия Толстого вытекают также и из того, что, как и многие другие великие, да и простые люди, он все время стремился выйти из Истории. Здесь сказывалась опять его неутолимая жажда достичь абсолютного. Дух его, в глубине своей, никогда не мирится с фактом своего воплощения и погружения в границы времени. Завершение человека, конечный смысл его назначения — в мире потустороннем. Толстой безосновочно утверждает это, за исключением того короткого атеистического периода своей жизни, когда он стоял на грани самоубийства.

Толстой неустанно ведет свою борьбу. «Не только хлебом будет жив человек», но все сорта хлеба, которыми он будет питаться — материальные и духовные, — прежде всего, он будет «добывать в поте лица своего». И так же, как Тарру — героя Камю в «Чуме» — Толстого больше всего будет интересовать «...узнать, как сделаться святым».

Его борьба никак не ограничена борьбой разума за свое владычество; она также, и прежде всего, борьба духа с тварью, и ведется она порой во свете вызывающей к нему благодати, порой в темных сумерках тяготения.

Толстой ошибается и в самом себе, и в своем прошлом, и в своем настоящем и в будущем тех девяти лет, которые еще останутся впереди, когда в *ответе* Св. Синоду он говорит о своей жизни спокойной и радостной: «...и я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти». Но в покое и в радости Толстому будет отказано до последних дней его жизни.

Исходя в своем миропонимании одновременно, или поочередно, из точек зрения теоцентризма и антропоцентризма, постоянно соблазняемый пантеизмом и своим *панэтизмом*, которые являются лишь философским выражением его основной неблагодетельности, Толстой, *невольный оппозиционер* всему общепринятому, установленному, устроенному, объединенному, но также и исповедываемому самым искренним и праведным образом, предлагает нам задуманный им гуманизм безблагодатной святости. Следуя хронологическому развитию его исканий, мы видим, что Бог для него вначале Сила, затем Добро, потом Любовь, и, наконец, — «Бог не любовь». Постепенно из этого вытекает, что человек — лишь проявление божественности, тогда как сама божественность — Высший Нарцисс.

Толстой *любит любовь*, он *любит любить*, он *любит идею любви*. Он любит все человечество и много предается любви к дальним. Но эта любовь ко всем, является ли она еще любовью к кому-нибудь? Несомненно, Толстой захочет и он будет стараться любить ближнего. И любить не этой же, общей любовью, идеальной, идолопоклоннической, одним словом, нарциссической, которая соблазняет его и которой он отдается, как и Великий Инквизитор (и не по «преданности» ли тем же «гуманным» *принципам*?). Он захочет любить любовью избирающей, ведущей к отречению от самого себя, освобождающей путь благодати. Но побеждающая любовь — это будет Эрос: восхождение человека своими собственными силами. И если Толстой является жертвой этой любви, он никогда ею до конца не обманут. Он знает себя достаточно хорошо, следит за собой, старается смириться, бичует себя, снова впадает в гордость и ищет, ищет опять. К какому же исходу приведет его эта борьба?

«Я всегда верила, что момент смерти — мера и цель жизни. Я думала, что для тех, которые живут как следует, это момент, когда, на чрезвычайно короткий отрывок времени, истина чистая, голая, достоверная, вечная вникает в душу».

Симона Вейль
(«Ожидание Бога»)

II

Много раз приходилось нам слышать на Западе, порой с оттенком осуждения, даже презрения, — зачастую с оттенком здоровой заинтересованности жизнью: «в русском человеке есть все, что угодно». И, может быть, наряду с Достоевским, мало кто лучше Толстого подтверждает уместность этого замечания.

Достоевский постепенно раскрывает перед нами путь своей ду-

ховной борьбы. Он доводит нас до ее исхода, заверщенного светом успокоения, окончательно поразившим все тени сомнения. Его духовный облик поднимается перед нами как столп, глубоко укорененный в земное тяготение, но устремленный навстречу благодати и своим ростом к небесному преодолевающим все, до конца изжитые противоречия. Испытанный самой жизнью, подверженный насилию, приговоренный к смертной казни и помилованный в последнюю минуту, после проклятой и мрачной инсценировки расстрела, заключенный и сосланный, принужденный всю жизнь гнаться за средствами для существования самого себя и семьи, барин лишь по рождению, Достоевский, окутанный мраком, зажигает свою свечу у огня небесного и, вернувшись в нашу среду освещает себе и нам последний смысл мироздания. Его жизнь, завершенная мирной и благочестивой смертью, в присутствии своих и в причастии с ними, представляется нам как законченный синтез изжитого и достигнутого.

Толстой распахивает перед нами огромное поле анализов. Его бесконечное движение назад и вперед, от тяготения к благодати, никто из нас и он сам не может охватить единым взором, понять весь ход переживаний, испытаний, исканий и оценить их смысл. Он ведет титаническую борьбу, с постоянным напряжением наблюдает за ее ходом и, благодаря *Дневникам*, дает и нам возможность следить за ней вместе с ним, видеть цели, замечать все малейшие движения, переходы и осложнения. Окруженный мраком тяготения, Толстой собирает все наши свечи, зажигает их нашим и своим огнем — огнем человеческого разума, человеческого понимания, человеческих чувств — и стремясь окончательно и абсолютно осветить смысл всего существующего и действительного, он часто копотью своей земной свечи заслоняет небо.

Нельзя вывести никакого единого образа Льва Толстого, не сузив произвольно широчайшую, сложную и нередко для нас поучительную его личность.

Смерть унесет удивительно бодрого умом и сознанием восьмидесятидвухлетнего старика, еще стремящегося к открытию смысла жизни, повторяющего (как будто тревога отождествляется теперь с молитвой): «искать, все время искать».

Толстой придавал большое значение последним словам умирающих. В знак верности этому человеку, одаренному исключительной памятью, мы уделим столь же важное место его первым воспоминаниям детства. В случае Толстого мы увидим в них предчувствие всей жизни и даже прозрение смерти.

«Вот первые мои воспоминания... — рассказывает нам Толстой. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик: но я не могу остановиться. Надь мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть, то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим

собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирали руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишая; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятен мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатлений. Мне хочется свободы; она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны».



10-го ноября 1910 года Толстой покидает до рассвета родной ясно-полянский дом, где он провел наибольшую часть своей жизни. Он оставляет письмо, написанное жене в четыре часа утра: «Отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Кроме всего другого, я не могу больше жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...»

Описывая свой уход в *Дневнике*, Толстой говорит: «может быть ошибаюсь, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне». В этих нескольких словах старик уже говорит о Льве Николаевиче как о третьем лице. Через очень короткий срок, в Астапове, он подчеркнет еще больше, окончательно и ярко, то различие, которое он устанавливает впрямь между всемирно известным человеком, «учителем», со славою вошедшим в Историю *персонажем*, и тем, абсолютно личным, глубоким, «что иногда и хоть чуть-чуть есть» в нем и составляет сущность основного «Я», требующего спасения. Вся жизнь Толстого — борьба в бездонной пропасти, открытой в глубине человека постоянным расхождением существенного, основного «Я», жаждущего усовершенствования и спасения, с «Я» другим, проявленным в Истории, установленным и отмеченным ею. Обыкновенно люди свыкаются с подобным расхождением, сживаются с ним и лишь кое-когда ощущают угрызение совести. Удивительная, особенная, очень редкая и поучительная черта всей жизни Толстого как раз заключается в том, что он никогда не сжился и не сживался с расхождением двух исключających себя «Я», мучился в отчаянии, но и с проблесками надежды, часто бился изо всех сил, не тушил, а постоянно возжигал огонь своей борьбы. Это была его доля, его обреченность, иго его, от которого он никогда не захотел убежать, выдумав себе успокоение. В этом вся его правда, вся поучительность его долголетнего примера. На 83 году жизни его растерзанное, измученное, зияющее, как рана, сознание, еще вело эту борьбу в умирающем теле.

Однажды Тургенев усмотрел внешние последствия этой внутренней борьбы Толстого. Но основную, существенную причину этой борьбы он не заметил и потому не мог задуматься над ней. Вот, говорит нам Тургенев, «рано создавшаяся черта, которая затем легла в основание всего его (Толстого — Н. Р.), довольно мрачного мирозерцания, мучительного, прежде всего, для него самого. Он никогда не

верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно пронизательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что он фальшивит». Тургенев не усмотрел (да и мог ли он усмотреть, будучи человеком своего миропонимания?) того метания духа, жаждущего истинного и абсолютного, который определял все отношение Толстого и к самому себе и ко всему его окружающему. Его болезненная и тираническая враждебность по отношению к своему собственному, проявленному в Истории «Я», в котором он видел предателя того «Я», другого, основного, глубоко желаемого, постепенно вовлекла Толстого в привычку *абсолютизировать* ценность его личных суждений. Всеми силами своего страдающего сердца он стремился к усовершенствованию и спасению, и всеми силами своего порядочного и властного разума он отрицал даже мысль о Спасителе. В своей борьбе он желал быть сам себе судьей; он был также сам себе палачом.

Мы видели, Толстой писал своей жене, что он уходит в уединение и тишину. Но он ушел не один, оставив роскошь, но в сопровождении личного доктора и готовый вызвать к себе свою дочь Александру. Растерянный, дрожащий от страха перед погоней, он бросился еще раз в ту же бездонную пропасть, открытую в нем непримиримой враждебностью двух «Я». Движимый отчуждающей волей соединить наконец абсолютно оба «Я» в одно истинное, он ринулся неизвестно куда. Станный, загадочный уход из Ясной Поляны, о котором Толстой думал больше тридцати лет, произошел в обстановке равно абсурдной, комической и трагической, ведущей к неожиданной развязке: истерзанная душа приближалась к границам своего земного существования; Толстой, еще не отдавая в этом себе отчета, фактически выписывал для Истории последние черты знаменитого персонажа. Ему оставалось покинуть еще то единственное, что всегда его связывало и угнетало: как раз эту известную всему миру личность Льва Николаевича Толстого, то есть именно то «ненавидимое Я», проявленное в Истории, о котором он вероятно думал в 80 лет, записывая в своем *Дневнике*: «Уйти хорошо можно только в смерть».

Приняв окончательное решение в дороге, или, быть может, следуя первому, еще смутному намерению, Толстой останавливается днем 10-го ноября 1910 года в гостинице Оптино-Пустынского монастыря. Его сестра, Мария, подвизается в Шамардине. Он навещает ее и говорит ей, что с радостью останется окончательно в Оптиной Пустыни. Вернувшись в этот монастырь, он несколько раз подходит к святым воротам в ските, с желанием побеседовать со старцами. Его тянет к ним; он говорит своему доктору: «Сам не пойду, — если бы позвали, пошел бы». Через несколько дней, в Астапове, окружение умирающего не делает ничего, чтобы сблизить эти слова старика с предложением, сделанным старцем Варсонофием, приехавшим из Оптиной Пустыни навестить больного, еще находящегося в полном сознании.

В письме от 10-го ноября 1910 года, написанном дочери Александре из Оптиной Пустыни, Толстой говорит: «...старанюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и

всегда, ожидая всего тяжелого; но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома... В. Г. (Черткову. — Н. Р.) скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал... От свидания с ним до времени считаю лучше воздержаться...

Успокоение и беспокойство, удовлетворение и страх перед сделанным, стремление к уединению, к душевной сосредоточенности перед смертью и еще не превзойденный страх погони, — таковы знаки, глубокие и внешние, последней борьбы, которую Толстой ведет во мраке тяготения перед призывающей его благодатью. Уже намечается победа ушедшего, «чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни»: в Оптиной уже найдено необходимое помещение для окончательного поселения; не послано вызова дочери Александре; свидание с Чертковым отклонено «до времени».

11-го ноября Толстой пишет опять Александре: «... я не могу не чувствовать большой тяжести. Главное не согрешить, в этом и труд... Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать...»

В этот же день, 11 ноября, Чертков, главный последователь и ученик Толстого, ставший за последние годы настоящим моральным палачом «учителя», посылает в Оптину своего молодого секретаря с плохими известиями из Ясной Поляны, где графиня Толстая хотела покончить с собой, узнав об уходе мужа. Чертков ликовует: «Не могу высказать вам словами, какою для меня радостью было, что вы ушли. Всем существом чувствую, что вам надо было так поступить и что продолжение вашей жизни в Ясной Поляне было бы с вашей стороны нехорошо... Уверен, что от вашего поступка всем будет легче, и прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы внешним образом он на ней не отразился». То, что важно Черткову, то, что до конца останется для него самым важным, это спасти Льва Николаевича Толстого, сохранить до последнего его издыхания непронутый образ «учителя», историческую личность, необходимую для «толстовцев», — именно, образ тот, о котором сам Толстой заботится теперь лишь для того, чтоб от него освободиться.

Не дожидаясь вызова отца, не задумываясь о том, почему, быть может, он ее не вызывает, молодая графиня Александра Львовна приезжает в Оптину Пустынь. Почта еще не успела доставить ей письма отца. Двадцатилетняя аристократка, воспитанная в условиях времени и своей социальной среды, т. е. почти ничего еще не знающая о жизни, одинаково далека от детской невинности и от мудрости зрелой женщины. В Астапове, вместе с Чертковым, она возьмет на себя руководящую роль, и поведение их обоих удивительно напомнит нам первое, детское воспоминание Толстого. В преддверии смерти, как и тогда, на пороге жизни, Толстой окажется связанным, захочет освободиться, но не сможет этого сделать. Над ним будут стоять, нагнувшись. И все это будет в полутьме, на этот раз духовной. Их будет двое. Старик будет тревожить их, но они его не развяжут, чего он захочет. Им покажется, что нужно, чтоб он был связан, тогда как он будет знать, что это не нужно, и захочет доказать им это. Он будет чувствовать несправедливость и жестокость не людей, потому что они будут его жалеть, но судьбы, и жалость над самим собой.

Еще раз, Толстой испытает в жизни *сложность и противоречивость впечатлений*. Он захочет свободы, она никому не мешает, и он, кому сила нужна, будет слаб, а они сильны. Еще раз их будет двое, заботящихся о нем, никак не понимающих его знаков, желающих ему добра, знающих, в чем оно заключается. Еще раз, перед слабым и лежащим существом, два сознания воплотят тяготение перед зовом благодати.

Конечно, Александра Львовна как будто ничего не сделает в Оптиной, чтобы убедить отца в необходимости принять новое решение. Но перед страхом, наполняющим его при мысли о погоне, о приезде жены и детей, она точно так же ничего не сделает, чтобы поддержать в сознании старика то стремление к внутренней безмятежности и успокоению, которое он не раз показывал за последние дни. Поспешный побег из Оптиной Пустыни, происшедший во мраке общей растерянности, будет для спутников Толстого, его дочери и его доктора, самым абсурдным предприятием, нашедшим место в истории русского общества начала нашего столетия. «Толстовец» по-своему, доктор Маковицкий, человек хорошей души и доброго сердца, забудет в дороге самые элементарные требования своей профессии, разрешая заблуждающему старику, продолжать путешествие, неизвестно куда. Любовь, сострадание дочери и, наконец, возврат доктора к более ясному рассудку поставят предел этой бессмысленной драме, и Толстой будет устроен в доме начальника станции Астапово, где он скончается 20-го ноября 1910 года, в 6 часов утра.

Еще до его смерти вся семья съедется на этом маленьком вокзале, превратившемся вдруг в центр внимания всего мира. Журналисты, киноработники, ученики-толстовцы и поклонники, полицейские и жандармы, духовные лица и простые люди придут в Астапово поездом, на лошадях и пешком. Когда Татьяна Львовна подойдет к кровати отца, тот сразу станет расспрашивать ее о матери, пожелает узнать, кто при ней и что она делает. И когда Татьяна Львовна попытается отвести разговор, старик заплачет, попросит ее рассказать, скажет, что для него нет более важного вопроса. Этот знак, как и все предыдущие и все последующие, будет воспринят окружением по слепым законам тяготения. Толстой скажет, что многое выпало на долю Сони, что вместе они не сумели справиться. Но Соня, жена и мать, придчавшаяся в Астапово, будет метаться вокруг дома, где умирает ее муж, вход ей будет запрещен некоторыми из ее детей; ее будут насильно затаскивать в вагон. Окружение будет ссылаться на мнение докторов, и сами доктора не поймут, что единственное дело, которое еще им останется — это констатация смерти. И сам Толстой, полный духовной трезвости, весь занятый *делом своей смерти*, тщетно говорит им, что не к чему лечиться, что все это глупости, что Бог все уладит. И как кричавший ребенок первых воспоминаний, умирающий шепчет, прося, чтоб его *развязали*. Но старик, как когда-то ребенок, вострепится с тяготением, и оно решит за него. «А мужики-то, мужики как умирают», — со вздохом говорит Толстой, когда ему поправляют подушки. Уход не был уходом; он не дал уединения, тишины, избавления от роскоши. Самый лучший дом местности предоставлен Толстому; к доктору Душану Маковицкому присоединились другие док-

тора, срочно выписали кислород, все нужные лекарства. И это все видно Толстому и все это ему тяжело.

Прибывший из Оптиной отец Варсонофий посылает Александре Львовне, одну за другой, две записки, прося ее не отказать сообщить умирающему о его приезде в Астапово. На первую записку он получает отказ, основанный на мнении докторов. Вторая остается без ответа. Сила тяготения теперь уже открыто меряется с благодатью, и как не задуматься нам над смыслом этих слов, которые *связанный* умирающий вдруг кричит дочери: «Пусти! ты не смеешь меня держать, пусти!»

Некоторые умы, быть может, более склонные к злопамятству, нежели к пониманию фактов и явлений духовной жизни, увидели или пожелали усмотреть в собрании духовных лиц в Астапове желание Православной Церкви «взять свой реванш», или «показать свою силу и славу земную». Честно сказать, это — увертка, или невежество, удивительное (хотя и характерное!) со стороны столь образованных и культурных людей, как, например, Чертков. Церковь подвергла Толстого — она даже не имела права не делать этого — Павлову отлучению: «такого человека предать сатане во измождение плоти, чтоб дух был спасен в день Господа Иисуса Христа» (1 Кор. 5). Столь же строгое обязательство, требование любви, заставило Церковь вернуться к потерянной овце, когда приблизился «день Господа». Достаточно отметить это, чтоб разъяснить поведение представителей Церкви в Астапове, и это поведение было тем более логичным, что несколько дней до этого, будучи в Оптиной Пустыни, Толстой сам высказал свою готовность пойти, если его позовут.

Не больное, умирающее тело охраняется в Астапове докторами и окружением, а страждущий дух, весь занятый выходом из проклятой пропасти, зияющей между двумя непримиримыми «Я», подвергается власти стражи, завороженной тяготением. И вряд ли стража отдает себе отчет — и наверное нет — в мрачности совершаемого ею дела. Все происходит так, как будто единственная цель ее — заставить старика умереть, ради его же блага, в неизменной верности личности, которую он *должен* оставить в Истории: личности пророка и учителя новой религии. Стража глуха и слепа. Если она уверена в том, что слава увековечивает во времени, она забывает совсем, что только истина дает вечность. Но сам Толстой, — имеющий основания этому верить, — никаким образом этого не забывает. Как будто больной уже потерял все свои силы, но *вдруг*, за несколько часов до смерти, он сильным движением привстает и садится на кровати. — «Поправить подушки?» — спрашивает его дочь Александра, еще повинувшись тяготению и беспокоясь о плоти. — «Нет! — отвечает Толстой, твердо и ясно выговаривая каждое слово. — Нет! Только одно советую вам помнить, что на свете много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва».

Тяготение никогда не воспримет окончательного значения слов умирающего. Произнося их и говоря ими только то, что ими сказано, выражаясь о Льве Толстом как о третьем лице, он, наконец, и в первый раз, действительно, совершает тот уход, о котором он задумывался в течение тридцати с лишним лет и пролог к которому был им

поставлен со страхом, растерянностью и неуверенностью, когда он вышел из родного дома, записав сразу в *Дневнике*: «Я спасал себя, не Льва Николаевича, я спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне». Это «то», основное, глубокое «Я», проявление которого сознание Толстого требовало в течение всей жизни; «Я», выражающее голос совести, вызывающей из пропасти против своего постоянного предателя и фальсификатора — проявленного в Истории «Я».



В 1877 году, в неоконченном творчестве, посвященном вопросу о вере, Толстой уже высказался под именем Ивана Ильича. В 1886 году выйдет из печати его замечательная повесть, одна из самых сильных среди всей мировой литературы — «Смерть Ивана Ильича». Необыкновенная по своей глубине, по своему реализму, по простоте языка, достоверно передающая подлинность жизни, эта повесть покажет столько совпадений с концом самого Толстого, что нельзя не заметить в ней прозрения художником своей собственной смерти.

В Астапове Лев Толстой *исполняет* смерть Ивана Ильича:

«Может быть, жил я не так как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все, как следует?» — говорил он себе и тотчас отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерть как что-то совершенно невозможное... Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные его страдания состояли в том, что в эту ночь... ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

«А если это так, — сказал он себе, — и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что же?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный опрометный обман, закрывающий и жизнь и смерть...

... он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и останется сомнением...

... Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись... Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всасывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в пруд, в бок, еще сильнее сдвинуло ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне

железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

«Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то»...

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих прислушиваясь...

«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», — подумал он...

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет...

Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось». (Курсив мой. — Н. Р.).

Предсмертное посещение Львом Толстым Оптиной Пустыни

(Со слов монаха-очевидца)

В июне месяце 1914 года мне пришлось побывать в Оптиной Пустыни, Калужской губернии, известной широким образованным кругам русского общества по биографиям Гоголя, Достоевского, Константина Леонтьева и Льва Толстого.

Моим чичероне по осмотру монастыря был Иван К., молодой послушник из крестьян села Колодезского Елецкого уезда Орловской губернии, где было имение моего отца.

При последнем свидании мы с ним условились, что в случае моего приезда в Оптину, я его тотчас же вызову, а он проведет меня к старцам, которые в то время подвизались, и покажет все достопримечательности монастыря.

По прибытии в Оптину в 1914 году я, между прочим, обратился к нему с просьбой познакомить меня с монахом, который хорошо помнит и может подробно рассказать обо всех обстоятельствах последнего предсмертного посещения Львом Толстым Оптиной Пустыни в ноябре 1910 года.

Во исполнение этой просьбы на третий день моего пребывания в монастыре мой земляк повел меня представиться пожилому высокообразованному иеромонаху (бывшему профессору университета), заведующему обширной монастырской библиотекой. Когда я высказал ему свое заветное желание из уст беспристрастного очевидца узнать все подробности пребывания Толстого перед смертью в 1910 году, он вызвал к себе в библиотеку того монаха, который в то время по приказанию Архимандрита должен был следить за каждым шагом Толстого и обо всем тотчас ему докладывать.

В присутствии отца библиотекаря, нас двух, с моим чичероне, и еще двух старых иеромонахов, случайно зашедших в библиотеку, вновь прибывший пожилой монах рассказал следующее (передаю его рассказ своими словами, но за точность его содержания ручаюсь):

О приезде Толстого к нам в Пустынь мы были предупреждены заранее. Часа за три до его прибытия полиция известила нашего Архимандрита, что Толстой в ночь выехал из Ясной Поляны и, согласно полученным сведениям, направляется к нам. Очевидно он был под строгим надзором полиции, и за каждым его шагом следили. Тотчас

же отец Архимандрит вызвал меня и еще двух монахов и велел нам встретить Толстого у паромы и, как только он переправится на монастырскую сторону, неотступно за ним следовать, имея в виду, что ему, как отлученному от церкви, воспрещен вход в монастырь; поэтому он должен быть задержан в воротах, если вздумает войти. Кроме того Архимандрит приказал предупредить игумена Скита о возможном посещении Толстым старца Иосифа, ныне покойного, у которого Толстой бывал раньше, до отлучения, предоставляя ему самому по соглашению со старцем решить — допускать ли его в Скит или нет.

Мы увидели Толстого часов около 11 утра, когда он, пройдя пешком путь в 4 версты от города Козельска до нашего монастыря, с котомкой за плечами спускался к парому. Ступив на наш берег реки, он по-видимому с большим трудом стал подниматься по крутой тропинке, ведущей от реки к главным воротам монастыря и к монастырской гостинице. Он прошел совсем близко от нас, и мы по лицу его ясно увидели, что он чем-то глубоко расстроен. На небольшом расстоянии мы пошли за ним следом и довели его до входа в монастырскую гостиницу. От отца гостиничника, который его встретил, мы узнали, что он взял небольшой номер, заказал самовар и просил нанять нарочного верхового, чтобы отвезти письмо его сестре, М. Н. Толстой, монахинне Шамординского женского монастыря, верстах в десяти от Оптиной.

Оставаясь далее в монастырской гостинице, я узнал, что Толстой написал записку, передал ее нанятому верховому, закурил, выпил чаю и лег отдохнуть. Часам к 4 дня он проснулся, оделся, вышел из гостиницы и медленно, в глубокой задумчивости, минуя ограду монастыря, пошел через лес по тропинке, соединяющей гостиницу со Скитом. Я пошел издали за ним следом, стараясь быть незамеченным. Из-за деревьев наблюдали за Толстым и другие монахи.

Таким образом, Толстой дошел до ворот скита, пробрался через толпу паломников, ожидавших выхода старца Иосифа, вошел в скит и мимо цветников медленно пошел по направлению к келье старца Иосифа. Когда он подошел к двери, отделявшей его от внутренних покоев старца, заметно было издали, как он остановился в раздумьи и стал колебаться. Рука его взялась за скобу двери, нужно было сделать совсем маленькое усилие, чтобы ее повернуть и открыть дверь. Толстой стоял минутой или две, потом махнул рукой и быстрыми шагами вернулся в гостиницу. Следуя приказанию Архимандрита, я шел за ним следом. Примерно через двадцать минут или полчаса он пошел в скит вторично, по дороге несколько раз останавливался в нерешительности. Видно было, что в нем происходила мучительная внутренняя борьба. Как и в первый раз он подошел к самой келье старца Иосифа, взялся за скобу двери, постоял в раздумьи несколько дольше, чем в первый раз, и вернулся в свой номер в гостинице. Опять прошло полчаса или больше. Он вызвал отца гостиничника, спросил его, не вернулся ли нарочный из Шамордин, потребовал второй раз самовар и что-то писал.

За это время, как я потом узнал, к старцу Иосифу вошли несколько наших старцев и умоляли его, если Толстой в третий раз подойдет к двери его кельи, выйти к нему навстречу и тем помочь ему

победить к себе беса гордыни, который держит его в своей власти и не дает ему стать на путь покаяния и возвращения в лоно Православной церкви. Старец глубоко задумался, перекрестился и сказал: «Да свершится над ним воля Божья. Если содеянные им кощунства против православных святынь не превысили меры Божьего долготерпения, то он сам войдет ко мне и покается, как блудный сын в Евангельской притче. Если же он в своем безумном ослеплении сотворил хулу на Духа Святого, то, по слову Евангельскому, ему нет спасения в будущем веке. Над ним ныне свершается суд Божий».

И вот, наконец, Толстой в третий раз пошел по той же тропинке к старцу Иосифу. Он останавливался по дороге почти каждые два шага. Как и в первые два раза он взялся за скобу двери с очевидным намерением войти к старцу, но мне как наблюдателю ясно было, что сила дьявольская преграждает ему путь спасения, а он не в силах ее побороть. Сколько времени простоял Толстой у кельи старца, точно сказать не могу. Все мы, монахи, кто видел эту сцену, горячо молились, чтобы Господь над ним смиловался, допустил его принести старцу покаяние и вернуться в лоно Православной церкви. Но Бог судил иначе. Толстой внезапно прервал раздумье, энергично махнул рукой и быстрыми шагами пошел в гостиницу, куда уже по его следам приехали «столпы толстовства», дочь Александра Львовна и любимый ученик В. Г. Чертков, а измученный, ослабевший от внутренней борьбы старик отказался от своей воли и отдался всецело им в руки.

На этом закончился рассказ оптинского монаха, переданный мне в присутствии трех уважаемых старых монахов, которые подтвердили мне достоверность всего вышеизложенного.

Этот рассказ подтверждает появившиеся ранее в литературе о Толстом догадки, что Толстой ушел из дому тайком не потому, что скрывался от жены Софьи Андреевны, а потому, что скрывался от дочери Александры Львовны и Черткова, имея в виду отречься от своего еретического учения и примириться с Православной церковью. Этого «апостолы толстовства» допустить никак не могли, почему, заметив колебания дряхлого старика, взяли его под строжайшую опеку и контролировали каждый его шаг. Характерно, что они так опасались дальнейшего его пребывания в Оптиной Пустыни в непосредственной близости от старца Иосифа, которого Толстой очень почитал, что поспешили его увезти, не позволив ему дожидаться приезда сестры Марии Николаевны, которую он вызвал письмом из Шамординского монастыря. Они справедливо опасались, что Мария Николаевна со своей стороны горячо поддержит в брате мысль о покаянии и возвращении в веру отцов.

В дополнение к вышеизложенному рассказу очевидца-монаха, считаю уместным привести еще один эпизод, имеющий отношение к предсмертной агонии Толстого на станции Астапово, описанный в воспоминаниях отца Василия Шустина об оптинском старце Варсонофии *).

Со слов старца Варсонофия, которого он близко знал и глубоко почитал, отец Василий сообщает, что когда в Оптиной было получено известие, что Толстой умирает на станции Астапово, то старец Варсо-

* Эти воспоминания вышли отдельной брошюрой в начале 30-х годов в Югославии.

нофий попросил благословения у отца Архимандрита и у старца Иосифа немедленно выехать туда с запасными дарами и попытаться исповедовать его и приобщить Святых Таин, полагая, что все поведение Толстого в Оптиной свидетельствует о его стремлении покаяться и примириться с Церковью. Архимандрит и старец Иосиф отговаривали его ехать в Астапово, высказывая свое убеждение, что это дело безнадежное.

Все же старец Варсонофий настоял на своем и поехал в Астапово. Когда он туда прибыл, Толстой еще был жив и находился в отдельной комнате в станционном здании. Старец попытался войти в комнату умирающего. Вышедшая ему навстречу дочь Толстого, Александра Львовна, наотрез отказалась допустить его к отцу на том основании, что появление старца с Дарами может его взволновать и ускорить конец.

В тех же воспоминаниях отец Василий отмечает, что Александра Львовна, впоследствии описывая в газетной статье последние минуты отца, говорит, что какой-то «птопик» с Дарами в Астапове усиленно добивался, чтобы его пустили причастить умирающего и что она, конечно, ему отказала, возмущенная его недомыслием и бестактностью.

Если вдуматься во все описанные выше подробности предсмертного пребывания Толстого в Оптиной Пустыни, то невольно возникает вопрос: неужели этот труженик, этот добросовестный и неутомимый искатель правды заслужил вечное осуждение? Это совершенно не мирится с упованием на безмерное милосердие Божие и противоречит четвертой заповеди блаженства, которая гласит: «Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся». Будем же надеяться, что Вечный Судия, взвесивши на весах Божественного правосудия все его добрые и злые дела, вынесет ему оправдательный приговор, ибо добрые его чувства, мысли и дела должны намного перевесить злые.

Париж, 20. IX. 1958.

Впечатления от Венецианского конгресса

В июне-июле 1960 года, на острове Сан-Джорджо Маджиоре в Венеции, состоялся трехдневный конгресс, посвященный памяти Льва Николаевича Толстого.

Предложенная программа была разделена на четыре темы:

- Толстой — русский и мировой писатель;
- Мировоззрение Толстого: Толстой и социально-политические идеи его времени;
- Нравственные идеи Толстого и практическое применение его доктрины;
- Завет Толстого: его пример, его учение.

Около пятидесяти лиц съехалось в качестве участников конгресса. Место не позволяет нам привести здесь полный список собравшихся писателей, поэтов, литературных критиков, профессоров и других лиц, прибывших из Америки, Франции, Англии, Германии, Австрии, Италии, Индии. Следует отметить присутствие четырех представителей Советского Союза и трех внуков и двух внучек Л. Н. Толстого, приехавших из Нью-Йорка, Стокгольма, Парижа и Рима.

В своей речи на заключительном заседании доктор Сергей Михайлович Толстой (Париж) сказал следующие слова: «Мысль созвать международный конгресс, чтобы подвести итог значению и распространению мысли и искусства Толстого в современном нам мире, через пятьдесят лет после его смерти, зародилась приблизительно два года тому назад. Организаторы считали необходимым присутствие русских. Действительно, самые крупные специалисты по исследованию толстовского творчества находятся как раз в России. Было приглашено 16 человек; все они дали свое принципиальное согласие. С тех пор трое из них написали мне лично, чтобы поблагодарить еще раз за наше приглашение и выразить сожаление по случаю невозможности приезда по причинам возраста и здоровья. Это были 85-летний А. Гольденвейзер, профессор музыки и друг Толстого; Николай Родиолов, один из главных редакторов юбилейного издания, и Н. Н. Гусев, секретарь Толстого, замечательный доклад которого я имел честь прочесть на открытии нашего конгресса. Мы были очень рады принять советскую делегацию, в состав которой вошли профессор Гудзий (единственный представитель списка шестнадцати лиц, приглашенных нами); профессор В. Ермилов, вице-председатель юбилейного комитета; господин

Марков, главный секретарь Союза советских писателей и, наконец, господин Брейтбург».

В течение шести «рабочих» заседаний были прочитаны самые разнообразные доклады, не всегда строго соответствовавшие программе и зачастую розданные в печатном виде или в последнюю минуту, или даже после заседания. Это лишило участников возможности заранее ознакомиться с самой сущностью доклада, и поэтому, за очень незначительными исключениями, не состоялось никаких прений. Для столь кратковременного конгресса многие доклады были слишком длинны, другие относились к слишком мелким темам, чисто научно-литературного исследования, которые разбирались довольно сухо, по образцу университетских диссертаций.

Доклад Н. Н. Гусева, последнего секретаря Толстого, замечательный по глубине выраженных в нем чувств и замечаний, был одним из редких текстов, где «будничная», повседневная личность Толстого была представлена во всей своей обаятельной простоте, искренности и строгости по отношению к самому себе. Это был скромно составленный портрет неприкрашенного Толстого последних лет, проявлявшего, как мало кто, любовь и большое понимание человека. Этот первый доклад конгресса дал многим из нас надежду на то, что в последующих выступлениях наше внимание будет обращено как и на одного из величайших художников, так и на духовный облик великого знатока человеческого души, незаурядного борца за правду, неутомимого искателя истины, человека, конечно, очень могучей плоти, но всегда стремящегося обрести и бескомпромиссно воплотить в своей жизни добро. Многим из нас казалось (а, может быть, и немногим), что венецианскому конгрессу следовало быть в первую очередь чествованием человека, которым был Лев Толстой. Поэтому главную его часть было необходимо, по нашему мнению, посвятить самой личности, нераздельной личности художника-человека, мышление и жизнь которого, — и, главным образом, именно жизнь, — если они и не дали людям его или нашего времени никаких окончательных или удобных «рецептов», то оставили навсегда в сердцах всех людей неизгладимый след своим непосредственным или дальним влиянием. В Венеции было сказано слишком мало о *самой личности, о примере Льва Толстого, о всей нечистой его борьбе*. Постоянное и столь часто жертвенное стремление Толстого преодолеть не только окружающее его зло мира, но в первую очередь и самого себя, всегда рождает и составляет как раз «вечную сторону» его личности.

Наряду со своим художеством, где истина самой жизни непосредственно воплощается в свое литературное изображение, Толстой щедро передает нам в наследство, дает нам в подарок, как пример, именно эту «вечную сторону» своей беспокойной, трудной, тяжелой, *ответственной жизни, полностью устремленной к исканию правды*. И, быть может, для нас самый глубокий смысл его жизни заключается как раз в том, что впрямь, то есть *после* его примера, каждый из нас может стараться преодолевать себя менее дорогой ценой, *за его счет*. Поэтому нельзя нам сомневаться ни в значении, ни в ценности оставленного им примера. Именно как раз в этом смысле Толстой заслуживает и в наше время нести имя «мировой совести», которое очень часто ему давалось.

В этом направлении Венецианский конгресс не оправдал нашего ожидания. И несмотря на отличные и очень существенные доклады и

выступления, как, например, профессора Исаи Берлина (Оксфорд), бельгийского писателя Даниэля Жиллеса, француза аббата Пьера, конгрессу не удалось восстановить перед нами истинный, поучительный, многогранный и в то же время единый образ художника-мыслителя-человека.

— «Ну, послушай, где же Толстой?!» — не без досады спросил в последний день у своего соседа один из самых ревностных организаторов конгресса. Это анекдотическое замечание правильно указало на то, что не все надежды были исполнены. Но не так ли проходят всегда почти все конгрессы, особенно в наше «коктейльское» время, когда они стали так модны? Венецианский конгресс был не лучше и не хуже других. И хотя, конечно, непременно следует приветствовать и благодарить его главных организаторов (они сделали, что могли, и сами не получили всего, чего хотели), все-таки как-то жаль Толстого, или, вернее, жаль тех, которые не познали его лучше и ближе. При всей своей общительности Толстой был одинок; при всей своей известности — он многим еще теперь неизвестен.

Доклад профессора Ермилова (СССР), посвященный существенно му разбору «Анны Карениной», свидетельствовал о работе серьезной и очень интересной. Но в самом конце Толстой оказался реакционером.

Профессору Адамовичу (Манчестер), русскому эмигранту, Достоевский послужил как бы «козлом отпущения», по случаю параллели, проведенной им в довольно неумеренной форме между этим писателем и Толстым. Среди прочего, профессор Адамович сказал следующую фразу, включенную в контекст, выражающий отрицательное отношение к Достоевскому: «Для западного мира, в течение последнего пятидесятилетия, скорее влияние Достоевского оказалось преимущественным, но это несомненно не так для русских, к какому бы политическому направлению они ни принадлежали» (курсив мой. — Н. Р.).

Здесь уместно и даже занимательно отметить то, что представитель СССР, профессор Ермилов, выразил протест по этому поводу, сказав, что в Советском Союзе и Достоевский и Толстой считаются великими писателями, и что не следует и неправильно противопоставлять одного другому.

Быть может, уместно сказать здесь и следующее: противопоставление Достоевского Толстому является вещью, которая сама по себе легко напрашивается по следующей причине: сам Достоевский, всем им написанным и сказанным, разрешает нам видеть в его исторической личности заверченный синтез всех его духовных исканий. Толстой нам этого не позволяет. Это подтверждается всей его жизнью, а так же и его предсмертными словами: «искать, все время искать». До известной степени, и предварительно оговорив самую сущность вопроса, можно выразить мнение, что Достоевский «стабилизируется». Искания, изжитые им, доведены до границы; Достоевский пересекает их действительно, встречая мир иной, и на этом он «останавливается». Толстой уходит из нашего мира при полном порыве неутоленной устремленности к истине. При такой перспективе можно сказать, что Толстой ничего окончательного нам не дает, нам не навязывает, а предлагает не связывать наш дух никакой **привычкой** и «все время искать». В этой же самой перспективе можно себе представить, что Достоевский скорее **учит** и даже многое «навязывает». И так это и ощущается и воспринимается в тех

случаях, когда причастие к мирозерцанию Достоевского не является в нас самих ни фактом уже совершившимся до нашей с ним встречи, ни ответом на стремление нашей души. Надеюсь, что я не ошибаюсь, понимая как раз таким образом внутренний смысл такого рода параллели, которую профессор Адамович провел между Достоевским и Толстым.

Очень хорошие слова были сказаны на самом последнем заседании Сальвадором де Мадарьяга. К сожалению, это были слова, добавленные устно к заранее подготовленному и розданному тексту. Я могу лишь приблизительно восстановить их по памяти:

— И вот теперь невольно приходит мысль: по случаю пятидесятилетия со дня смерти Толстого мы все, во всех странах, начнем писать; мы засыпем его бумагой. И вот вдруг мне слышится голос: «Воздуха! Воздуха! Откройте окна! Откройте двери! Воздуха! Воздуха! Откройте тюрьмы! Откройте лагеря! Откройте границы! Воздуха! Воздуха! Пусть дышит всё и вся! Пусть все освободятся!» — И вот если мы все, налево и направо, услышим теперь этот призыв Толстого, то свежий ветерок промчится по всей нашей земле, а там, в Ясной Поляне, заколышется жатва, засияют поля, встрепетутся деревья, заиграют листья. Свежий воздух проникнет среди сосен, осин и берез, и радостно вздрогнет одинокая могила Толстого.

Толстой — писатель

Если спросить, в чем заключается основная художественная идея, которая вдохновляет все творчество Толстого, то самый точный ответ без сомнения будет: она заключается в том, чтобы проповедовать дружбу и согласие между народами, в том, чтобы осудить неприязнь и несогласие. Два эпиграфа могли бы ее выразить: «Vivat die ganze Welt!» («Да здравствует вселенная!») — слова, которыми приветствуют друг друга в «Войне и мире» австрийский крестьянин и молодой русский офицер Николай Ростов, ясным упрям, когда мир кажется таким жизнерадостным, и «Зло — это несогласие среди людей» — фраза Толстого в одной из его статей. Это — две руководящие идеи, которые роман «Война и мир» выражает в первый раз во всей своей полноте.

Слово «мир» имеет в русском языке три значения: вселенная, социальная связь между людьми (например, земледельческая община, сходка крестьян для обсуждения интересующих их вопросов), и, наконец, доброе согласие, мир, отсутствие войн, раздоров и конфликтов. Это не поверхностное совпадение, какое можно встретить в любом другом языке. По-русски, это органическое *слияние* в одно слово трех значений имеет глубокий смысл, смысл философский, означающий неразрывную связь между тремя значениями. По-настоящему «мир», в смысле духовного союза людей во всемирном масштабе и в смысле конструктивной связи, которая их сплавливает в дружбе, обязательно означает отсутствие войн и конфликтов. Народ — творец языка, полного мудрости. Он выражает также в языковом творчестве своего самобытность мысли и характера, свои стремления, мечты. Толстой создал свои образы в духе народных помыслов и надежд. Ленин, который дал блестящий анализ демократической, крестьянской основы толстовского произведения, во время одного разговора с Горьким сказал:

— До этого графа в русской литературе не было мужика. В «Войне и мире» русское слово «мир» употребляется во всех своих трех значениях.

Толстой рисует справедливую войну, оборонительную войну русского народа против иностранного нашествия в 1812 году, патриотический порыв всего народа. С чувством национальной гордости он описывает подвиги русских солдат, их офицеров, партизан, простых крестьян. Он гордится национальной традицией своего народа, который

умеет единодушно защищать родину, потрясать священной палицей народной войны и не отступать, пока окончательно не сломит злобные замыслы агрессора, ослепленного бессмысленной идеей, что великий народ можно поставить на колени.

И, между тем, Толстой лучше, чем кто-либо другой, и со всей силой правды показал весь ужас войны. Он содрогается, видя, как люди убивают друг друга в то время, как каждый заключает в себе целый мир, и когда смерть одного существа является смертью вселенной. Как бы они могли мирно и радостно жить, эти люди, истребляющие друг друга! И какие оглушительные взрывы смеха раздаются с обеих сторон фронта, когда, между двумя битвами, враги считают друг друга равноправными для естественного счастья, для общения с природой и взаимной дружбы!

В этом видно зарождение в романе Толстого того, что составляет внутреннюю поэтическую идею. Мечту всего мира и человека о том, какой должна была бы быть настоящая и действительно человеческая жизнь людей на земле. Достоевский говорит об авторе «Войны и мира», что он — романист идеи. Это сказано глубоко. Достоевский понял, что в этой книге Толстой воплотил свой художественный идеал. Впрочем, и Толстой рассматривал «Войну и мир» как философскую поэму.

Есть в жизни Толстого один глубоко характерный эпизод. Весной 1885 года Толстой едет в Крым, чтобы посетить места, где молодым офицером он был одним из действующих лиц героической патристической эпопеи — знаменитой обороны Севастополя. Он предается воспоминаниям и замечает в одном из писем: «Мы проезжали через места, с виду неприступные, где враг установил свои батареи. Любопытно: воспоминание о войне смешивается с чувством молодости и радости. А если бы это было воспоминание какого-нибудь народного праздника, общего дела? Это может быть!»

Размышления очень многозначительные! Чувствуются те же темы — праздничные и скорбные, как и в «Войне и мире», та же мечта художника. Толстой мечтает о каком-нибудь большом общем деле, которое было бы радостью для всех, праздником для народа, какой была героическая эпопея Отечественной войны. Но это должен быть мирный праздник, праздник созидательной жизни. Ибо это общее дело может существовать для людей! Оно может, оно должно! И в этом его мечта.

Большой русский писатель Короленко удивлялся, что такой писатель, такой великий мыслитель, как Толстой, «никогда не пытался написать свою «Утопию», то есть представить будущее общество в конкретных и осязаемых формах». Действительно, Толстой никогда не написал своей «Утопии». Но свою мечту о том, какова должна была бы быть жизнь людей, он выразил в реалистических картинах своего эпического повествования.

Эта действительность, конец пятидесятых и начало шестидесятых годов девятнадцатого столетия, вдохновила создание «Войны и мира». Это — знаменательная эпоха в истории России, эпоха социального подъема, расширяющегося революционного движения и роста сознания в народе своего исторического значения, перспектив, которые открывают перед народом история, но одновременно — трагическая эпоха, которая

видит, как социальный подъем уступает место торжеству деспотической реакции.

Основное историческое содержание шестидесятых годов в России, после отмены крепостного права, заключается в необыкновенно ускоренном темпе новой эволюции страны: эволюции капитализма.

Все эти аспекты действительности играли свою стимулирующую роль в создании «Войны и мира».

Всеобщий подъем выдвигал на первый план основные жизненные вопросы, планы будущего. Он провозглашал веру в мощь и величие народа. Это — эпоха идеалистических произведений. Чернышевский пишет свою социалистическую «Утопию», известный роман «Что делать?». Достоевский создает своего «Идиота», другой идейный роман, где действующее лицо — идеальный человек, такой, какими с точки зрения автора, должны были бы быть все люди. Вступление в новую эру, эру буржуазного, бесчеловечного цинизма, предлагает противопоставить ей пример другой действительности, истинной, которая не разделяет, а объединяет людей.

Для Толстого непреодолимый прогресс капитализма был безумным шествием дьявола, несущего всеобщую ненависть и вражду.

Современная действительность не предоставляла таким образом автору никакой возможности для воплощения своей поэтической концепции такого мира, каким он должен был бы быть. Толстой хотел провозгласить величие народа, прославить единство людей на земле и одновременно осудить то несогласие, которое его пугало.

Чтобы воплотить эти художественные замыслы, Толстому нужно было поэтическое, героическое состояние мира.

1812 год предоставлял ему эти художественные возможности, в которых он нуждался, чтобы провозгласить идею, полностью им овладевшую. Писатель, конечно, отдавал себе отчет в тех трудностях, которые ему ставила современность. Он знал, в чем была подлинная поэзия 1812 года — в героическом порыве народа, которому грубо были противопоставлены возмутительные препятствия — крепостное право и власть, которой обладали над великим народом живые мертвецы, подобно Куратину, Шереру, Трубецкому, Аракчееву, Ростопчину, Бергу и многим другим. «Война и мир» с необычайной силой критикует бездушный привилегированный слой, чуждый народу и ненавидящий его, потому что народ одержал свою победу вопреки правящей элите. Это великая вещь — единство в его историческом, героическом и единодушном действии. Это было тем, что привлекло Толстого к 1812 году. В нем он нашел ту живую основу, на которой мог широко развивать свои идеи о нравственных качествах и намерениях, которыми должны были бы обладать люди в своих взаимоотношениях, чтобы стремиться к тому, что является настоящим человеческим счастьем и настоящей жизнью.

Толстой как писатель считает единственно приемлемым критерием в оценке людей — отношение человека ко всему окружающему, интенсивность чувства связи с другими людьми, способность общаться со всеми и с каждым, проницаемость или непроницаемость во взаимоотношениях со всем миром.

В глазах Толстого нет ничего более отталкивающего, более отвратительного, чем эгоизм. Он до такой степени презирал себялюбие, что

он, для кого всякая человеческая личность, только потому, что она человеческая, представляла выдающуюся ценность, противопоставляет, не щадя выражений, барину (из «Истории одной лошади»), этой личности, живущей для удовлетворения собственного нутра и удовольствий, лошадь, создание более приближенное к природе и людям, чем эта барская утроба, которая только и делает, что пьет и ест.



Наполеон в глазах Толстого, — это воплощение мрачного буржуазного эгоизма, циничного презрения к человеческой личности и народу, выражение античеловеческого принципа: «Все дозволено сверхчеловеку». Но «сверхчеловек» — это ничто для Толстого. Толстой отрицает право Наполеона называться гением. Он подписывается под словами Пушкина, что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Гениальность может находиться только в глубине и широте связи с жизнью всего мира.

Однако настоящая связь со всем окружающим, с жизнью всего человечества возможна, по мнению Толстого и героев, воплощающих его мысли, только в том случае, если сохранен некоторый эгоистический принцип. Без личного стимула, без глубокой личной заинтересованности не может быть общего дела, настоящего человечества, искреннего в своих отношениях. Именно эту гармонию между личностью и обществом ищут толстовские герои, как Пьер Безухов, Андрей Болконский или Константин Левин. Толстой-писатель является противником самоотречения. Он непрестанно обличает ханжество. В своем Дневнике от 3 марта 1863 года, когда он приступает к «Войне и миру», мы находим такую многозначительную заметку: Мнимое самоотречение — эта ложная добродетель, — это только удовлетворение преувеличенно-болезненной склонности. Идеал — это гармония. Только искусство это ощущает... Счастливые люди правы. Человек, отрекшийся от себя, более слеп и более жесток, чем другие.

Нельзя обойти того, что эта идея, которую воплощают действующие лица Толстого, противоречит всем аскетическим взглядам, отказу от земных благ для отвлеченных, высших ценностей. Толстой — самый земной из всех писателей, самый жизнелюбивый, самый человеческий. Он использует всю свою страсть и энергию художника, чтобы требовать счастья здесь, на этой земле. Пренебрежение собой влечет пренебрежение и другими. Таким образом, человек, который отрекается от себя, больший слепец, чем его ближние. С другой стороны, отрекающимся от своего счастья, — а счастье, как таковое, является призванием всякой человеческой личности, — ничего не стоит отбросить счастье других, настоящее счастье, губя его в елейных призывах к жертвенности. Поэтому тот, кто отказывается от самого себя, более жесток, чем его ближние.

Идеалом людей является гармония между ними и миром. Этот идеал воплощает в себе Наташа.

Чернышевский, этот большой мыслитель и глубокий теоретик искусства, дал замечательное определение Красоты. Красота — это жизнь, какой она должна быть в нашем представлении, это человеческое воплощение Красоты, которое выражает наше представление о

жизни такой, какой она должна быть. Для Толстого воплощение Красоты — это Наташа, которую он полюбил и которую после него полюбили все. В чем же тайна ее очарования? Почему мы любим эту молодую девушку, внешне такую простую? Ведь, кроме того, Наташа и «эгоистка». Чтобы объяснить несчастья своей кузины Сони, друга детства, с неудавшейся личной жизнью, не поворит ли Наташа в конце романа, что Соне чего-то недостает, может быть, эгоизма, и что это сделало ее пустоцветом?

Наташа живет для своего собственного счастья. Ее жадность так велика, что не имеет себе равной. Она хочет общаться со всеми, с жизнью всех людей, она всех хочет любить и быть любимой всеми, парить над миром. И лунной ночью, «эдакой прелестной ночи никогда-никогда не бывало», ей кажется, что она даже физически способна это сделать: достаточно взяться «под коленки, — туже, как можно туже», чтобы полететь.

Вся ее жизнь — это полет в безграничном пространстве. Для Наташи каждое мгновение ее жизни опромно, бесценно, потому что это мгновение, как таковое, «никогда, никогда не бывало» и не повторится больше. Для нее каждое мгновение всегда ново, оно вмещает в себе все, и она каждый миг стремится жить всем своим существом. В этом заключается ее жажда жизни. И потому разлука с женихом до такой степени для нее непереносима. Не поняв Наташи, князь Андрей в то же время трагически не понял жизни. Потому что Наташа — это сама жизнь. А жизнь никогда не ждет: это не в ее привычках. Чтобы понять Наташу и понять любовь, которую она ему несла, нужно было, чтобы князь Андрей понял жизнь. Наташа совсем не знает самоотречения, этого унылого лейтмотива в жизни Сони. Но именно Наташа со всей страстью и непосредственностью своей натуры заставила разгрузить мебель Ростовых (уже почти разоренных, стоящих на пороге нищеты), чтобы можно было усадить на повозки раненых. Соня нагрузила повозки, чтобы можно было спасти, что возможно. Наташа разгрузила их в радости свободы, в радости слияния с миром. Это она глубже всех переживает с народом его скорбь и его победу. Это она ждет со своим мужем Пьером Безуховым изгнания в Сибирь, страданий ссылки. Мы это знаем из глав «Декабристы», которые Толстой начал писать. Но из эпилога «Войны и мира» уже ясно видно, что Наташа разделяет со своим мужем испытания заговорщиков.

Гармонией между личностью и обществом, к которой Пьер Безухов и Андрей Болконский приходят ценой долгих блужданий и жестоких философских и нравственных усилий, этой гармонией, которую они достигают, только приняв участие в историческом действии народа, Наташа владеет непосредственно. Это ее дар, также, как и счастье. Белинский говорил о пушкинской Татьяне, что она была гениальной натурой, потому что никогда не теряла связи с духовной жизнью народа. Еще с большим основанием можно это сказать о Наташе Ростовской. Эта молодая девушка, такая простая (Толстой хотел сначала назвать Ростовых «Простые»), не задающая себе мировых вопросов, на самом деле обладает всесторонним умом.

Толстой-писатель глубоко верил в победу всечеловеческих связей, во всемирный союз людей. Когда Андрей Болконский, глубоко разочарованный, не верит больше ни во что, и Пьер Безухов пытается убе-

дить его в том, что человек никогда не бывает одинок, что мир и истина существуют, кажется, что вся природа подтверждает эту веру в победу человеческого духа. В полном молчании «волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «правда, верь этому».

Толстой — единственный писатель мировой литературы, который смог создать роман на тему о том, как были счастливы люди.

«Анна Каренина», произведение такое же гениальное, как и «Война и мир», противоположно ему по поэтическому духу. После поэмы о счастье, это — роман о горе. После торжества жизни, это — угроза смерти, духовной смерти человечеству, если оно не найдет пути к обновлению, к «воскресению».

Мировая критика продолжает горячо обсуждать, оправдывает или осуждает Толстой Анну Каренину. Что означают таинственные слова Иеговы, которые служат эпиграфом: «Мне отмщение и Аз воздам...»? Касается ли «отмщение» Анны? Эта ужасная смерть, заслуженная ли кара для женщины, которая, несмотря на свои ошибки, остается до конца в плену своей чистоты? Но, с другой стороны, если Толстой не осуждает Анны, может ли он, который так высоко ставил семью, оправдать ее и оправдать ее вину? Какова здесь роль Толстого: гениального обвинителя или столь же великого защитника?

Надо согласиться с очевидностью: ничто не оправдывает этот способ решать проблему; он ни к чему не приводит; он мешает лишь проникнуть в глубину поэтической мысли и постичь ее широту.

Анна Каренина, подобно Наташе Ростовой, является воплощением жизни, любви. Она так же полна жизни. Она так же идет с доверием навстречу миру. Она так же обладает удивительным даром познания людей. Но если эти душевные качества ведут Наташу к счастью, Анну приводят они к гибели. Различные в том, что образ Наташи воплощает жизнь и любовь в поэтическом состоянии мира (состоянии «идеальном», повторяя слова Достоевского), когда любовь, как высшее проявление общения, торжествует победу, в то время как образ Анны Карениной воплощает жизнь и любовь в ее прозаическом состоянии, когда царствует пагубный принцип раздора, и когда вместе с любовью гибнет жизнь, невозможная без любви. Картина железной дороги, поезд-чудовище, роковые колеса которого неумолимо давят молодую женщину, имеет глубокое символическое значение: это железный, бесчеловечный век, век человечества, лишенного любви.

В этом романе Толстой так же мечтает о простой и безыскусственной жизни в общении с природой, землей, со всей вселенной. Константин Левин, который к этому стремится, в какой-то степени говорит от лица Толстого (Левин образовано от «Лев», русского имени автора). И мысль Левина бьется в поисках выхода, чтобы не быть раздавленной жизнью. Но поиски эти не завершаются ничем положительным. Левин остро, болезненно ощущает ущербность во всех областях жизни, в особенности в тех, которые, по своей сущности, должны были бы быть самыми радостными в общении людей — в области труда и любви.

В той главе, где Левин косит вместе с крестьянами и наслаждается здоровьем, молодостью, приливом всех жизненных сил, восторг, который он испытывает от совместного труда, уступает место чувствам со-

вершенно противоположным: тоске, душевной пустоте и стыду. За подъемом следует колющее ощущение того, что его отделяет от товарищей по работе, что делает их чуждыми ему, что сталкивает их наиболее жизненные интересы с его собственным интересом. Люди не имеют общих интересов. Даже если каждый имеет свой собственный, нет ничего общего. Всё разрушено. Всё делает людей чуждыми и враждебными друг другу. Поэтическая мысль Толстого в какой-то степени является отзвуком слов хора духов из «Фауста»: Великий дух, ты разбил, как стеклянный шар, круг вселенной. За это ответственно наивысшее зло — разделение.

Можно полагать, что Левин совершенно счастлив в любви, в браке, и что эта счастливая любовь противопоставляется несчастной любви и несчастному браку Анны Карениной. Но счастливый Левин, Левин в апогее своего счастья, думает о самоубийстве. Он боится веревок, на которых можно повеситься, и ружей, из которых можно застрелиться. Этому мужу и счастливому отцу семейное счастье кажется эгоизмом, а когда герою Толстого случается в жизни нести этот приговор, это значит, что его жизнь не гладка, и что его счастье — это несчастье. Эгоизм оправдан в глазах Толстого только в случае общения человека с миром. Счастье Пьера и Наташи оправдано потому, что поэтическая действительность давала им возможность раствориться в общении со всем окружающим. Но если этого нет, эгоизм является только эгоизмом, чем-то мрачным и ужасающим. В конце романа — успокоительная мысль, к которой приходит Левин, что можно всё же примириться с этой действительностью в общении с другими. Но это, конечно, только временный выход, неверный, непостоянный, выход отчаяния. Левин не может быть им удовлетворен, он будет продолжать страдать, искать... Как и сам Толстой, который после «Анны Карениной» отбросит всякую возможность какого бы то ни было компромисса, соединяющего человека с его человеческой сущностью.

Между браком и любовью Левина и браком и любовью Анны Карениной меньше противоречий (что было бы впрочем буржуазной моралью, очень мало толстовской), чем сопоставлений. Толстой подчеркивает, что любовь, даже самая счастливая, как и самый счастливый брак, недалеко от любви и брака самых несчастных, потому что, изолированные от всех, они не участвуют в общем деле созидания жизни, потому что человек не имеет того, что Чехов называл «общими взглядами». Именно по «общим взглядам», по общему делу тоскует Левин.

Вот что соединяет в романе две любовные канвы — Анны и Левина. На упреки одного своего корреспондента, который находил, что «Анна Каренина» состоит из двух романов, Толстой ответил с законной гордостью писателя, что надо было внимательнее читать произведение. Этот читатель не заметил свода, который поддерживает здание. И Толстой был удовлетворен именно тем, что не подчеркнул этой связи.

Для Толстого семья, семейная общность, были прототипом жизни всего человечества, всеобщего братства. Внутренний же семейный раздор, по мере того, как он становился общим правилом, приводил его в ужас. В нем он видел угрозу самим основам человеческой жизни.

«Анна Каренина», — это величайшая трагедия мировой литературы. Ее можно сравнить по величию лишь с «Гамлетом». Трагическая

ошибка героини заключается в том, что она требовала от действительности, присущей всего лишь человеческой личности, подлинности, полной жизни и любви, не зная, что и то и другое невозможно в разделенном и ненормальном обществе. Даже в любви нельзя убежать от действительности, потому что любовь, которая признает только себя, превращается в свою противоположность: из совершенного союза она становится худшим из раздоров, как в случае Анны и Вронского.

Герой трагедии не может быть мелочным, пошлым человеком, разбрасывающимся своими чувствами. Человеческая личность, с кучками, недоразвитыми чувствами, задерживающимися на полпути, неспособна переносить суровые испытания самого мироздания, неспособна предъявлять к действительности высокие требования, неспособна ценой собственной жизни показать подлинное несчастье людей. То, что делает Гамлет. И то, что делает Анна Каренина.

Вину, которую совершила Анна, совершили многие другие: например, Белси, друг Анны, которая обманывает своего мужа, и Стива Облонский, брат Анны, который обманывает свою жену. Но не на них обрушивается гнев общества. Им оно прощает всё: они слишком не настоящие в любви. Их связи слишком далеки от настоящей любви. Если общество карает любовь, если оно мстит за нее, если оно ненавидит ее, то это именно потому, что оно распознает в ней своего противника: Человека. Преступление Анны в том, что она требует любви в обществе, лишенном ее, и требует жизни в обществе, лишенном ее.

Только один человек способен, как Анна, на настоящую любовь и ищет, подобно Анне, настоящей жизни, не удовлетворяясь никакими подделками. Он один мог бы ответить на любовь Анны. Это Константин Левин. Их роднит много общих черт. Но эти существа разделены так же, как разделено все человеческое, все то, чему было суждено соединиться.

Таким образом все больше и больше проявляется глубокий и столь богатый смысл эпиграфа «Анны Карениной». Толстой хотел прежде всего оправдать свою героиню от поверхностного и прубого суда людей. Вынесение приговора здесь принадлежит Верховному Суду, где нет ни обвинителей, ни защитников, но только голос совести. Божественный гнев направлен здесь на все строение действительности, карающей за любовь. И отмщение направлено не на Анну. Скорее следует отомстить за нее, но не тому или иному лицу, а дьявольской структуре всего мира. Если виновна Анна, то виновно и всё человечество, потому что жизнь устанавливается не человеческими законами. И если она наказана более жестоко, чем многие другие, то это потому, что Анна сильнее, чем многие другие, представляет собой человечество.

Гневом Всевышнего должна была бы быть уничтожена действительность, которая отвергает любовь, а не женщина, которая хотела любить. Но «Мне отмщение и Аз воздам...».

Толстой-писатель вырывается перед человечеством, как великий бунтовщик. Здесь вспоминаются слова Ленина о том, что свойство Толстого — безжалостно срывать маски, стараться искоренить ложь и фальшь общества.

Но Ленин в то же время подчеркивал вопиющие противоречия Толстого, объяснимые (по последним исследованиям) тем, что, порвав с высшей аристократией, к которой он принадлежал по рождению и

воспитанию, и полностью встав на позиции русского патриархального крестьянства, Толстой отражал не только силу, но и слабости и опстальные предрассудки, характерные для этих миллионов крестьян накануне первой русской революции. Ленин указывал, что учение Толстого носит опстальный, утопический характер, вопреки силе протеста, содержащемуся в его произведениях и поучениях. Настоящий доклад посвящен Толстому-писателю. Ленинский анализ показывает нам, что в художественной конкретности произведений Толстого выражены те же кричащие противоречия, что и в его поучениях.

И на самом деле, после действительно уничтожающей критики современного общества и после провозглашения своей благородной идеи объединения людей, Толстой отбрасывает историческую необходимость действительной борьбы для утверждения свободной и счастливой жизни человечества, за возврат человечества к своим истокам, к своей социальной и природной сущности. После заявления о решающей роли народа в истории, Толстой, наоборот, отбрасывает необходимость борьбы народа против общества угнетателей, заменяет социальную активность народа концепцией исторической необходимости «Войны и мира» и пассивными выводами «Анны Карениной» и «Воскресения». Эта концепция и эти выводы находятся в полном противоречии с идеей исторической миссии народа, которая вдохновила «Войну и мир»; так же, как и с идеей гнева и бунта «Анны Карениной» и «Воскресения». Когда Чехов критиковал евангельский вывод «Воскресения», он делал это вовсе не для того, чтобы выступить в полемику с религиозными убеждениями Толстого, как с таковыми (тем более, что Чехов, как неверующий, не мог с ними согласиться), но потому, что как художник он видел в этом умиротворяющем конце резкое, антихудожественное противоречие со всем художественным содержанием, со всей поэтической логикой произведения.

Толстой противоречил сам себе, тому самобытному, что было в его произведениях, особенно собственному динамизму, самой природе толстовской художественной мысли. На полном творческом порыве художник внезапно тормозит так, что читатель испытывает резкий толчок, будто он стукнулся лбом о стену, внезапно выросшую на его пути. Отсюда — странная антихудожественная несоразмерность, такая странная, поскольку слово это относится к одному из величайших художников всех времен и народов.

Страстный призыв к действию сменяется призывом к непротивлению, непримиримость завершается капитуляцией.

Не напоминает ли это размышления, которые привели Толстого к отрицанию искусства? Вспомним «Крейцерову сонату», вспомним Толстовскую теорию об искусстве. Толстой рассматривал его и, в частности, музыку, как наделенных страшной властью над людьми. Музыка для него призывает к действию такому же страстному и сильному, какой страстной и сильной является она сама. Но человек неспособен к такому действию. Нет такого великого и героического дела, которое соответствовало бы силе, пробуждаемой музыкой и искусством. Следовательно, возбуждение, прилив сил, вызываемые искусством, превращаются в смутное сознание об утерянных человеческих ценностях, в поску по величии и могуществу или же в мрачные дубительные страсти, как в «Крейцеровой сонате», страсти, которые являются чудовищ-

ным эквивалентом настоящей страсти. Гениальный мыслитель пытается здесь разгадать основную тайну общества и искусства: все, что человеческое, — отвращается от своей человеческой социальной природы и противоречит своей собственной сущности. Не испытывал ли Толстой эту неутолимую страсть грандиозного действия, которую искусство пробуждает в сердцах людей, так же глубоко и болезненно потому, что сам страдал от этого противоречия в своих произведениях?

Ленин сказал, что Толстой сделал шаг вперед в художественном развитии человечества. Действительно, невозможно перечислить все открытия Толстого в этой области. Он раскрыл самые сокровенные тайны человеческой души. Он овладел тайнами, которых едва коснулась литература, та литература, которую Горький так удачно назвал «антропологией»; тайны человеческого общения, самопознания людей, открытия человеческой души в других человеческих душах, открытие одного человека во множестве людей и множества в одном. Он ознакомил искусство с новыми поэтическими материками. Он сумел нарисовать народ в целом и индивидуума как часть народа, потому что в народе он любил каждого индивидуума, и в каждом индивидууме он любил народ. Никто не поднял человека и человеческую личность на такую высоту. Никто до него не вознес народ на такие вершины поэзии.

Чествуя память Толстого, человечество гордится им и самим собой одновременно. Тот факт, что человечество имело Толстого, сама возможность появления Толстого, включает в себе самые сильные, непреодолимые аргументы в пользу нерасторжимого союза людей, дружбы между ними, возможного и нужного торжества понятия «мир» во всех смыслах, которыми это великое слово обладает в русском языке. «Это правда, верь этому!» — вот завет Толстого.

Человечество победит одиночество и разделение. Мы, советские люди, ведем страстную борьбу за эту победу. И в этой победе мы опираемся на то, что есть лучшего в народных традициях русского народа и всех народов Советского Союза, на наивысшие достижения их культуры и их литературы, так же, как и на наивысшие достижения культуры и литературы всего человечества.

6 июня 1960.

ЗАВЕТ ТОЛСТОГО

Для русской литературы девятнадцатый век является тем, чем эпоха Возрождения, Елизаветинская эра, столетие Людовика XIV и Золотой век — для Италии, Англии, Франции и Испании.

Упомянув лишь о звездах первой величины, мы можем сказать, что Россия дала в течение этого века не менее пяти писателей, пользующихся всемирной славой: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского.

Если мы представим себе, что наряду с этими мастерами художественного слова страна в ту же эпоху выдвинула целое созвездие гениальных композиторов как Глинка, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Чайковский, тем сильнее становится ощущение, что начало века ознаменовалось потоком таинственной творческой силы, вырвавшимся из глубочайших недр России. Непосвященному человеку, более наделенному, что касается русской истории, чувством восхищения, чем фактическим знанием, эта могучая эпоха должна казаться волной русского творческого духа, властно захватившей Европу как бы для того, чтобы отблагодарить ее за то влияние и вдохновение, которое она расточала в продолжение долгих лет.

Европеец, оценивающий эту творческую волну, в первую очередь поражается ее мощью. Какие они великаны, эти русские! Все они велики — даже Тургенев, быть может, наименее выдающийся из названных нами пяти имен. А, между тем, именно Тургеневу суждено было остаться в Европе, в то время как другие затопили Европу лишь для того, чтобы снова вернуться в Россию, подобно волне, возвращающейся в свое лоно после того, как она напоила жаждущий песок.

Пушкин стремительно занимает место, наравне с такими великими поэтами человечества, как Данте, Шекспир и Гёте, а три великих романиста поражают мир своей способностью ввести в действие и развернуть перед читателем огромное количество человеческих существ, которые населяют огромные пространства и проявляют сложную, глубокую и поглощающую деятельность. Даже читатель Флобера чувствует, когда он входит в мир «Мертвых душ», что его кругозор вырос и углубился, то же самое происходит с читателем Тэккерея, знакомя-

Доклад, прочитанный на Венецианском конгрессе. Публикуется с разрешения автора. — Ред.

щимся с «Войной и миром», или с читателем Бальзака, который раскрывает «Братьев Карамазовых». Такие слова как «увеличение», «расширение» и «углубление» неспособны передать то, что происходит с нашим миром, когда мы входим в мир великих русских: подлинная сущность их воздействия в том, что наша действительность обогащается новым измерением.

Ощущение, которое нас охватывает при встрече с русским духом, может быть определено как потерянности. Мы были так далеки от России, так далеки от всякого представления о ней. «Как можно быть русским?» — мог бы воскликнуть западный читатель XIX века, повторяя вопрос парижанина у Монтескье: «Как можно быть персом?». Перед удивленным взором Европы великие русские внезапно разворачивают такую картину: мужчины и женщины живут совершенно особой и им одним свойственной жизнью. По сравнению с нашей, их жизнь предельно своеобразна и причудлива и, несмотря на это, сколько в ней глубочайшей человечности. Что же поразило Европу и исполнило ее восхищения? Помимо того размаха и той мощи, которые проявились у этих великих русских, это было, вероятно, сочетание: экзотики со всечеловечностью, исключительной самобытности со всеобщностью, русского духа с человеческим чувством.

И не рождается ли в нас чувство, что в нашем восхищении мы находим у русских большую человечность, чем в нас самих? Великие русские романисты обнаруживают более непосредственную и захватывающую человечность, чем ту, которую мы привыкли находить у наших западных авторов, и нам кажется, что сочность человеческой жизни у них свежее, чем у нас — будто их человеческие цветы были срезаны не для того, чтобы составить букет романа, а остались укорененными в их родимой, благоухающей и влажной почве.

Огромнейшим поэтическим даром великих русских нам представляется их способность к творческому, живому и непосредственному воспроизведению того, что составляет величайшую тайну человеческого существования — его дыхания жизни.

Но нет ли в их способности глубоко проникать в человеческую природу еще и другого дара? Этот особый дар — дар братства, который охватывает все человечество, побеждая всякую социальную и социологическую ограниченность и связанные с ними помехи, и только благодаря этому дару человеческие существа проникают сквозь ограниченности и преграды, проносят сквозь них решающие качества своей души, лишённые внешней поддержки и определенной цели. Это положение кажется мне естественным для русского народа, и оно встречается, как правило, лишь там, где сильны традиции и нравственная жизнь. Подобное творческое богатство, такое проникновение в характер человека, такую силу беспристрастной, всеобъемлющей любви ко всему творению можно найти разве что в глубине сердца истинного поэта.

Таким образом можно было бы выявить источник и объяснить качество и силу реализма этих русских писателей. Европейская литература настолько подчинена сознанию и интеллекту, что реализм этой литературы приходится расценивать как нарочитый, почти что агрессивный. Реализм великих русских поражает нас потому, что он более естествен, непосредствен и неизбежен — он больше занят своим объектом, чем внешним выражением, он больше интересуется приро-

дой, чем искусством. Когда Толстой описывает офицера Каменева, держащего в лунном свете полкову Хаджи-Мурата, стиль его повествования остается таким же сдержанным, как если бы эта голова еще находилась на плечах, которые она венчала, и обладала бы способностью вести читателя через повествование. Толстой описывает лишь то, что происходит. И так как русские могут быть более человечны, чем мы, они могут быть и более бесчеловечны — здесь необходимо, конечно, учитывать всю неточность этого слова.

И в этом, как и в другом, русские оказываются очень схожими с испанцами. И те и другие — более простые, естественны, непосредственны, ближе к земле, в них больше братства в двусмысленном значении этого слова — братства Авеля, но и братства Каина.

Не следует, однако, вести этот параллелизм слишком далеко. Я не думаю, чтобы русским был присущ свирепый индивидуализм Испании, и чтобы испанцы могли хоть на мгновение представить себе эту особую горячность русских, их переливающуюся через край братскую привязанность. Но сила, с которой великие русские писатели проникают в самую глубину человеческой природы, представляется испанскому читателю хорошо знакомой чертой. Испанец чувствует в русских некую особую «невинность» (мы заимствуем это слово-символ у Ромона Сендера), которая характеризует и его поступки.

Эта невинность основана на том, что русские (как и испанцы) действуют таким образом, что их действие нельзя назвать ни моральным, ни аморальным: оно — до-морально.

Западные критики, спорящие о моральной теме у Толстого или Достоевского, могут порой различно толковать эту русскую особенность.

Затруднение, по крайней мере отчасти, проистекает, быть может, из того, что слову «моральный» придают двусмысленное значение.

Необходимо исходить из того, что русский (как, впрочем, и испанец) куда бы он ни входил, входит в данное место всем своим существом. Что касается русского, в нем нет ни тени интеллектуальной отрешенности француза, ни отвлеченной оторванности немца, ни сознательной сдержанности англичанина, ни разочарованного скептицизма итальянца. Русский заполняет собой всё место и, куда бы он ни шел и что бы он ни делал, он всегда берет с собой и употребляет весь свой запас мудрости и чувства.

Трудно представить, каким образом такая сбитая человеческая масса могла добиться в своем поведении различия эстетики от этики и этики от религии. Нравственные выводы, следовательно, не содержатся внутри людей, они сами являются структурой их художественных созданий.

Тем не менее — и здесь мы снова встречаем черту, сближающую русского с испанцем — отношение русского к нравственным вопросам больше направлено на индивидуальное, чем на социальное, русский меньше думает о прогрессе и больше стремится к совершенству, он меньше думает о царе и тюремщике и больше помышляет о Боге и дьяволе. Читая великих русских писателей, чувствуешь, что главная цель жизни — в спасении, и что главная опасность — в духовной гибели и осуждении.

И поскольку человек умирает всегда один, очевидно, что человек

и живет один — если исключить возможность доказательства, что это не так.

Совершенно несомненно, что именно эта сторона творчества великих русских писателей придала особую силу влиянию, которое они оказали на Европу. Они были явлены Западу в тот момент, когда Европа достигала апогея своего материального благополучия и блеска, обусловленного расцветом либерального капитализма. Это блестящее общество оказывало благодеяния своим членам только ценой тяжелого оброка, который оно на них накладывало. Это общество впитывало их в себя, как Елена в «Фаусте» Марлоу, и каждый европеец этих щедрых и счастливых дней мог бы воскликнуть вместе с Фаустом:

«Нежная Елена, подари мне бессмертие твоим поцелуем,
Ее губы похищают мою душу. Смотри, как она улетаёт!
О приди, Елена, приди и верни мне душу,
Здесь хочу я жить, ибо рай — в твоих губах,
И всё, что не есть Елена — ничтожно».

Они могли бы сказать это, но не сказали, ибо богатые и счастливые европейцы тех дней не сознавали, насколько эта Елена, их общество, впитывала в себя и поглощала их душу.

Великие русские писатели это осознали. Если было нечто, в чем они все были согласны друг с другом, то это — совершенное отрицание блестящего общества, поглощавшего творческую энергию Запада. Движимые силой своего извечного движения в сторону внешних областей души, европейцы приобрели социальный характер за счет собственной индивидуальности.

Великие русские писатели строили общество, которое они описывали в своих произведениях, по образцу того, что они видели в своем собственном народе, и характеры людей, которые они описывали, были ближе их собственному сердцу, чем это имело место на Западе.

Может быть, это восприятие было обогащено более глубоким дыханием жизни, которое так захватило западных европейцев, но уже после того, как великие русские писатели завладели их умственным горизонтом.

Однако, несмотря на это, легкий налет сверх-западного, сверх-блестящего общества коснулся, подобно нездоровой накипи, их первобытного и «невинного» общества — им стоило лишь открыть глаза и посмотреть вокруг, чтобы реально ощутить и увидеть всю разницу. Языком этих людей, бывших иностранцами у себя на родине, был французский, французскими были их нравы и обычаи. Таким образом, под тем же знакомым им небом великие русские писатели могли одновременно наблюдать начало и конец культуры. Ибо Франция — это свершение, конец, обаяние и последний мазок европейской культуры.

Какое превосходное напряжение для художника, который призван наблюдать и находить способы выражения, и как эта напряженность использована в «Войне и мире», и еще больше в «Анне Карениной»! С одной стороны — сознание бескрайней России, огромной во всех направлениях, с другой стороны — Франция: законченная, сознательно очерченная, чтобы до предела сконцентрировать свой блеск,

как прожектор концентрирует свет на том, что он освещает. Как проявляется этот контраст у наших великих русских писателей?

Толстой оторвался от опрощенного и блестящего и избрал безграничное и изначальное.

Мне кажется правильным предположение, что Толстой избрал деятельную жизнь в армии, занятой на Кавказе или в Крыму, в силу разочарования, которое вызвало у него блестящее капиталистическое общество; его антизападная реакция после путешествий за границу подтверждает это предположение.

Русским, приехавшим на Запад только для того, чтобы нахмуриться при виде низкого человеческого и морального уровня западных обычаев, собственно было меньше присуще чувство этики, чем нечто другое, что, за отсутствием лучшего выражения, мы можем назвать «глубиной».

Все люди глубоки, хотя они и не опускаются так глубоко, как могли бы, в свои внутренние глубины. Толстой, как и Достоевский, вероятно чувствовал, что западные люди жили недостаточно глубоко, не так глубоко, как они могли бы жить, если бы того захотели.

В конечном смысле, разницу между той частью Европы, которая «больше ушла вперед», и такими «отсталыми» народами, как русские и испанцы, можно было бы выявить путем описания того, что же действительно означают слова «нравственный» и «нравственность». Смысл этих слов для центра Европы в основном направлен на то, что человек *делает*. Для русских же и испанцев большее значение придается тому, что человек *есть*. Вероятно, именно поэтому русские и испанцы поражают других европейцев и представляются им одновременно нравственными и безнравственными — русским и испанцам, как правило, присущи моральные выводы, но они касаются не столько самих действий, сколько установки, привычки, качества той жизни, что стоит за действием.

На каждом шагу встает ужасный вопрос: что такое добро? Всякое действие человека, от самого важного до наиболее обыденного, содержит в себе ответ на смысл жизни, который определяет и смысл творчества. И, таким образом, отношения между тварными существами принимают тот образ и освещаются тем светом, которые рождаются из отношения между каждым из них и Богом. Всё становится религией, если не религиозным; и удивление художника, каким бы ни был характер его анализа, и его витание вокруг цветов, деревьев и человеческих лиц бессознательно ищет ту грань на линии горизонта, где земля поднимается, чтобы коснуться неба, а небо нисходит, чтобы соприкоснуться с землей.

Поэтому мы не можем удивляться тому, что Толстой, будучи еще нестарым человеком (ему было тогда пятьдесят лет), с омерзением отвернулся от того стиля жизни, который он вел, и искал укрыться в учении Христа — даже если, будучи отъявленным индивидуалистом, он толковал это учение на собственный лад. С точки зрения европейских обычаев, его жизнь была совершенно моральной, несомненно, выше средней европейской нравственности и даже выше нравственности людей его класса и его профессии. Но была ли его жизнь достаточно нравственной для русского, обращенного внутрь себя? То, что он *делал*, было, вероятно, достаточно хорошо, но как обстояло дело с тем, чем он

был? Мог ли он примириться с тем, что жил трудом других, приобретая таким путем необходимый для писания досуг и собирая дополнительную прибыль с использования своего таланта?

Его ответ был *нет*. И он начал трудиться над созданием собственной религии, которую понимал как толкование учения Христа. Как странно, что именно тут, решительно вступая в область религии, Толстой становится всё более реалистом. Его знаменитое сочинение «В чем моя вера» — образец реалистического подхода к теме. У Толстого нет ни одного сомнительного иррационального приема, каковые имеются, например, у Паскаля, с целью обманно протащить веру через логические образы мышления неверующего.

В данном случае, подобный непрощенный защитник вызывает у нас раздражение и досаду. Толстой оставляет богословам труд обсуждать наиболее темные и теоретические вопросы Писания, которые возникают или возникали в умах, склонных к теоретическим размышлениям, и прямо берется за то, что для него наиболее важно: за вопрос о правилах отношения человеческих существ друг к другу.

Толстой доказывает, что десять заповедей являются частным делом Моисея, и что Церковь заменила их тем, чем являются для него пять заповедей Христа. Очевидно, что для Толстого десять заповедей Моисея служат указанием, что человек должен делать, и чего он не должен делать. Но он сам ищет заповедей, которые способны были бы определить характер «бытия». Эта сила и принуждает Толстого искать ответ в Евангелии; и естественно, что он находит в Евангелии именно то, что сам туда вносит.

После исследований и старательного разбора текста Евангелия от Матфея, на котором Толстой основывает свои утверждения, он следующим образом выражает пять заповедей Христа:

Первая заповедь предписывает: «Будь в мире со всеми людьми, не считай ни одного человека ни незначущим, ни глупым (Мф. стих 22). Если мир нарушен, делай всё возможное, не жалея сил, чтобы восстановить мир. Служение Богу есть разрушение всякой вражды. Примиряйся, ибо ты не должен терять истинной жизни». В этой заповеди всё сказано.

Но Христос, Который предвидел, насколько силен будет в мире соблазн нарушить мир, усиливает сказанное второй заповедью: «Вопреки телесной красоте, борись с возжелениями плоти, будь мужем одной жены и будь женой одного мужа и не разлучайтесь ни под каким предлогом».

Затем следует соблазн произносить клятвы: «Знай, что это плохо, и не клянись вовсе».

Четвертый соблазн — соблазн мести, которую неверно называют человеческой справедливостью: «Не ищи мести, не оправдывай себя тем, что ты был оскорблен, переноси обиду и не воздавай злом за зло».

Пятый соблазн — это различие между национальностями, вражда между расами и царствами: «Знай, что все люди — братья и дети одного Бога, не нарушай ни с кем мира под предлогом национального расхождения. Если одна из этих заповедей будет оставлена людьми без внимания, мир будет нарушен. Если все эти заповеди будут соблю-

денны, во всем мире будет царствовать мир. Соблюдение этих заповедей сделает невозможным существование зла среди людей».

Словом, Толстой — основатель «гандизма». Но сам он, откуда черпал он вдохновение, приведшее его к тому, что он нашел в Евангелии от Матфея стройную систему недоверия к государству? Почти наверное мы можем сказать, что Толстой взял это у Руссо. Мы знаем, что Руссо произвел на него большое впечатление, когда Толстой жил в Казани; и мы естественно можем предположить, что антисоциальные инстинкты Руссо, прораставшие в столь богатом опытом уме, выявились в гандизме Толстого. Ибо Руссо сам по себе — такое сложное сплетение интеллектуальных нитей и воззрений, что тот, кто неосмотрительно заблудится в нем, может равно придти и к тоталитарной диктатуре, и к полной анархии.

Выводы зависят от темперамента. Оптимисты склоняются к тому, чтобы переодеть Руссо в анархиста. Так, нам кажется, поступил и Толстой. Во всех сочинениях Толстого трудно найти основание, довод или доказательство его веры в мир, в котором, если он будет жить, на непотреблении злу, в конце концов, восторжествует то, что является или должно быть справедливостью. Оприщание принуждения представляется у Толстого настолько абсолютным, что исключение здесь невозможно, разве что при необходимости силой защитить ребенка от опасности. Словом, Толстой становится анархистом.

Мы снова подошли к одной из тех точек, в которых русские и испанцы соприкасаются. Анархизм Толстого не носил политического характера. Анархизм Толстого оставался религиозным и богословским, он заполнял ту пустоту, которая образовалась в его душе за тридцать пять лет неверия — «нигилизма», как сам Толстой назвал это состояние.

Но путь его личной религии привел его к положению, которое, в области политики выразили два его соотечественника: Бакунин и Кропоткин. Это положение подходит русским, как перчатка. Хорошо известно, что анархизм в Испании является народной верой. Это обстоятельство слишком часто приписывали тому, что у рабочего класса Испании низкий уровень жизни. Для меня же несомненно, что испанский анархизм имеет мало общего с уровнем жизни и тесно связан с психологией. Анархия — это вера оптимиста. Да и кто не был бы оптимистом в некоторых районах Испании, как, например, на берегах Средиземного моря? Но в Кастилии мы найдем уже мало анархизма, а, может быть, и вообще не найдем.

Личный, инстинктивный оптимизм в отношении человеческой природы привел Толстого к тому, что он открыл анархизм в учении Иисуса Христа. Поступая так, Толстой оказал человечеству высокую услугу. XIX век шел слишком далеко и слишком быстрыми темпами в одном опасном направлении. Толстой, как и создатели политического анархизма, главным образом Прудон, создали противоположное течение — весьма драгоценное, в качестве оружия защиты для мира от бюрократии и технократии.

То обстоятельство, что анархия есть потребность оптимиста, не должно смущать разумного человека. Жизнь имеет характер оркестра. Анархия никогда не станет тем единственным инструментом, на кото-

ром будут играть. По правде говоря, в настоящее время мы не слышим этого инструмента ни достаточно часто, ни с достаточной силой. В нашу эпоху, над которой явственно довлелеет пессимист, склонный укреплять государство за счет личности, циник, для которого нет ничего святого, и империалист левого или правого толка, который мечтает о государстве, где у него будет как можно больше власти, — такие оптимисты, предстающие перед нами освобожденными от цепей государства, являются нашими самыми большими союзниками в борьбе за свободу.

Перевел с французского К. Фотиев

Хождение по мукам

(Опыт медленного чтения)

Совершая злое дело, человек оскорбляет мать землю, нас всех породившую. Оттого-то, прежде чем каяться в преступлении перед людьми, прежде чем пойти и, хотя бы нераскаянно донести на себя официальным властям, надо преступнику просить прощение у нашей общей родительницы. Когда Раскольников признается Соне в убийстве и спрашивает «с безобразно искаженным от отчаяния лицом»: «Ну, что же теперь делать?», то она, обычно тихая, приниженная, вскакивает в ответ с места и, вдруг сверкнув глазами, призывает его как власть имущая встать на перекрестке, поклониться, поцеловать землю, которую он осквернил, и потом уже покаяться перед всеми. Да, Соня отвечает Раскольникову как власть имущая, опираясь на внутреннее священное право, ей данное. Злодеянием мы уродуем лицо земли, мы искажаем страданием и ужасом ее Богом сотворенный лик. Такое искажение в первую очередь отражается на женщинах, нас окружающих. Они как начало живородящее крепче и непосредственнее нас связаны тайными нитями с матерью землей, они по замыслу Творца являют собою ее одухотворенное и, следовательно, увековеченное продолжение. Убивая своего ближнего, человек, вольно или невольно, надругивается этим над собственной матерью, сестрою, женою и дочерью и возлагает на их слабые плечи бремя своего смертного греха. Пролит кровью, к тому же еще женскую кровь, Раскольников роковым образом попадает в заклятый круг, он оказывается окруженным падшими женщинами, его обволакивает, как липкой паутиной, злая сущность проституции. Он злодеянием лишний раз помог ее проявлению в жизни. И зато перед ним, разбойно порвавшим круговую поруку любви и чести, предстает неумолимо в своих несчастных отражениях изуродованный лик матери земли. Одно из этих мученических отражений — Соня Мармеладова. Она пала жертвенно, но все же пала, и в ее падении больше всех виноваты люди, подобные Раскольникову, рассылавшему, лежа в гробной каморке, злые флюиды по лицу земли. Еще и еще раз повторяю: мир для Достоевского не только трехмерен, но и трехпланен, и в силу того,

«Хождение по мукам» — третья часть труда Г. Мейера о творчестве Ф. М. Достоевского. См. предыдущие №№ «Граней». — Ред.

что все при плана находятся между собою в непрестанном общении, они вполне реально раскрывают свои тайны создателю «Преступления и наказания». В вещих снах, в припадках эпилепсии, в стоянии у смертного столба, на каторжных нарах в бессонные ночи, в саване, надевшем на него и Богом и людьми, познавал Достоевский мистическое тело вселенной. О смерти он говорил мало и вскользь, потому что она для него самого ничего не меняла. Да и что могла она поведать ему действительно вполне нового, ему, навсегда запомнившему ее, казалось бы, неминуемую угрозу? После незабываемого страшного опыта, он мог бы сказать нам о себе словами апостола Павла: «Я каждый день умираю». Не боясь преувеличения, следует спросить: не был ли Достоевский еще при жизни восхищен однажды своим гением до третьего неба? Во всяком случае, наш земной мир стал для него как художника прозрачной средой. В ней отразились, общаясь между собой, но не смешиваясь, три плана вселенной, и тогда за любым жизненным явлением обнаружилась его сущность, его первопричина. Жизнь шла и развивалась своим чередом, а с нею рядом и от нее неотрывно двигалась сфера ее истинных сущностей, подлинных реальностей зла и добра. Предаться призрачным грезам не было смысла, когда и без того все обреталось рядом, тут же, и какая-нибудь ошошенная ветошь могла в любое мгновение заговорить на вселенском языке, а сам замухрышка Голлядкин мог поведать своим жалким беспомощным видом причину причин первого и второго Пришествий. Все несет в себе свою подлинную реальность, все, кроме романтических выкрутас и гуманистических выдумок. Вовсе не надо умереть, чтобы испытать на себе и рай, и ад, и чистилище. Тем более, что здешняя жизнь есть средоточие двух сфер — босовской и ангельской, преддверие, ведущее в чистилище.

В силу греха, опутавшего людей, жизнь здесь, на земле, может ежесекундно превратиться для любого из нас в хождение по мукам. Что же сказать о Раскольникове, сознательно предавшемся духовному бунту, кровавому злу ради зла? Стоило ему пролить кровь, и тотчас же начались для него мытарства. В первую же ночь после убийства, он очнулся в третьем часу у себя на диване, «еще осполбенелый от недавнего забытья». Было уже светло по-дневному. «Он вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана». Тут повторилось то, что уже случилось с ним, когда он еще только готовился к пролитию крови. И тогда «как будто кто-то его сорвал с дивана». Теперь же обнаруживалось, что этот «кто-то» по-прежнему крепко держал Раскольникова в повиновении и своевольно заведывал его движениями и поступками. Бредовая одержимость продолжалась. С ужасом он вспомнил вчерашнее. «В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод охватил его». К этому автор спешит добавить: «но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне». У Достоевского метафизике неизменно сопутствует физика, земные явления для него лишь отражение всего совершающегося в духе. Внутреннему соответствует внешнее. Беспредельно углубляя то, что все мы зовем действительностью, он обнажает подспудные течения, основы бытия, предоставляя читателю, реалистически настроенному, оставаться на поверхности.

Не жар охватил Раскольникова, но страшный холод. Тела, им убитых существ, успели остыть к тому времени, и ледяное дыхание смерти доходило теперь до убийцы. Однако, надо было жить, укрываться,

прятать напрабленные вещи и деньги, осматривать на себе платье — не осталось ли где кровавых следов, стирать кровавые пятна, продолжая тем самым как бы уничтожать и без того уже уничтоженных. Каждое кровавое пятно было священной памятью об убитых. Но убийца отвергает священное, не хочет памяти и, стирая кровь своих жертв, лишний раз кощунственно покушается на их бессмертие. А бессильным попыткам преступника, обреченного символически множить убийства, радуется ад всесмешливый. Убийца физически убивает своих ближних, ад духовно убивает убийцу. Это ли не торжество всеуничтожающей смерти! И как жить тому, кто ее добровольно и сознательно умножает. Преступивший запретную черту, обрывает гайные нити, соединяющие его с людьми, и попружается в пробное одиночество. Но жизнь по-прежнему продолжается и втягивает в свой круговорот живого мертвеца, крутя его, как водный поток бесчувственную цепку. Замкнувшемуся в себе убийце, если и дано что-либо чувствовать, то только собственную опустошенность.

Едва успев Раскольников оторвать от панталон окровавленную бахрому и пропитавшийся кровью карман, как луч восшедшего солнца осветил его прорванный сапог: «на носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог: — «действительно, знаки! весь кончик носка пропитан кровью»... Он хотел пойти куда-нибудь и все выбросить, но, вместо того, сел на диван, голова его склонилась на подушку и он снова забылся. «Окончательно разбудил его сильный стук в дверь».

То была Настасья с дворником, принесшим повестку — вызов в полицейскую контору, не имевший никакого отношения к *вчерашнему*, и, как выяснилось уже в участке, касавшийся мелкого дела о неуплате за квартиру. Нужно же было полицейской повестке дойти до Раскольникова как раз теперь! Хождение по краю пропасти начиналось.

Настасья ушла вслед за дворником. «Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому: — «Пятна есть, но не совсем приметно; всё запризнилось, затерлось и уже выпало... Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава Богу!»

Он пошел в контору квартального надзирателя. «На улице опять жара стояла невыносимая». Эта жара странным образом соответствовала холоду, оледенившему душу и тело Раскольникова. Но не все ли равно, чем опалает нас ад — холодом или зноем!

Полицейская контора была совсем недалеко и помещалась в четвертом этаже. «Войду, стану на колена и всё расскажу...» — подумал он, входя в четвертый этаж».

Ужасающая тяжесть давила, душила Раскольникова: непричастное преху, светоносное ядро его души отпалкивало от себя злодеяние. А чистилище, принявшее облик унылой будничной повседневности, уже втягивало преступника в свое серое нутро. С какой правдивой беспощадностью описывает Достоевский это здешнее и, одновременно, нездешнее нутро — чистилищную утробу, приступающую к перевариванию человека, потерявшего первородную свободу, когда-то Богом ему данную. Чёрт, действительно, не соврал, говоря Ивану Карамазову: «Все, что есть у вас, есть и у нас!» Это легче всего ощутить, вглядываясь в будничное, в повседневное, в обыденное. Поэтому-то и говорит Случевский — ученик и прямой последователь Достоевского:

«...для обитателей заприобных
Не нужно вовсе сфер иных,
Таких, которым нет подобных
В подлунной, на путях земных».

«Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях», — повествует Достоевский. «Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день... Вверх и вниз выходили и сходили дворники с книжками подмышкой, хожалые и разный люд обоого пола — посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут всё стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежее, еще не выстоявшееся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Всё крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его всё дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его лучше, на вид всё странный какой-то народ».

Не отрывок ли это из какой-нибудь легенды о мьгтарствах? Но нет, все это совершенно самостоятельно возникло в творческой душе самого Достоевского: и до ужаса всему и всем чуждые какие-то мужики, и странные писцы, и крошечные, низенькие комнаты, и духота чрезвычайная, тошнотная. Все здесь, как будто, знакомое, привычное. Но, Боже мой, откуда же такая тоска, такая бесовская скука? И до чего все равнодушны, безразличны друг к другу! Вот, хотя бы, странный писец, к которому обратился Раскольников.

«— Чего тебе?

Он показал повестку из конторы.

— Вы студент? — спросил тот, взглянув на повестку.

— Да, бывший студент.

Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижною идеей во взгляде.

«От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», подумал Раскольников.

— Ступайте туда, к письмоводителю, — сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату».

С этого момента решительно усиливаются раздвоения, расщепления души Раскольникова, осуществляющиеся вовне в его встречах с людьми, совершенно реально живущими, вполне земными и, в то же время, являющими собою некие его эманации, отражения. По Достоевскому, мы встречаемся в жизни именно потому, что должны отражать друг друга. Каждая встреча человека с человеком обличает обоих и делает дотоле в них невидимое как бы видимым.

Самая последняя комната оказалась конторой квартального надзирателя, «битком набитая публикой».

«Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами,

видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величиной с чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала».

Вот отражение на жизненной поверхности того, что вершилось и уже свершилось в душевных недрах Раскольников. И неспроста Достоевский так старательно выдвинул из пубрики, битком набившей комнату, даму в трауре и даму пышно одетую. Он никогда никаких бытовых картинок не зарисовывает и, когда появляется в его романе-трагедии, романе-мистерии новое лицо, хотя бы самое, как говорится, эпизодическое, оно *духовно-органически* вырастает из всего предшествующего в повествовании. Пусть это лицо через минуту исчезнет, чтобы никогда больше не появляться и никакой роли не играть. Все равно, оно уже сделало свое дело — вошло органической частицей в целое и отразило собой нечто чрезвычайно важное в главном персонаже, в разнovidности взорванного трехом Адама.

Безымянная дама в трауре, пишущая под диктовку писмоводителя, существует сама по себе и вполне по-земному, но по отношению к Раскольникову она — отражение его несчастной совести, облекшейся в траур по убийце. И вот теперь, покончив с диктовкой, эта черная дама безмолвно уходит с тем, чтобы снова вернуться к преступнику в облике покушающейся на самоубийство Афросиньюшки, а потом под видом мещанина, похожего на бабу. Всё это клочки, обрывки, разорванные частицы совести тяжко сопрелившего Раскольника. Но кто-то должен был вселиться в него теперь взамен как бы покинувшей его совести. Перед Раскольниковым стояла пышно разодетая дама весьма сомнительного свойства. Писмоводитель мельком обратился к ней:

— «Луиза Ивановна, вы бы сели...

— Ich danke, — сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белой кружевной отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама очевидно робела того, что занимает полкомнаты, и что от нее так и несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством».

Казалось бы, что же может быть ощутимее такого образа. Но нет, это не образ, а лишь сущность его, и касаться его бесполезно — рука скользнет по воздуху. Перед нами не призрак, а совершенно явная содержательница публичного дома. И все же, несмотря на свою полноту и багрово красные пятна, эта видная женщина подобна видению. Она бесплотна, как запах ее духов, как распространившееся на полкомнаты, точно воздушный шар, ее светло-голубое, с белыми кружевами платье, — фальсификация небесных благоуханий и красоты. Будто вот-вот Луиза Ивановна растворится, испарится в воздухе вслед за своими духами. Она боится разноса за скандал, происшедший у нее в заведении прошлой ночью, но готова, при удобном случае, проявить и нахальство. Совсем, как Раскольников, до дрожи испугавшийся вызова в полицию и ободрившийся после того, как писмоводитель, взглянув на повестку, вежливо попросил его подождать. Теперь и Раскольников способен, при надобности, на наглый ответ и отпор. Но когда бы мог он почувствовать на мгновение темную сущность собственных эманаций, злых флюидов, от него исходящих, он тотчас постиг бы свою роковую неразрывную мистическую связь с подлейшей Луизой Ивановной. И напрасно было бы искать грань, отделяющую изуродованную, извра-

тившуюся душу убийцы от ее символа, от ее инобытия — от хозяйки притюна, деятельно поощряющей проституцию и тем попирающей мать землю! Прежде чем окружили Раскольникова несчастные отражения оскорбленной им матери земли, он встречается в полицейской конторе с существом, потворствующим духовной смерти и метафизически неразличимым от его преступной души. Но если бы постиг Раскольников свое безоправданное злодуховное сходство с Луизой Ивановной, разве захотел бы он тогда уничтожиться, не жить? О, жажда существования в человеке безмерно сильна, и слава за то Отцу Небесному! Позднее, идя по улице, Раскольников встретил прутку проституток, и одна из них, по имени Дуклида, сконфузившись, попросила у него шесть копеек на выпивку. Он «вынул, сколько вынулось: три пятака...

— Нет, уж это что же, — вдруг заметила одна из прутки, качая головой на Дуклиду. — Это уж я и не знаю, как это так просить! Я бы, кажется, от одной только совести провалилась...

Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка, лет тридцати, вся в синяках, с припухшею верхнею губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьезно.

«Где это», подумал Раскольников, идя далее, «где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет», — прибавил он через минуту».

Дуклида, попросив шесть копеек, сконфузилась, а рябая девка прекнула ее, сославшись на совесть. Да, человеческое достоинство обретается в нас глубже наших пороков. Это оно вселяет в нас неистребимое желание жить. Отстаивая наше достоинство, мы обнаруживаем в себе образ и подобие Бога и тем оправдываем жизнь, а она дает нам возможность спастись. Да здравствует жизнь! Чем ниже пал человек, тем упорнее надо ему цепляться за жизнь, хотя бы для того, да и главным образом для того, чтобы успеть искупить свое смертное преступление. А вечность придет сама собою, она уже здесь, с нами, ее можно почувствовать, как Раскольников, на аршине пространства.

Раскольников, стоя в полицейской конторе лицом к лицу с налетевшим на него беспричинно Ильей Петровичем, помощником квартального надзирателя, забывает на мгновение о своем преступлении и отвечает на дерзость дерзостью, как имеющий на то нравственное основание. Прав ли он, поступая так? В конечном итоге, да.

Преступления человека не могут затронуть его духовной сердцевины, они остаются на периферии души, паразитарно ее разъедая. Но даже самый страшный злодей отстаивает в себе подобие Божье. Это значит, что он еще не окончательно добыча ада. Он лишь предан мытарствам, неотличимым для него от адских состояний. Только что дерзко возражавший Илье Петровичу Раскольников тут же утратит чувство нерушимости пребывающей в нем божественной искры и отпадет от

людей и мира в свое ужасающее одиночество. «...Ему вдруг стало самому решительно всё равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту... теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце».

Такая опустошенность для сердца непереносима. Преступнику не до утрызгений совести, когда надо хоть как-нибудь зацепиться за жизнь, чтобы спастись от духовной смерти, от исчезновения в безыменной пропасти. «Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему всё вчерашнее, всё до последней подробности... Позыв был до того силен, что он уже встал с места, для исполнения. — «Не обдумать ли хоть на минуту?» — пронеслось в его голове. — «Нет, лучше не думая, и с плеч долой!».

Тут дело уже не в морали, не в думах и расчетах, не в рассуждении о гибельности зла и спасительности добра, а просто-напросто в неутолимой, в священной жажде существовать, дарованной нам Творцом. Бытие, во всей своей первородной простоте, торжествует в нас, а это и есть главное, насущное, — остальное приложится или, говоря осмотрительнее, может приложиться. Эта первожизненная благословенная простота — жажда быть — совпадает в нас с образом и подобием Бога.

Попправ в себе божественный лик, не легко вернуться к существованию. У бытия своя последовательность, свои законы, несовместимые с желаньями убийцы. Раскольников встал с места, чтобы подойти к Никодиму Фомичу и во всем сознаться. «Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова». Это были роковые для Раскольникова слова: речь шла об убийстве ростовщицы. Где же и было завязаться такому разговору, если не в полицейском участке на следующий день после обнаружения преступления! Но почему случилось это именно при Раскольникове и как раз в то самое мгновение, когда он и рот раскрыл, чтобы сложить с себя непосильное бремя злодейства?

— «...Дело ясное, дело ясное! — горячо повторил Никодим Фомич. — Нет, дело очень неясное, — скрепил Илья Петрович.

Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям. Но до дверей он не дошел...» Он упал без чувств. Жизнь оттолкнула его порыв. Из услышанного разговора плянула на преступника неумолимая явность им совершенного зла. Она придавила его и принудила к молчанию до срока.

«Когда он очнулся, то увидел, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, с желтым стаканом, наполненным желтой водой, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него».

Кому, как не полицейским чинам, полагается всех в чем-нибудь да подозревать. Все же и они недостаточно внимательны к окружающему. Конечно, приключившийся обморок не мог не возбудить подозрений, но крайне болезненный вид, но звание студента, но независимость, проявленная Раскольниковым в споре с Ильей Петровичем, все это сбивало с толку, и задержать преступника никто не догадался. Выйдя на улицу, Раскольников совсем очнулся.

«Обыск, обыск, сейчас обыск!» — повторял он про себя... — «разбойники! подозревают!» Он добежал до своей комнатухи и стал набивать карманы награбленными драгоценностями — коробками с серьгами, сафьяновыми футлярами. «Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настежь».

Он сам не знал, куда теперь идти. Нелепость совершенного зла он почувствовал еще в ту минуту, когда сидел на корточках у сундука только что им убитой старухи. Ведь даже уголовный преступник, ни о каких злых или добрых идеях не помышляющий, не может не чувствовать безобразной нелепости им учиненного кровавого зла. Поэтому и спешит он отделаться от награбленных вещей и денег, разбросать, прокупить их, как можно скорее. Приобретенные честным трудом или полученные по наследству от родных вещирастаются с человеком, становятся его органическим продолжением, освящаются пенатами, хранителями родового достояния. Присваивать себе чужое имущество даже не кровавым, а всего лишь воровским путем, уже значит покушаться на жизнь своего ближнего, на ее стройность и цельность. Награбленное, украденное никак не срastaется с вором, отказываясь стать органической частицей его существования. Отсюда нелепость, гнетущее безобразие убийства и воровства.

Стремясь как-нибудь отделаться от пропитавшегося кровью кошелька и сафьяновых футляров, Раскольников попал в положение гоголевского цирюльника, Ивана Яковлевича, тщетно пытавшегося незаметно обронить на улице подброшенный ему чертом человеческий нос, еще за день до того безмятежно красовавшийся на лице майора Ковалева. Но что кажется по первому впечатлению смешным у Гоголя, превращается у Достоевского в страшное, трагическое. То, над чем Гоголь смеялся, Достоевский оплакивал, и неспроста в «Дневнике писателя» назвал он демоном автора «Носа» и «Мертвых душ». Борясь с «тайнственным карлой» на протяжении всего своего творческого пути, Достоевский как бы не видел, не хотел видеть, что ничуть не меньше его самого знает Гоголь, к какому ужасу ведет всеобъемлющий смех. Что ад всесмешлив, познал Гоголь на собственном опыте задолго до Достоевского. Но он все надеялся человеческим смехом заморозить бесовский хохот.

Раскольников боялся погони и потому искал — «поскорей, поскорее всё выбросить». Но выбросить оказалось очень трудно.

«Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более... Но и подумать нельзя было исполнить намерение: или плоты стояли у самых сходов и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат...» Неизвестно, какой выход из положения нашел бы Раскольников, не приди ему на помощь то, что принято называть услужливым случаем. Этот случай и тут лобезно подвернулся сам собой, совсем как топор в дворницкой. Идя по улице, Раскольников «вдруг увидел налево вход во двор, оставленный совершенно глухими стенами». Там заметил он большой неотесанный камень. Приподняв его, он побросал в образовавшееся углубление все вещи, затем снова схватился за камень и навалил его на прежнее место. «Он подгрел земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно... «Все кончено! нет улики!» и он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, дол-

тим смехом, и всё смеялся, всё время, как проходил через площадь». Так от одержимости нередко смеются герои Достоевского.

Раскольников перестал смеяться, как только «ступил на К-ский бульвар, где третьего дня повстречался с тою девочкой...» Но почему его смех прекратился вдруг? Не оттого ли, что как раз на этом месте проявилось в нем доброе чувство, когда давал он породовому двадцать копеек на извозчика, чтобы увести девочку домой и тем спасти ее от предприимчивого франта? Да, конечно. Но еще и потому, что сам он тогда насмеялся над собственным добрым намерением и этим бесповоротно predetermined дальнейшую целеустремленность событий. Внутренний, никогда не погасающий в человеке свет вел его к Разумихину помимо рассудка. Но вполне сознательно не захотел он расслышать зова собственной погибающей души. В тот день Раскольников понял, что к Разумихину-то он пойдет, «но только после того». Зато не дошло, да и не могло дойти до его сознания, что тем самым совершенно неизбежно предreshалась его встреча с Свидригайловым. Но вот теперь, когда то уже состоялось, «показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двупривенный... «А чёрт возьми это все!» Тут Раскольников вспомнил вдруг, что, ведь, не только дерзко отвечал он сегодня «сквернейшему» Илье Петровичу, но еще и «мерзко лебезил» перед ним. (Ну, совсем как Луиза Ивановна!). Однако мучительные воспоминания о проявленной им подлости в разговоре с квартальным поручиком, о встрече с девочкой и усачем-городовым на К-ском бульваре были «совсем не то! совсем не то!..» Главным и единственным для него «пунктом» оказывалось другое. «Вдруг он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил...» Его сознание внезапно поразила чудовищная абсурдность, бессельность, ирреальность им содеянного зла. Ведь если сейчас хотел он бросить в воду кошелёк, даже не заглянув в него, а вместе с ним и вещи, которых он также порядком не рассмотрел, то для чего же было сознательно идти «на такое подлое, гадкое, низкое дело?» Всего же ужаснее было ясно понимать теперь, что все это он и раньше уже знал и чуть ли не «в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал... А ведь так!..»

Какую здесь страшную противоречивую сложность человеческой души обнаруживает Достоевский! Выходит, что преступник в часы преступлений, а, может быть, и раньше, уже знает, как оно бесцельно, нелепо, несостоятельно, и, зная это, совершает его. Кто же, в таком случае, заведует преступностью человека, кто наводит, толкает его на злодеяние? Для Достоевского, прошедшего через каторжный опыт и пикарданскую смерть — символ смерти физической — ответ на этот вопрос был прост и ясен: дьявол. Да, ответ-то, конечно, прост, а для чрезмерно разумных и ученых, пожалуй, еще и простоват, но не просто проходить через испытания, ведущие к такому решению многосложной задачи. Достоевский как истинный гений в своих выводах рудиментарен, и именно поэтому он никогда не бывает элементарен, подобно гуманистически настроенному прогрессисту. Когда Достоевский

мыслил, то касался существования не слегка, как большинство людей, но внедрялся в него бесстрашно, всем своим чувствительным и каждым помыслом потружился в его гущу. Ничего кроме основных, неразложимых и с первых дней творения непоколебимых реальностей из жизненной гущи не вынесешь, но миров иных доподлинно коснешься, и Достоевский коснулся их, будучи рудиментарен, как Данте.



Раскольников «шел не останавливаясь... Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им всё более и более почти с каждой минутой; это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречающемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, — гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...»

В далекие от нас «наивные» евангельские времена такое состояние человеческой души называлось одержимостью бесом. Язычники повели бы человека, охваченного нечистой силой, к колдунам, апостолы изгоняли из него бесов именем Христа, но в наши просвещенные дни многоученый представитель цивилизованного мира — доктор Зосимов будет пользоваться Раскольниковым порошками, веруя в химию пуще, чем темный мужик в Царя Небесного. Но нет никакого сомнения в том, что автор «Преступления и наказания», подобно мужику, возложил бы — да и возлагал! — все свои упования на Христа и Его апостолов. И, прийдя к Достоевскому за советом Раскольников, он направил бы его к священнику на исповедь, а потом, следуя примеру Сони Мармеладовой, уговорил бы его сознаться во всем перед Никодимом Фомичем и Ильей Петровичем.

Одержимость, казалось, поглотила Расколькова. Но вот «он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме», подумал он. «Что это, да никак я к Разумихину сам пришел! Опять та же история как тогда... А очень однако же любопытно: сам я пришел, или просто шел, да сюда зашел? Всё равно; сказал я... третьего дня... что к нему после того на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я и не могу теперь зайти...»

Кто и зачем привел Расколькова к Разумихину? Прежде всего, конечно, его собственное внутреннее «я», знающее то, чего не ведает рассудок. Свет внутренний, глубокий, не померкает в нас, хотя, тяжело сопрешая, мы и покушаемся на него. Неугасимый, неодолимый свет спасает нас от самих себя. Он-то и вел преступника к Разумихину — и не с практической целью, а за духовной опорой, в которой Раскольников так теперь нуждался, потому что никого нет в мире беспомощной убилицы.

Светоносное сердце даровано нам Творцом, оно — Бог — внутри нас, оно невообразимо вне Божества. Признать в каждом из нас реальность внутреннего «я», значит установить связь человека с Небом.

Вопрос, заданный себе Раскольниковым, поставлен им неверно, что сделано Достоевским вполне намеренно. «А очень однако же любопытно: сам я пришел или просто шел, да сюда зашел?» Но если бы он

просто, иначе говоря, *случайно* зашел сюда, то, ведь, получилось бы это далеко не просто и совсем даже в громадном городе невероятно, немислимо. Раскольников, несомненно, больше приблизился бы к истине, задав себе вопрос по другому: «сам ли я зашел сюда или привела меня к этому дому неведомая сила?» Но и так не все выходит ясно и точно. Что это за неведомая сила и как могла она привести Раскольникова куда-либо помимо участия его подспудной воли? Нет, к иному подводит нас Достоевский, умышленно не договаривая самого важного. Внутреннее «я» Раскольникова направило его к Разумихину, а это «я» в человеке неотъемлемо, неопределимо от Божества. Оно в полном взаимодействии с небесной волей осуществит сейчас встречу Раскольникова с тем, кому суждено стать проводником ангельских сил, пытающихся спасти погибающую душу убийцы.

Раскольников поднялся на пятый этаж к Разумихину. Когда он вошел в комнату и повалился на диван, Разумихин разглядел, что гость его болен. «Он стал щупать его пульс; Раскольников вырвал руку.

— Не надо, — сказал он, — я пришел... вот что: у меня уроков никаких... я хотел было... Впрочем мне совсем не надо уроков...

...Раскольников встал с дивана. Поднимаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу, сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина.

— Прощай, — сказал он вдруг, и пошел к двери.

Глубочайшая жизненность утверждения Достоевского, что душа человека — арена борьбы Бога и дьявола, показана нам здесь с совершенною наглядностью.

Светоносное ядро всего существа Раскольникова влечет его к Разумихину. Но гробный кокон греха, наглухо сковавший душу убийцы, отделил ее от всего живущего. Навязанное совести, сознательно оправданное и осуществленное злодеяние вселило в Раскольникова ненависть к живому человеческому лицу. Такое состояние и есть явный признак одержимости. Тот, кто сознательно оправдывает собственное зло, входит в общение с подлинным и абсолютным человеконенавистником и становится как бы подобным ему. Оправдание зла порождает отвращение не только к людям, но и ко всему реальному. Существо действительно злое не хочет истинного бытия, но призрачно живет фантазмагориями. Любящий людей стремится к ним, чтобы творить из них своих ближних, любовь же «вообще» к человечеству, любовь к дальним — обман и самообман, наигоршее зло. Душевное состояние сознательного «идейного» убийцы ужасно именно потому, что в отличие от уголовных преступников, он сам сознает его и видит. Никогда не померкающий свет хочет выйти из заключения, разогнать надвинувшийся мрак, но черный покров греха тверд и непроницаем, как плотно пригнанная пробовая крышка. Состояние одержимости раздирательно. И все творения Достоевского это — мучительная повесть о человеческой совести, истерзанной, попираемой грехами и преступлениями самого же человека. «Идейный» преступник неизменно предан морали, а

она сама по себе зла, потому что мертва, безлюбовна и любви не нужна. Раскольников настроен моралистически, и от всех его теорий и рассуждений до законченного моралиста Петра Верховенского — рукою подать. Однако его душа еще колеблется, и неведомо, куда она двинется бесспоротно — к Верховенскому или прочь от него.

Раскольников не вынес вблизи лица простого, честного, великодушного Разумихина. Он взял предложенные ему для перевода «немецкие листки статьи, взял три рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон.

— ...Не надо... переводов... — пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы.

— Так какого же тебе чёрта надо? — закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться.

— Эй, ты! где ты живешь?

Ответа не последовало.

— Ну так чёр-р-рт с тобой!..»

Не знал добрейший Разумихин, насколько верно, хотя и с запозданием, попадало в цель его досадливое пожелание!

Раскольникову пришлось вполне очнуться на Николаевском мосту: «Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежепал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех».

Случайно ли кучер хлестнул Раскольникова кнутом? По Достоевскому, ничего в жизни случайного не бывает, и он тотчас же это показывает:

«Но в ту минуту, как он (Раскольников. — Г. М.) стоял у перил и всё еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха, в головке и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил».

Конечно, нет ничего особенного в том, что жалостливая купчиха, представительница русского простолюдуя, столь ценимого и любимого Достоевским, раскошелялась при таких горьких обстоятельствах на целый двугривенный. Пушкинский Ленский совсем по пустякам, как и подобает романтику, над жизнью «голову ломал, и чудеса подозревал». И надо как раз не быть Ленским, чтобы ощутить действительное присутствие в мире начала таинственного и чудесного. В творениях Достоевского всему, происходящему в плане явном, обыденном, неизменно сопутствует и соответствует невидимое, хотя сроднем ощущимое, дыхание тайны. Все просто и по-земному вполне объяснимо. Доб-

рые чувства, неокончательно заглушенные в Раскольникове, побуждают его пожертвовать двадцать копеек на спасение девочки от развратника. Но зло крепко запнелось в душе Раскольникова, и он сам туп же, цинично и злобно высмеяв свой добрый порыв, отрекается от него. А передаваемые из рук в руки эти жертвенные двадцать копеек пошли гулять по свету и вот теперь, собравшись в единый двугривенный, снова достались тому, кто их пожертвовал, вернулись к нему под видом милостыни, поданной купчихой от лица святой Руси, во имя Христа. Повторяю еще и еще: для Достоевского, все происходящее в жизни есть лишь отражение того, что успело свершиться в наших душевных глубинах. Раскольников убил, он внутренне перед собственной совестью — оком Бога Живого, уже арестант, каторжник. Оттого кнут проезжего кучера как бы случайно шельмует его, а сердобольная купчиха, сама того не ведая, подает двугривенный каторжнику, иными словами, «несчастненькому», по понятию русских простолюдинов. Подспудный, мистериальный ход бытия снова и снова оказывается мудрее наших позитивных рассуждений. Дальше же случилось то, чего я под несколько иным углом зрения коснулся в предыдущей главе: произошла решительная страшная смычка идейного убийцы с духом глухим и немым. Здесь, прежде чем разбираться во всем последовавшем тогда же после удара кнута и поданной милостыни, необходимо привести слова самого Достоевского, на этот раз не пропуская ничего.

«Он (Раскольников. — Г. М.) зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотреть на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего возвращаясь домой, — случалось ему, может быть, раз сто останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему упрямому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он и про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило прудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам,

и всё, всё... *Казалось, он улетал куда-то вверх, и всё исчезало в глазах его...*» (Выделено мною. — Г. М.).

Я привел этот отрывок не для того, чтобы разобраться полностью в его многосмысленности и многосложности. Для такого разбора понадобилось бы написать целую книгу. Замечу лишь, что все сказанное здесь Достоевским обретается в самом центре его творчества, возникшего из глубочайших духовных недр имперского великодержавного Петербурга, во многом жуткого порода, затаявшего в себе роковую, гибельно прозящую двойственность. Тревожную двойственность великого города первым из всех ощутил Пушкин в «Медном всаднике», и тревога поэта о прядущих судьбах России раз и навсегда передалась Достоевскому. Очень сложна и почти невыразима мистическая связь стоящего на мосту Раскольникова с героем «Медного всадника», Евгением, но эта связь ощутима неотступно, мучительно. Только у Пушкина действие развивается ночью, тотчас после наводнения, символически предвещающего в поэме неведомо откуда надвигающуюся всероссийскую катастрофу. Ночная угроза в пушкинской поэме выходит в «Преступлении и наказании» наружу, на столь редкий для Петербурга солнечный свет. В «Медном всаднике» противопоставлены друг другу две силы, одна из них демоническая, разрушительная, другая — державно созидательная. Но, несмотря на противопоставленность, они в своем единоборстве еще не разделимы.

То, что казалось Раскольникову загадочным, Достоевским было разгадано. Не сразу, конечно. Невольно представляешь себе молодого юнкера Достоевского, гуляющего в праздники по улицам столицы. Ему также часто доводилось задерживаться на Н-ском мосту, на том самом месте, где позднее «раз сто» останавливался Раскольников. Постигал ли юный юнкер истинное значение встававшей перед ним «великолепной панорамы»? Бесспорно, нет. Ведь он еще только вынашивал в себе тогда своего пероя и в какой-то мере, пусть всего лишь мечтательно, был подобен ему. Для молодого Достоевского, как для Раскольникова, «духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина» и «необъяснимым холодом веяло» от нее. Но купол собора сиял в солнечном блеске и жил собственной сокровенной жизнью, никакому преху — ни тайному, ни явному — непричастный. Кто же победит — воссиявшая над Россией христианская церковь или дух немой и глухой, в наши дни заговоривший во всеулышание? Казалось, неразъединимые в «Медном всаднике» силы расступились, разошлись, чтобы снова сойтись для последней всерешающей схватки. И не диво, что молодой Достоевский, как Раскольников, учуял в «пышной картине» одну ее демоничность: в те годы вселялся в него великий соблазн, приведший его к нечаевщине, к подпольным заговорщикам, к разливанному морю атеистических разглагольствований Белинского и лишь потом, милостью Божьей, к спасительному стоянию у смертного столба. Только после каторги и солдатчины, после благодатного попружения в народную российскую гущу исцелился Достоевский — победил в себе бесовский раскол. С помощью Неба, он *духовно* воссоздал, преобразил плотскую пуповину, соединявшую его при рождении с материнской утробой. Эта одухотворенная, плотскими глазами невидимая, нерушимая нить соединила его с матерью землей, с русской землей и, наконец, с Российской Нацией — с отбором лучших в государстве людей. А под словом *Нация* надо ра-

зуметь не народное биологическое варевое, попеременно шовинистическое и мятежное, но соборное Содружество избранных людей, творчески осуществляющих в жизни Богом ниспосланную мистическую идею.

Преображенную страданием одухотворенную нить, соединившую его с родиной и отечеством, а через них с миром и вселенной, Достоевский свято охранял до последнего своего вздоха. Он чувствовал и создавал ее небесную ценность.

Жертвенные двадцать копеек вернулись к Раскольникову в виде двутривенного, всунутого ему — «несчастненькому» — в руку ради Христа сердобольной купчихой: бытие из тайников своих протягивало убийце, под видом двутривенного, спасительную нить. Но уже чувствовал Раскольников, что «улетал куда-то вверх, и всё исчезало в глазах его...» То было черное обманное вознесение. Свое невольное движение принял Раскольников за полет и «вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двутривенный». Эта маленькая серебряная монетка стала теперь намного тяжелее Раскольникова и мешала его злому вознесению. А сам он был уже взвешен на нездешних весах и найден очень легким. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. *Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту*». (Выделено мною. — Г. М.).

Раскольников добровольно повернулся спиной к сияющему куполу собора и встал лицом к духу немому и глухому.

Вещи, предметы, нас окружающие, принято считать неодушевленными. Но я уже говорил, что в творчестве Достоевского они живут, пронизанные духовными и злодуховными токами, исходящими от людей и невидимых духов. Вещи суть символы: они отражают в своих идиосинкретических ликах наши внутренние светлые и темные стремления. Вещи неизменно обличают нас.

Когда Раскольников пристально глядел на монетку, он злостно прощался с людьми и миром, уходя в свой пробный кокон; он сам вполне сознательно обрезал духовную нить, протянутую ему Богом и матерью землей. Бросая в воду двутривенный, он как бы топил самого себя. Иногда какой-нибудь жест, движение руки, поворот головы человека разверзали перед Достоевским никем до него неизведанные глубины. Вспомним, например, как падала убитая Раскольниковым ростовщица. Под ударом топора, обухом проломившего ей череп, «она, — говорит Достоевский, — ...вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Этот *заклад* был всего-навсего обернутой в бумагу деревянной дощечкой с приложенной к ней тоненькой железной пластинкой. Весь свой век собирать деньги, драгоценности, обездоливая бедных, видеть в этом единственную цель существования, и умереть, сжимая в протянутой к небу руке, вместо обоготворенного золота, дрянную деревяшку — призрачный символ собственных преходящих вожделений. Какая дьявольская ирония, самым чёртом подстроенная каверза!

Раскольников вернулся домой уже к вечеру. «Где и как шел обрательно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа *как загнанная лошадь* (выделено мною. — Г. М.), он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...»

Сновидение о замученной лошади раскрывало теперь свою страшную символику. Раскольников не внял предупреждению свыше и, став убийцей, затерзал собственную душу, сам превратился в затнанную лошадь. Дух глухой и немой обманул свою жертву и вознес ее лишь для того, чтобы сбросить с высоты и обречь на распад и мытарства. Забытие не принесло с собой успокоения Раскольникову. Тогда-то и померещилось убийце, что избивают на лестнице его квартирную хозяйку, что бьет ее Илья Петрович, помощник квартального надзирателя, что все жильцы со всех этажей сбегаются на вопли и крики и что вот, сейчас, преступник будет изобличен. Но, как было уже мною упомянуто, не квартирную хозяйку избивали на лестнице, а немедленно вслед за черным полетом разлагалась, распадалась душа самого Раскольникова; бесовские силы, казалось, одолевали его окончательно. Но в наступившей темноте вдруг открылась дверь, и с тарелкой супа и горячей свечой в руках появилась Настасья. Она вошла одновременно и в комнату и в душу погибающего человека: борьба Бога и дьявола разгоралась. А в Раскольникове все померкло, уходило, падало куда-то. В бреду и лихорадке он лишился сознания.



Беспамятство временами сменялось для Раскольникова бредом и полусознанием. «Многое он потом припомнил. Настасью он часто помнил возле себя», — говорит Достоевский.

Замечательно, что как раз при присутствии Настасьи ощущал в полусознании Раскольников. Он и в бредовом хождении по мукам чувствовал, что его связь с матерью землей, с первичной основой существования, продолжается, что чья-то благословенная рука пытается восстановить духовную пуповину, злостно и беспощадно, как ножницами, разрезанную им в тот самый миг, когда, стоя на мосту, он с размаха бросил в воду спасительный двугривенный. Сердцем чувствовал Раскольников, что близость к Настасье — символ и залог его еще возможного спасения. Другого человека, бывшего в комнате, «очень будто бы ему знакомого», он, хотя и различал в полусознание, но никак не мог догадаться, кто же это именно «и тосковал об этом, даже и плакал». Он не мог узнать его, потому что не послушался зова собственного внутреннего «я» в тот день, когда встретился с пьяной девочкой на К-ском бульваре. Влекомый тайной волей к Разумихину, он не дошел до него тогда, не захотел дойти. Раскольников «знал бессознательно», что его злые умыслы и решения не выдержат встречи с мужественной силой, что свет рассеет тьму, и задуманное желанное преступление не совершится. Все же, хоть и поздно, пришлось Раскольникову искать опоры у простоты и прямодушия. Однако, укрывая от людей свое злодеяние, он не мог ни на кого духовно опереться, потому что как деньги и вещи, так и чужую доброту и внимание воровать нельзя. Зато любовь и добрая сила сами приходят на помощь падшему, они слепо и властно ищут себе применения в жизни. Таков Божественный закон, ниспосланный на землю. Разумихин заметил, что приятель его болен, и когда тот ушел от него, пустился тотчас разыскивать этого «спящего сумасброда», навел справку в адресном столе и теперь ухаживал за больным. Затнанное, придавленное преступлением сердце Раскольникова, погружен-

ного в бред, стремилось к Разумихину, но утвердившееся во зле сознание убийцы отказывалось признать благодетеля. А сердце тосковало и плакало. Раскольников хотел обмануть, опутать его злыми теориями, но оно по-прежнему своим neodолжимым светом отгоняло от себя надвигавшийся мрак и оставалось непричастным к темным умыслам. И когда было бы дано Раскольникову, покайсявшись, постичь собственное душевное состояние, для него прозвучали бы откровением жалобные слова поэта: «Я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло». Сердце первоородов в нас и старше нашего сознания, в конечном же итоге, оно разоблачает любые хитросплетения ума, только для этого ему надобен длительный срок. Подобно Богу, сердце правду видит, да не скоро скажет, добывая истину не пустыми абстрактными рассуждениями, не мертвой готовой моралью, но непосредственным жизненным опытом.

Лежа в бреду, Раскольников чувствовал присутствие Настасьи и даже узнавал ее, чувствовал, не узнавая, и Разумихина. «Но об том, — об том он совершенно забыл; зато ежеминутно помнил, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать, — терзался, мучился припоминая, стонал, выпадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх».

То единственное, страшное то проникало в недостижимую рассудком глубину его существа, перемалывало, перерабатывало его на неведомый нечеловеческий лад. Убивший физически кого-либо, покусается духовно на самого себя. И вот теперь ужасное то подвергало бредящего Раскольникова репетиции inferнального перерождения, кощунственного «крещения» во вторую, окончательную смерть.

Замечательнее всего, что и впоследствии, уже в трезвом состоянии ума, Раскольников как бы не помнил о Лизавете; свою кровавую расправу с ростовщицей припоминал постоянно, а о Лизавете забывал. Почему? Основная причина такого кажущегося забвения кроется в провиденциальной встрече Раскольникова с Соней Мармеладовой, в его общении с нею и в ее миссии по отношению к нему. Соня — крестовая сестра Лизаветы, избранная в посредницы смиренной жертвой. Соня — живой проводник на земле благотворных лучей всепрощения, исходящих от безвинно казненной к палачу. Соня заслоняет собой от преступника его ужасающее преступление, память о котором испепелила бы Раскольникова до времени. Небесная правда, осуждающая или благословляющая нас, равно дается нам по каплям. Так постепенно преобразяет она сосуд скудельный, предохраняя его от внезапного разрушения, от неожиданных и губительных вспышек нежданного пламени. Земное существование убитой Лизаветы продолжается для Раскольникова в образе Сони. Признавшись Соне в своем преступлении, он может, пусть намного позднее, покаяться в нем и тем восстановить в себе уже *просветленную* память о Лизавете. Человеческая память чудотворна, она увековечивает умерших.

Соня по отношению к Раскольникову есть инобытие, живой символ разбойно умерщвленной Лизаветы. В своем месте я надеюсь показать это с неопровержимой ясностью, пока же приведу только позитивному уму непонятные, странные слова, с которыми обратился Раскольников к Соне, обещая сказать ей, кто убил Лизавету.

«— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал».

Что значат такие слова? Как мог он знать, что убьет Лизавету, по внешнему ходу событий лишь *случайно* подвернувшуюся под лезвие топора? Но ведь охватило Раскольниковова, при встрече с Лизаветой на Сенной площади, глубочайшее изумление, хотя, по видимости, ничего необычайного не было в этой встрече. Ведь открылся же ему тогда на мгновение неуманальный лик его будущей жертвы.

Я неоднократно упоминал о том, что для Достоевского подлинно реальное свершается внутри нас и лишь потом, часто через годы, проектируется в мире явлений. Все происходящее в душевной глубине ведомо нашему внутреннему «я», но смутно доходит до наших внешних чувств и сознания, пока не осуществится вовне.

Еще до роковой встречи на Сенной, сидя в распивочной и слушая горестный рассказ Мармеладова о том, как «единородная дочь» этого несчастного пьяницы, ради прокормления голодной семьи, по желтому билету пошла, Раскольников уже *знал бессознательно*, что убьет не только старуху, но и Лизавету, и что возложит потом бремя своего смертного греха на слабые Сонины плечи. Беспомощный перед внутренними свершениями внешний рассудок воспринимает жизнь по частям, в раздроблении. Для внутреннего «я» нет никаких «прежде» и «после», но есть одно недробимое во времени «сейчас». Все порешенное в душевных глубинах человека встает перед его тайным, внерассудочным знанием как нечто цельное, сразу и неразрывно со всеми своими предпосылками, выводами и последствиями. Мы в собственных глубинах заранее знаем, чего хотим, чего захотим и к чему то или иное хождение нас приведет. Что это именно так, Достоевский знал отлично. А для того, кто не хочет этого знать, ничего не остается на свете кроме, по его убеждению, случайно возникающих и случайно между собой сцепляющихся случайностей.

Все в Раскольникове было натянуто до крайних пределов, когда признавался он Соне в своем злодеянии. В такие мгновения человек становится сам себе равен, иначе говоря, внешнее совпадает в нем с внутренним, и тогда его сознанию открывается то, что он знал всего лишь бессознательно. Но мы сами всегда отгоняем от себя духовные зовы, в душе возникающие. Они смутно доходят до нас, и мы тому рады, хотя и знаем, что в них, выражаясь словами Тютчева, «Что-то стонет, что-то бьется, как в узах заключенный дух». Эти узы — наши чисто психические душевные состояния и наше физическое тело. В плену у них неизменно обретаются все художники душевно-телесного склада, да и все мы, поскольку не хотим или не можем поверить в существование нашего собственного *духовного* тела.

Все герои Достоевского духовны. Даже самые ничтожные из них не душевно-телесны, а злодуховны, как, например, Лужин, разъедаемый себялюбием и похотью власти. Раскольников одержим идеей, пусть злой и низкой, убийственно похожей на Лужинскую. Преданность идее или одержимость ею, по Достоевскому, — верный признак духовности или злодуховности. Но не следует смешивать того, кто поглощен идеей, с идеалистом, с бледным мечтателем, живущим призраками идеализма. Для Достоевского, идеализм всегда ирреален и неиз-

бежно ведет ко злу. Идеалист не ведает ни высших, ни низших реальностей. Он не видит зла, и потому оно рано или поздно поработщает его. Герои Достоевского, прошедшие в ранней юности через идеализм, с годами становятся носителями злых идей, как Раскольников, Петр Верховенский, Ставрогин, Иван Карамазов. Но бывает, что человек, с юных лет охваченный идеализмом, навсегда застывает в этом призрачном состоянии, продолжает в зрелом возрасте жить в иллюзорном мире. У Достоевского лучшим примером такого духовного недоросля служит Степан Трофимович Верховенский. Непосредственно он никому не причиняет вреда, но своей, ни к чему не приуроченной отвлеченно-либеральной, гуманной болтовней содействует злу. Кратко говоря, идеализм пренаивнейшим и преневиннейшим образом помогает водворению большевизма. От либерала-идеалиста Степана Трофимовича Верховенского — комической жизненной помеси Герцена с Грановским — родится его сын Петр, прототип законченного большевика. Поразительна по глубине оговорка, сделанная при этом Достоевским: Петр Верховенский не то действительно сын своего отца — идеалиста, не то он родился всего-навсего от жены Степана Трофимовича и какого-то кистати подвергнувшегося, приبلудного полячка. Словом, невозможно в точности определить, каким образом туманный идеализм порождает зло: непосредственно ли из себя, так сказать, закономерно и на брачном ложе, или же только преступным попустительством, презренным слабоволием и жалким слабосилием. Во всяком случае, Достоевский ясно видел, что чистый идеализм во всех своих проявлениях, будь то в философии, литературе, науке или в личной, семейной и, наконец, в государственной жизни, неминуемо приводит ко злу. Поразительнее же всего, что и тут делает оговорку Достоевский. Оказывается, юношеский идеализм не всегда только иллюзорен, ранние, от жизни отрешенные мечты не всегда только бледны и призрачны. Бывает и в них что-то нездешнее, приносимое с собою младенцем из иных миров, и навсегда сохраняемое сердцем, как ангельская песня, услышанная душою Лермонтова еще до его земного рождения.

В разговоре с сестрою и матерью Раскольников упоминает мельком о своей ранней юношеской любви к хозяйкиной дочери, «к дурнушке, к девочке совсем хворой» и, как бы отмахиваясь от призрака, добавляет: «Так, какой-то бред весенний был...» Да, бледная мечта, невыплотившаяся преза... Но Дуня с одушевлением возражает: «Нет, тут не один бред весенний...»

Достоевский нередко высказывает собственные заветные мысли и думы устами своих героев, и Дуниному возражению он несомненно сочувствует. Конечно, Шиллера необходимо от времени до времени «огораживать» и в себе и в других; нельзя позволять ему чрезмерно идеальничать и безраздельно царить в человеческих душах. И все же, Достоевский хорошо знал, что Шиллер живуч, а порою и жизненен. Ведь вопрос же из идеалистического Вертера не кто иной, как Гете, и питался же в молодости сам автор «Преступления и наказания» сентиментами Жорж Занд и утопиями Руссо. Достоевский знал, что любая, хотя бы самая глубокая мысль должна быть опрокинута во имя неизменно ускользающей истины. Он никогда не забывал, что по неизмерным пространствам несутся сонмы звезд, что Бог всегда уходит, и что мы должны за Ним идти. Достоевский весь в движении, в порыве, в стрем-

лении. Он живет не установившейся формой, а безостановочной перестройкой. И враждебны ему далеко не художественные советы Толстого вернуться вспять к пещерным временам, и призывы Тургенева к несуществующему прогрессу. Не по внешним, но по внутренним свободным путям проносятся мысли и чувствования Достоевского и, как дух, одновременно возникают и тут и там. Для Достоевского жизнь — неисчерпаемое чудо, она невероятна, как дыхание, дарованное каждому из нас Творцом. Бытие в целом мудрее нас, в нем непрестанно вершится то, что кажется человеческому уму невозможным, несбыточным, нелепым. И вот склоняются над Евангелием, над чудом воскрешения Лазаря убийца и блудница, по высшему соизволению и сверхчеловеческим усилием собственной тайной воли повстречавшиеся друг с другом в бездонном море бытия.

Раскольников порвал живительную нить, соединявшую его с людьми и миром, и духовно омертвел. Но мир и люди с ним порывать не хотят. Они добрее, мудрее и глубже его. Жизненные итоги подводит не злое или доброе решение отдельного человека и не бессмысленный людской коллектив, но накопившая в себе силу любви соборная всечеловеческая и всемирная воля. Она живет зараженного смертным грехом человека, возвращает его в существование и терпеливо ждет того часа, когда он, наконец, покается.

Лишь на четвертый день пришел в себя Раскольников. Кого же и что прежде всего увидел он, очнувшись после своего злого вознесения и падения в пропасть беспamięтства? «Произошло это утром, в десять часов. В этот час утра, в ясные дни, солнце всегда длинною полосой проходило по его правой стене и освещало угол подле двери. У постели его стояла Настасья и еще один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане, с бородкой, и с виду походил на артельщика».

Убийцу, пробудившегося для новых хождений по искупительным мукам, милостиво встречала первичная основа существования: луч солнца, деревенская баба и парень-артельщик от некоего купца Вахрушина. Через деловую контору этого купца Пульхерия Александровна пересылала своему блудному сыну тридцать пять рублей, заработанных ею тяжким трудом. Первичное, первородное, благодатное снова протягивало Раскольникову им оборванную нить.

«Из полуотворенной двери выглядывала хозяйка. Раскольников приподнялся.

— Это кто, Настасья? — спросил он, указывая на парня.

— Ишь ведь, очнулся! — сказала она.

— Очнулся, — отозвался артельщик. Догадавшись, что он очнулся, хозяйка, поглядывавшая из дверей, тотчас же притворила их и спряталась. Она и всегда была застенчива... Но в эту минуту опять отворилась дверь настежь и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумихин.

— Экая морская каюта, — закричал он входя, — всегда лбом стучаюсь; тоже ведь квартирой называется! А ты, брат, очнулся?»

Если отнестись к этой сцене поверхностно, можно, пожалуй, принять ее за бытовую. Но нет! Есть в ней внутренний порыв и движение, первобытное, бессмертное ликование жизни, великодушно идущей навстречу тому, кто ее только что злодейски похитил. Она снова прини-

мала преступника в свои нежные и суровые, жестокие и милосердные объятия. Начинались для Раскольникова новые, еще неиспытанные мытарства, лишь изредка, внезапно и мимолетно, прерываемые веяньем ангельских крыл.

(Продолжение следует)

Зло и отрицание

(Литературно-философский экскурс)

В мировой литературе начала зла и отрицания неизменно связываются одно с другим: зло всегда отрицает, отрицание всегда является злом.

Мы остановимся здесь на двух воплощениях этих начал, — на «Мефистофеле» Гёте (первой части трагедии «Фауст») и на «чёрте» Ивана Карамазова у Достоевского, гениально раскрывающих связь зла и отрицания.

Мефистофель сам называет себя духом зла и отрицания; оплодотворение этих начал звучит в его словах как сама собою разумеющаяся истина:

«...я дух, который вечно отрицает,—
так все, что вы считаете грехом,
ничтожеством¹⁾ — короче, злом —
оно и есть мое начало»²⁾.

«Началом» Мефистофеля является, таким образом, «зло», каковое состоит в «отрицании» и в «разрушении», называемых людьми «грехом».

Такова его метафизическая самохарактеристика; о том же свидетельствует и самое его имя³⁾; на это же намекает и Фауст в реплике:

«...у вас, друзья, и содержание
прочесть легко бывает из названья,
коль ясно значитесь вы в нем
губителем, мушиным богом⁴⁾ и лжецом».

¹⁾ В подлиннике — «разрушением».

²⁾ Все цитаты «Фауста» сделаны по переводу кн. Д. Н. Цертелева (Москва, 1899), — наиболее точному в философском отношении; там, где оттенок мысли подлинника искажается русским стихотворным текстом, сделаны особые выноски.

³⁾ Имя «Мефистофель» состоит из двух еврейских слов: 1. «мефиц» (причастие от глагола «фуц» — дробить, рассеивать, распространять) — означающее активное действие в отношении других объектов; 2. «тафэл» — означающее: неприличие, нечестие, безвкушие. Таким образом, сочетание «Мефиц-Тафэл» означает «пропагандист нечестия», «распространитель неприличия» или, как, по-видимому, вольно переводит Гёте, — «Губитель и Лжец».

⁴⁾ «Мушиный бог» по-еврейски: «Вельзебуб» (Вездьзевул).

На что же направлено отрицание Мефистофеля? Как приступает он к своей задаче «губить — отрицая»?

Здесь уместно, первым делом, отметить ту откровенность, с которой Мефистофель говорит о себе и о своей природе; он не старается обмануть Фауста, прикидываясь добрым или прекрасным, не надевает на себя маски ни Люцифера, ни сверхчеловека⁵⁾. Наоборот, оставляя в стороне всякие впечатления и «видимости», он обращается непосредственно к разуму Фауста и предстоит ему, вследствие этого, как чистая логическая мысль, как внутренняя закономерность философствующего ума. Этим устраняется всякий «психологизм»: предмет рассуждений сразу же переносится в план онтологии и гносеологии; и здесь — в наиболее глубоких планах бытия — обнаруживается та основная ложь, которую Мефистофель направляет на самую суть мироздания. А именно: он утверждает, что

- 1) началом всего была тьма;
- 2) эта тьма родила свет;
- 3) основное качество, приписываемое свету (то есть бытию), — пространство⁶⁾ — на самом деле принадлежит «матери ночи»;
- 4) всё существующее (т. е. возникшее) достойно уничтожения;
- 5) было бы лучше, если бы оно вообще не возникало (не существовало);
- 6) этим обосновывается и оправдывается его собственная деятельность, направленная на отрицание и на разрушение, каковые по существу являются возвращением мира к своему первоначальному состоянию.

Вся эта философия высказывается им с крайней лапидарностью в следующих словах:

«...я часть того, что всем когда-то было,
я часть той тьмы, что свет себе родила,
тот гордый свет, что мать свою гнетет
и отбивает место и почет».

И выше:

«...я дух, который вечно отрицает
и прав: затем, что всё, что возникает,
опять должно погибнуть поделом,
а потому напрасно возникало».

Не трудно заметить, что все эти положения являются прямым отрицанием богооткровенных истин христианской философии и составляют в своей совокупности своеобразный свод «черной догмы», являющийся как бы философским символом веры демонизма.

Рассмотрим их более подробно и по отдельности.

⁵⁾ Образ странствующего схоласта есть не «маска», а только «язык», то есть то общее, обычное, привычное, что является для Фауста наиболее естественным и понятным.

⁶⁾ Пространство понимается здесь в смысле Кантовой трансцендентальной эстетики, то есть, как общая форма (или мыслимое вмещающее) всего реального бытия.

1. (началом всего была тьма). Христианство исповедует, что началом всего являлся свет; в трансцендентном смысле: Творец мира — Бог есть «свет, и нет в Нем никакой тьмы» (от Иоанна, 1,5); в имманентном смысле: *первым* актом творения является божественное повеление «да будет свет» (Быт. 1,3). Сообразно этому, тьма может быть только началом вторичным; она есть отпадение от Бога («тьма крошечная», то есть место, находящееся вне, «кроме» Божественного бытия) или уход, удаление от света («...свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». От Иоанна, III, 19). В противоположность этому Мефистофель утверждает, что «та часть, которая когда-то была всем», есть тьма, то есть, что тьма есть начало, основание, принцип бытия.

Если бы эта часть могла быть истолкована как то, из чего все возникло, то есть первоматерия бытия, как Платонов «мэон», или как первоустроенный хаос, лежащий в основе мироздания, то Мефистофель был бы прав. И в книге Бытия, до создания света, «земля была безвидна и пуста и тьма над бездной» (1,2). Однако, дальнейшие слова Мефистофеля доказывают, что под этой тьмою он понимает отнюдь не материю твари, но нечто несравненно большее, а именно то *изначальное* бытие, которое в христианской философии составляет существенную принадлежность Божества и мыслится как принадлежащее только Ему. Это истолкование тьмы дается Мефистофелем во втором пункте (по нашему счету) его философеми.

2. (тьма родила свет). «Тьма рождает себе (для себя) свет»; этим положением Мефистофель, во-первых, отрицает акт творения, а следовательно и Творца (ибо не может быть творения без Творца), и во-вторых, утверждает своеобразную черную эманацию посредством непонятного и противоестественного рождения света от тьмы.

Отрицание Творца не есть еще отрицание Бога. Бога Мефистофель признает и неоднократно говорит о Нем в насмешливом и уничижительном тоне; таковы его слова в «Прологе в себе», таково же его язвительное замечание о божественном всеблаженстве, которое истолковывается им как самодовольство («Себя Он видит в вечном блеске, нас погружает Он во тьму»). Но он отвергает, что Бог был Творцом и Промыслителем мира; он отнимает у Бога Его божественность, клеветает на Него, превращая Его в существо вторичного порядка, очевидно также рожденное тьмою и имеющее погибнуть вместе с миром. Этим отрицается возможность религии как связи человека со своим Творцом, с Существом безначальным и абсолютным; реальная же религиозность низводится этим до ступени суеверия, ибо вера, принимающая за Бога того, кто не есть Бог, есть самообман и фантазма.

Рождение света тьмою является наиболее уязвимой точкой метафизики Мефистофеля. Ибо тьма как небытие, как ничто, не может ничего родить (ибо ее в собственном смысле вообще нет); поэтому положение это могло бы быть истолковано только в том смысле, что мир, возникший из небытия, также реально не существует, что его нет, что он только кажется, мерещится. В этом истолковании метафизика Мефистофеля оборачивается иллюзионизмом, столь родственным трансцендентальному идеализму, в котором нет ни трансцендентного объективного мира, ни трансцендентного мыслящего субъекта, но только

«никто мыслящее ничто»... (см. характеристику трансцендентального идеализма С. Н. Булгакова в его «Философии хозяйства», тл. II, § 52).

Эта меоническая метафизика также является прямым отрицанием христианства, поскольку христианская космология утверждает мир как Божие творение, как реальность, как бытие. Однако метафизика Мефистофеля (подобно большинству систем этого типа) не выдерживает линии последовательного имманентизма и не может отказать миру в некоей бытийственности, которая существует вопреки всем его рассуждениям и всей его разрушительной работе. Он сам в этом создается:

То нечто — этот глупый мир со всем,
 Что в нем стоит перед ничем,
 Как ни пытался я его сломать,
 Его ничем еще не мог донять.
 Грозой, потопом и пожаром —
 Спокойно все, — мои труды пропали даром.
 Зверей же и людей проклятый род —
 Так с ним совсем терпенья нет и сил:
 Уж сколько, сколько я похоронил,
 А в жилах кровь все сызнова течет —
 Взбеситься можно; и всегда
 Земля и воздух, и вода —
 Все носит семена, — они во всем:
 В холодном, теплом, мокром и сухом...

Смысл всей этой тирады может быть выражен одним словом Иоанна Златоустого: «жизнь жительствоет».

Жизнь жительствоет, потому что она — не сон, не марево, не мечта, а реальная причастность божественному бытию, реальное благо, дарованное твари Творцом. Жизнь жительствоет, потому что слова Творца о продолжении жизни:

«да произрастит земля зелень...»
 «да произведет вода пресмыкающихся...»
 «да произведет земля скотов и гадов и зверей...»
 «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю...»

неотменимы и не могут быть аннулированы никакой разрушительной силой.

Жизнь жительствоет, потому что сила, вложенная Творцом в Свое творение, есть изначальная сила бытия, от которой берет свое начало все производное, все вторичное, в том числе и само отрицание.

Это с негодованием признает сам Мефистофель, и это свидетельство о собственном бессилии есть та трещина в его метафизике, вследствие которой она не может сохранить своей цельности и распадается на множество клеветнических фрагментов, о которых Фауст глубоко-мысленно замечает:

«...Ты не можешь уничтожить великого
 И начинаешь с пустяков...
 Вечно живой, вечно творящей природе
 Ты бессильно показываешь дьявольский кулак...»

Не имея ни сил, ни возможности реально уничтожить бытие, Мефистофель принужден довольствоваться клеветой, каковая по своей природе является интеллектуальным разрушением его идеального образа. Так онтологический план заменяется гносеологическим, трансцендентный порядок — имманентным; вместо уничтожения, появляется отрицание; вместо разрушения — критика. Но по существу это одно и то же, ибо распадение идеального образа в мыслящем сознании не менее опасно и эффективно для субъекта мысли, чем уничтожение самой вещи.

3. (основное качество света — пространство на самом деле принадлежит «матери ночи»). Оклеветав Творца, Мефистофель клеветает и на творение, изображая его не таким, каково оно есть на самом деле. Сначала он дает ложное истолкование его сущности, а затем отрицает его смысл и цель.

Первая тема включает в себя своеобразную метафизику пространства и света; вторая — тезис космического пессимизма, непосредственно переходящий в мораль осуждения и разрушения всего существующего.

«Свет, рожденный тьмою, присваивает себе древний чин матери ночи — пространство».

«...Но тщетно все — как он ни бьется сам,
Прикован вечно лишь к телам:
От тел исходит, к ним идет,
Им прелесть придает лучами,
Ему тела же запраждают ход,
Надеюсь и погибнет он с телами».

В этих несколько темных словах необходимо различать следующие мысли:

Свет присваивает себе пространство (то есть реальное бытие), которое на самом деле принадлежит матери ночи.

Это ему не удастся, потому что он сам зависит от тел (т. е. от пространственных образов) и связан с ними:

своим происхождением (от тел исходит);
своим существованием (прикован к телам);
своею целью и смыслом (придает прелесть телам);
своим бытием (ограничен телами).

Таким образом свет есть не основа мира, не первореальность, а функция вещей, условие видимости телесного мира; он возникает, существует и падает вместе с ними. Что же касается самого мира (который в конкретной форме является совокупностью вещей, тел, а в общей форме мыслится как пространство), то он есть только принадлежность ночи, то есть тьмы, то есть небытия...

Таким образом свет ниспадает на степень даже не вторичного, а третичного начала: он лишается всякой субстанциальности и деградирует до «чина», то есть до простого условия видения, различения и украшения миражей... Можно с уверенностью утверждать, что Гёте не был знаком с учением исихастов о несотворенном Фаворском све-

те, — учением, подводящим логический итог всем световидениям христианской жизни; тем более удивительным является его чутье, вложившее в уста Мефистофеля отрицание наиболее существенного и основного положения христианской метафизики. Ибо если свет есть только условие различения иллюзий, то какой смысл могут иметь слова о том, что «Бог во свете живет неприступном, которого никто из человеков не видел и видеть не может», (1 Тим. VI, 16) и все места Писания, говорящие о свете как об основной и божественной реальности...

Но если неверной и клеветнической является теория света Мефистофеля, то не менее лживой является его теория небытийственности пространства. Идея последнего естественно противопоставляется живому органическому космосу, в котором тьма есть не сущность, но состояние, не принцип существования, а момент жизни. Здесь мы касаемся основной темы трансцендентального идеализма, поскольку последний подменяет живой Божий мир совокупностью трансцендентальных схем; «радость домов и лесов и морей»⁷⁾ — закономерностями категориальных синтезов.

Взор убегает вдаль весной — лазоревые там высоты...

Но Критики передо мной — их кожаные переплеты...

Вдали иного бытия звездоочитые убранства...

И вздрогнув вспоминаю я — об иллюзорности пространства...⁸⁾

Это восприятие мира как пространства, пустого по своему содержанию и трансцендентального (то есть, в конечном итоге, иллюзорного) по своей сущности (ибо оно есть только «чин» ночи и небытия), пространства, лишь временно и иллюзорно наполненного «вещами», диаметрально противоположно христианскому восприятию мира как «Великой Матери Земли», лик которой преки чтили под именем Деметры; той земли, которую сотворил Господь «в начале» при создании мира (вместе с небом).

«Бы засеменена творческим «да будет», она изводит из своего ложа все существующее и обратно приемлет в меональные недра свои все, что «есть земля», из нее родилось.

Великая мать, земля сырая! в тебе мы родимся, тобою кормимся, тебя осязаем ногами своими, в тебя возвращаемся. Дети земли, любите мать свою, целуйте ее иступленно, обливайте ее слезами своими, орошайте потом, напойте кровью, насыщайте ее костями своими. Ибо ничто не погибает в ней, все хранит она в себе, немая память мира, всему дает жизнь и плод. Кто не любит землю и не чувствует ее материнства, тот — раб и изгой, жалкий бунтовщик против матери, исчадие небытия.

Мать земля! из тебя родилась та плоть, которая сделалась ложеснами для воплотившегося Бога, из тебя взял Он пречистое тело Свое! в тебе почил Он тредневен во гробе. Мать земля! из тебя произрастает хлебный злак и виноградная лоза, коих плод в святейшем таинстве становится Телом и Кровью Христовыми, и к тебе возвращается эта

⁷⁾ Стих Вл. Соловьева (из «Слова увещательного к морским чертям»).

⁸⁾ Андрей Белый, «Урна», стр. 69.

святая плоть. Ты молчаливо хранишь в себе всю полногу, всю лепоту твари»⁹⁾).

4 и 5 (всё существующее достойно уничтожения и что было бы лучше, если бы оно вовсе не возникало).

В полном соответствии с клеветническим воззрением на мир является его пессимистическая оценка. Последняя высказывается Мефистофелем в двух приведенных положениях, и при том в аподиктической форме — как истины само собою разумеющиеся. Между тем они таковыми отнюдь не являются. Если абсолютное качественно отлично от относительного, а происхождение во времени есть непреложный закон всякой относительности, то из этого отнюдь не следует ни того, что возникшее непременно должно погибнуть и уничтожиться, ни того, что это уничтожение должно рассматриваться как заслуженное, достойное и справедливое. Так, в христианской антропологии человек — как тварь — безусловно принадлежит к миру возникшего (сотворенного). Но, несмотря на это, он призван Творцом к вечному существованию; уничтожение его было бы высшей непоследовательностью и несправедливостью, а отнюдь не осуществлением нравственного закона. Но даже если допустить неизбежность гибели всего возникшего, то из этого отнюдь не следует, чтобы существование его было бессмысленно и что ему лучше было бы совсем не возникать, ибо относительное и временное существование может иметь абсолютную и вечную ценность и смысл. Мефистофель делает здесь логическую ошибку, вследствие которой свою личную слепоту (благодаря которой он не видит и не понимает «софийности» твари, ее причастия иным мирам) возводит в метафизический закон, в непреложную истину, якобы логически следующую из самого существа вещей.

Таким образом, основные догматы космического пессимизма повисают в воздухе. Они являются в гораздо большей степени мироощущением, мировосприятием, чем логически связанной и обоснованной мыслью. И это прекрасно учитывается другим представителем демонического мышления — Иваном Карамазовым, который весь свой бунт и все свое отрицание смысла жизни обосновывает не на логических соображениях, а на глубоко личном и индивидуальном неприятии существующего миропорядка.

Приняв мировую бессмыслицу за факт, Мефистофель развивает этот тезис в бесчисленных приложениях, осмеивая и клеветая на все области мысли и жизни человека. Для него вообще нет ничего доброго и прекрасного, и этим мироощущением он старается заразить и того, над кем «работает». При этом иногда он идет путем простого и откровенного отрицания, иногда маскирует его иронией и насмешкой, иногда стремится запутать мысль в противоречиях и довести своего собеседника до полного логического отчаяния. К этому, собственно, сводятся все его рассуждения, в которых он остается верен основной теме своей мысли. Здесь однако уместен следующий вопрос: верит ли сам Мефистофель в то, что он утверждает, являются его отрицания исповеданием его собственных убеждений или же сознательной ложью, клеветой, умышленно возводимой им на Божий мир? Ответ на этот вопрос явствует из двух оговорок Мефистофеля, на основании которых можно за-

⁹⁾ Сергей Булгаков, «Свет невечерний», стр. 188.

ключить, что те философские истины, которые он с такой убедительностью проповедует, на самом деле являются просто «техникой искушения» — методом разрушения человеческой души путем уничтожения в ней идеальных образов.

Таковыми оговорками являются следующие его слова: уже соблазнив Фауста и заключив с ним роковой договор, в минуту, когда Фауст удалился, Мефистофель говорит сам себе:

«...Да презирай лишь разум и науку,
Где сила высшая людей,
И духу лжи себе дозволь дать руку
В созданыи призрачных теней,
Тогда тебя ничто уж не спасет».

Таким образом, наедине с собой Мефистофель не только не отрицает науки и разума (что является одним из его главных тезисов в разговорах с Фаустом), но прямо признает их «высшей силой людей». Противопоставляя им себя в качестве духа лжи, действующего «ослепляющими и колдовскими средствами», он тем самым признает вторичность отрицания и паразитарность своей природы.

Еще яснее обнаруживается последняя в «Прологе в небе», где Мефистофель высказывает свое отвращение к смерти:

«...С умершими возиться
Охоты нет во мне; да и к чему?
Люблю румяных с полными щеками.
А с трупом мне неловко самому,
Как кошке с мертвыми мышами».

В этой, якобы, незначительной реплике раскрывается самая суть демонизма. Казалось бы, что дух, стремящийся к «уничтожению всего возникшего», должен был приветствовать смерть как достижение своей цели. Мефистофелю естественно было бы быть непрофилитом. И вот — в противность этому — Мефистофель утверждает жизнь, требует ее силы, свежести, полнокровности. Разгадка этого противоречия проста. Целью его является совсем не достижение состояния смерти, а процесс умерщвления жизни. Он есть «человекоубийца от начала» (от Иоанна, VIII, 44), но не в том смысле, что он раз навсегда убивает человека или человечество (к тому же обладающих тварной вечностью), а в том, что он всегда и неизменно стремится убивать, что убивание, уничтожение, мучительство принадлежат к самой сущности его природы. Но для того, чтобы наслаждаться страданиями другого, необходимо, чтобы этот «другой» существовал; для того, чтобы убивать кого бы то ни было, необходимо, чтобы он жил, ибо труп убить нельзя. Поэтому царство смерти является для Мефистофеля местом, где он не может действовать, где ему нечем дышать. В этом смысле убивая других, он убивает и себя; и пределом его стремлений должно быть собственное небы-

тие¹⁰). Это внутреннее противоречие в природе зла (соответствующее в логике закону двойного отрицания) только намечено, но не развито в словах Мефистофеля. Однако, и этого краткого намека достаточно для того, чтобы сделать соответствующее заключение о его природе и признать в нем не только духа лжи, зла и разрушения, но и духа «небытия и самоуничтожения». Разрушительная сила зла направлена, таким образом, в конечном итоге на свое собственное бытие; существование зла как такового невозможно: без «питательного бульона», без тела, на котором оно паразитирует, оно не имеет силы, ибо сущность его функциональна, а не субстанциальна. Или — если перевести это на язык логики: чистое, изначальное отрицание немыслимо; оно может осуществиться только как вторичный акт, как разрушение предшествующего ему утверждения...

Отрицание Мефистофеля носит всеобщий характер; метафизика его универсальна. Но особую остроту получает она в применении к человеку, к его жизни и судьбе. В этом смысле можно сказать, что Мефистофель в гораздо большей степени является антропологом, чем натурфилософом. Он сам говорит о себе в «Прологе в небе»:

«...Я ничего не знаю про светила,
О тех мирах мне нечего сказать,
Но человек по-прежнему здесь бьется...
Так жалки люди, что их мучить нет охоты,
И даже я с несчастными стал слаб».

Свой исключительный интерес к человеку Мефистофель противопоставляет восторженному гимну творению прех архангелов; он как бы оправдывает себя в том, что не видит, не понимает, не признает величия и красоты Божьего творения. Зато в отношении человека он представляет перед Фаустом целую систему отрицательной антропологии и этики. Здесь он первым делом стремится унижить самое существо человека и низвести его до степени животного, мнящего себя божеством:

«...до божества себя же раздувая,
дол и высь, все охватить мечтою,
проникнуть вглубь всего земного,
создать в себе все мирозданье снова,
неведомым в сознании силы наслаждаться,
с любовью светлой в целом расплываться
и плоть свою забыть совсем,
чтоб то, что в нас парит неуловимо,
вдруг заключить (делает жест) не знаю чем...»

¹⁰ Этот мотив учтен Достоевским в характеристике начала зла как «духа самоуничтожения и небытия» (в «Легенде о Великом Инквизиторе»). В этой формуле существенным является союз «и»: дух, несущий смерть другим (дух небытия), является и духом «самоуничтожения» — таков диалектический закон небытия, усмотренный Достоевским еще в «Преступлении и наказании» («я себя убил, а не старуху» — говорит Раскольников).

Дальше он старается на каждом шагу развенчать разум, который — по собственному его признанию — является «отблеском небесного света». Отсюда его насмешки над наукой: логика, метафизика, право-ведение, богословие, медицина — все это вышучивается и опошляется им со злой и внешне меткой иронией. Все науки стремятся к невозможному, ибо абсолютное знание недоступно ограниченному и относительному человеческому уму. Люди — это «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку»^{*)}; им никогда не стать иными. И все попытки вырваться из этого заколдованного круга, прорваться к бесконечному — тщетны:

«...А ты, в конце концов, все тот же,
Надень какие хочешь парики,
В аршин носи, пожалуй, каблуки —
Останешься ты вечно тот же ты...»

Все, что кажется человеку вечным, неизменным, абсолютным — ложь и обман. Таково знание:

«...Иль в первый раз тебе случится
Теперь свидетельствовать ложно.
А разве с кафедры не доводилось
Давать подчас определений
О боге, людях и вселенной,
Как будто не могло тут быть сомнений.
А, говоря по правде, откровенно,
Об этом знали вы, поверьте,
Не больше, чем о Швердтлейн смерти».

Такова же и любовь; и не только любовь Фауста, которая, по словам Мефистофеля, есть явный и откровенный обман и самообман:

«...Да разве завтра перед девочкой несчастной,
Ее желая с толку сбить,
Не будешь ты в любви божиться страстной
и, может быть, —
В любви и преданности вечной,
В единой страсти бесконечной
Ты от души ей будешь клятвы приносить»,

но даже чистая любовь Гретхен, страдающая о том, что Фауст не верит в Бога и не ходит к обедне:

«...Все девочки готовы много дать,
Чтобы обычаи все соблюдали строго.
Кто верен им, их замуж должен взять...»

^{*)} Слова Ивана Карамазова (в тексте Достоевского — в кавычках).

Такова вера:

«...Там, где противоречие полно,
И мудрецам, и глупым тайна остается.
Мой друг, искусство это не ново:
С глубокой древности идет уменье
Посредством трех и одного
На место правды ставить заблужденье»¹¹).

Таким образом, все, что представляется человеку вечным, что возносит его к небу, оказывается заблуждением, обманом и ложью; реальны только животная плоть, похоть и наслаждение. Этот итог философии Мефистофеля является прямой антитезой той последней истины, которая провозглашается «мистическим хором» в конце второй части:

«...Все преходящее есть только символ,
Недостижимое здесь — сбывается,
Неописуемое здесь свершилось (ибо)
Вечно женственное возносит нас к себе».

Если в демоническом мышлении все вечное и абсолютное — обман (ибо оно подавляется и растворяется без остатка в мире преходящего и случайного), то в райском сознании все преходящее живо и ценно только тем, что оно воображает в себе божественное, воплощает абсолютное. Таким образом, «тайна восполняется»¹²), и философия абсолютного отрицания — благодаря своим внутренним противоречиям — приводит нас к противоположному мировоззрению, в котором царствует принцип утверждения, и добро осуществляется в причастности низших ступеней бытия высшим реальностям. Но это мировоззрение выходит за пределы поставленной здесь задачи.

Мефистофель оправдывает свои отрицания тем, что они являются необходимым элементом мирового процесса и способствуют возвращению всего в первоначальное состояние тьмы и небытия. Поэтому все усилия его направлены на то, чтобы всеми доступными ему средствами («прозой, попом и пожаром») «сломить, уничтожить, донять» этот «глупый мир», это «нечто», противоположающее себя изначальному «ничто». Его охота за душою Фауста является только частным случаем этой задачи и также только способствует, помогает осуществиться тому, что должно бы было случиться и без его помощи. Ибо та жизненная сила, которая не позволяет Фаусту удовлетвориться каким бы то ни было достигнутым результатом, но всегда ставит перед ним новые задачи и цели¹³), то стремление к абсолютному и трансцендентному, которое отличает человека от животного, определяется им как «брожение» — верная причина гибели и самоуничтожения:

¹¹) Насмешка над догматом Троицы; в тексте (буквально): «посредством трех и единицы, и единицы и трех распространять заблуждение, вместо истины».

¹²) Выражение Достоевского: «Подросток», стр. 463.

¹³) «Фаустовская душа», по определению Шпенглера, характерна для западного человека, в отличие от восточного склада души.

«...Его уносит вдаль его стремленье,
Свое безумье смутно сознает...
Ему судьба дала стремленье
Неудержимое вперед,
И если б чёрту не пришлось отдалиться,
И так бы он пошел ко дну...»

В определении своей деятельности Мефистофель однако идет дальше. Свою автохарактеристику он начинает словами: «я часть той силы, которая всегда хочет зла и всегда творит добро». Слова темные и непонятные, которые естественно вызывают реплику Фауста:

«...что означает эта загадка?»

В ответ Мефистофель развивает всю свою философию, которая, таким образом, должна быть его апологией.

В каком же смысле отрицание и разрушение могут быть поняты как «добро»? Что понимает Мефистофель, когда говорит, что он всегда хочет «зла»? Вся игра слов явно основана здесь на *quaternio terminorum*. Говоря о зле, к которому он стремится, Мефистофель пользуется терминологией человеческой морали; ибо уничтожение, отрицание, небытие есть с человеческой точки зрения зло («все, что вы считаете преехом, ничтожеством, короче — злом»). Добро же, которое — по его словам — является результатом его деятельности, есть не что иное, как тот порядок, к которому мир должен вернуться как к естественному завершению мирового процесса («все, что возникает, опять должно погибнуть поделом»). Таким образом, «загадка» Мефистофеля является не только ключом к его философии, но и софизмом, основанным на неправильном противопоставлении понятий, принадлежащих к разным порядкам. Этот софизм — как мы видели — не является исключением в его рассуждениях: подстановка понятий, необоснованных выводов, переход из одного порядка в другой — являются обычными приемами демонического мышления.

Спрашивается: для чего все это делается?

«Для систематического подрясения основ, для систематического разложения, для того, чтобы всех обескуражить и из всего сделать кашу¹⁴⁾, и расшатавшееся таким образом сознание, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечной жаждой какой-либо руководящей мысли и самосохранения, вдруг взять в свои руки» — таков ответ, вложенный в уста «эксперта» Лямшина Достоевским («Бесы», часть III, гл. 8 — Заключение).

«Добро», которого достигает Мефистофель, является, таким образом, только логическим трюком, сознательным обманом для того, чтобы еще больше запутать и тем легче уловить и без того запутавшуюся в противоречиях душу Фауста.

¹⁴⁾ Говорится здесь об «обществе», но все это применимо и к индивидуальному сознанию, поскольку «государство есть большой человек, а человек — малое государство».

(Окончание следует)

Современная психология, ее методы и значение

В последние годы всё чаще и чаще мы слышим о психологии, о психоанализе, о неврозах, комплексах и тому подобном. Понятия эти распространяются, передаются с большей или меньшей точностью. Откуда это все к нам пришло? Может быть, это только мода, как, например, увлечение астрологией или черной магией?

Не так еще давно — лет пятьдесят назад — во многих странах психологию принимали за форму оккультизма. Правда, так же как химия началась с алхимии, психология, можно сказать, началась с оккультизма. Тем не менее, никому сейчас не приходит в голову оспаривать научность химии. Но почему-то во мнении многих людей психология не устает оставаться того же. Аргумент: «Психология не изучает материю».

Имеет ли этот аргумент основание или нет? На подобный вопрос может дать ответ лишь сама психология и, в частности, те положительные (и объективные) результаты, к которым она приводит.



Этимологически мы можем определить психологию как: «изучение (логос) души (психе)». Однако, такое определение усложняет нашу задачу, т. е. легче объяснить, что такое психология, чем что такое душа.

С методологической точки зрения, психология — «наука, изучающая человеческое поведение». Это определение, научно правильное, имеет тот недостаток, что подходит оно к человеку как к автомату.

Наконец, можно предложить еще одно определение, не обладающее недостатком предыдущего. Психология — это «изучение личности». Однако невозможно подходить к отдельной личности, не установив предварительно общих законов ее развития. Для этого психологию пришлось разделить на разные ветви, которые подходят, — каждая по-своему, но не теряя между собой контакта, — к различным аспектам человеческой личности. Мысленный синтез всех этих разветвлений дает нам, в конечном итоге, наиболее правильное определение понятия «психология».

1. ОСНОВНЫЕ ВЕТВИ ПСИХОЛОГИИ

1. Общая психология

Под этим подразумевается та психология, о которой говорят все учебники последнего курса гимназии. Эта психология изучает человека взрослого, нормального (или, вернее, «среднего»), не считаясь с возможными различиями пола, возраста, характера и т. д.

Вполне понятно, что такого «идеального» человека на улице не встретить, и по этой причине общая психология остается, в сущности, теоретической наукой. Тем не менее, она одновременно является основой всех остальных ветвей психологии. Ее главный интерес заключается в том, что теории, на которые она опирается, находят себе применение и в других отраслях этой науки. Так, например, известная психоаналитическая теория, одна из самых главных теорий общей психологии, была применена впоследствии в психологии детства, в социальной психологии и т. д.

Перечислить все существующие теории невозможно. Остановимся лишь на самых главных, которые еще часто встречаются в современной психологической литературе и которыми еще широко пользуются для разрешения тех или иных вопросов:

а) Бихевиоризм. Основанный Уотсоном, он ограничивает предмет психологии лишь поведением человека (или животного), под которым подразумевается совокупность реакций, возникающих в ответ на раздражения среды. Основная его схема «Стимул — ответ» исключает участие сознания. Несмотря на это, бихевиоризм помог разъяснить важное понятие «приспособления»: физиологические и психологические изменения, которые дают человеку возможность приспособиться к данной ситуации (положению).

б) Феноменология. Она старается при помощи пережитого опыта интуитивно познать основные понятия психологии и их описать (а не объяснить). Эта теория показала значение намеренного действия сознания в противовес теориям, которые считают, что роль сознания — констатировать *post factum* действия человека.

в) Гештальтпсихология, или теория структуры (Вертгеймер). Она основывается на принципе целостности и динамичности процессов, которые, по ее утверждениям, изначально присущи психике. Основываясь на функциях восприятия, она показала, что мы не воспринимаем отдельные свойства вещей, а непосредственно составляем общую картину. Изучая основную схему бихевиоризма, гештальтпсихология отрицает возможность выделить специфический ответ на тот или иной стимул. Для нее этот ответ зависит не только от известного нам стимула, но и от состояния организма в тот момент, когда этот стимул на него действует. Например, реакция спящего человека на будильник будет различна в зависимости от того, выспался человек или нет.

г) Психоанализ. Он отличается от остальных теорий тем, что не ставит вопроса о существовании сознания. Его основатель Фрейд положил в основу своих изысканий бессознательные процессы. Бессознательное не есть противоположность сознанию. Это — отдельная сфера человеческой психики, которая, как впервые указал Фрейд, играет такую же роль (если не большую) в поведении человека. Но тогда как

человек знает причину своих сознательных поступков, он не способен разъяснить поступки, руководимые бессознательным. Иными словами, его бессознательная сфера остается для него неизвестной до тех пор, пока он не прибегнет к помощи психоаналитика, который, благодаря особой технике, даст ему возможность осознать эту сферу, выявляя все комплексы, которые ее составляют. Эти комплексы можно определить как особые залежи, образовавшиеся вследствие приятных и неприятных опытов человека (особенно в раннем возрасте, когда он очень чувствителен) в его соотношениях с окружающей средой (родители, близкие и все люди, которых человек может встретить, а также и все ситуации: война, голод, беззаботная жизнь и т. д., в которых человек может находиться). Конечно, как самые близкие ему существа, родители играют первенствующую роль в формировании комплексов у ребенка. Поэтому психоаналитики так часто и настаивают на знаменитых комплексах Эдипа, Электры, приниженности и т. д.

Впоследствии, многие ученики Фрейда откололись от его психоаналитической теории и создали свои собственные школы. Все эти разновидности будет легче проанализировать в разделе методики. Тем не менее, вышесказанное остается действительным во всех этих теориях бессознательного, которые получили общее название «глубинной психологии».



В заключение просмотра этих четырех основных теорий нам нужно уяснить, что в сущности они друг друга дополняют, изучая в значительной мере различные сферы психики и применяя разные методы. Ни одна из этих теорий не может в наше время претендовать на универсальность; зато их эволюция в основном приводит к таким общим результатам, как:

- 1) замена понятия сознания, чрезмерно напоминающего старые субъективные теории, понятиями личности и поведения;
- 2) изучение поведения как единого целого (даже бихевиоризм изучает теперь полярное поведение человека);
- 3) зависимость поведения от взаимодействий личности и окружающей среды (физической, социальной);
- 4) сознание, что психология не может изучать человека, как физика изучает материю, и введение нового понятия «интерсубъективизма», т. е. диалектического познания сознания.

2. Экспериментальная психология

Цель экспериментальной психологии — помочь общей психологии в поисках основных законов человеческой психики. Тогда как все теории общей психологии неизбежно опираются на какие-то философские понятия, экспериментальная психология, в противовес ей, опирается исключительно на понятия математические, физические и физиологические. Для примера можно взять знаменитый закон Вебера-Фехнера, согласно которому с увеличением интенсивности раздражителя в геометрической прогрессии (S = log₂ E).

Основная схема психологического эксперимента следующая:

«Ситуация + Личность → Ответ». Данный человек или данная группа людей в данной обстановке дают определенный ответ. Мы имеем возможность либо менять ситуацию (изменить задание, температуру окружающей атмосферы, освещение...) и изучать влияние этого изменения на личность по результату, либо изменить личность (взять человека другого пола, возраста, набожак или пьющего...), сохраняя ту же ситуацию, и изучать влияние этих факторов опять-таки по результатам. Конечно, для правильности этих изысканий необходимо изучать различные вопросы на большом количестве людей, при помощи статистических методов.

Хотя экспериментальная психология представляет собой отдельную ветвь психологической науки, мы видим, что ее нельзя объяснить, не сказав ни слова о ее методике. Она, конечно, служит и другим ветвям психологии, помимо общей психологии. Тем не менее, ее подход к человеческой психике столь особенный, что она не сливается с этими ветвями и требует особых специалистов.

3. Психология детства или педология

Эта ветвь психологической науки изучает развитие ребенка от момента рождения до окончания юности (18-20 лет). Главным образом представляют интерес интеллектуальная сфера, аффективно-эмоциональная сфера, социальное и моральное приспособление к миру. Психология детства затрагивает одновременно ряд проблем, касающихся дефективных детей, и тут она часто граничит с психопатологией. В частности она изучает:

а) Олигофрению: вид недоразвития психической деятельности, в основе которого лежат поражения центральной нервной системы. Олигофрения включает три группы детей:

- идиоты, неспособные говорить;
- имбецилы, неспособные ни читать, ни писать;
- дебилы, недоразвитые дети, которые пишут и читают с трудом, но могут изучать ремесло и включиться в общество «нормальных людей».

б) Сенсорные дефекты:

- глухонемые,
- слепые,
- глухонемые-слепые,
- гипоакузия (недостаток слуха) и т. д.

в) Моторные дефекты:

- афазия (расстройство речевой способности),
- недостатки речи (заикание, неправильное произношение отдельных фонем),
- плохая латерализация (плохая синхронизация между правой и левой стороной тела и отсутствие преобладающей стороны),
- неловкость (неспособность делать некоторые движения, как, например, прыгать на одной ноге) и т. д.

г) Сенсомоторные дефекты, т. е. дефекты, связанные одновременно с сенсорной и моторной сферами:

- дислексия (неспособность научиться читать),
- дисорфография (неспособность научиться правописанию) и т. д.
- д) Психопатоподобное поведение у детей:
 - бродяжничество,
 - воровство,
 - лживость,
 - половая развращенность и т. д.

Все эти дефекты могут встречаться с большей или меньшей силой у ребенка. Они бывают обычно излечимы (кроме идиотии, имбецильности, глухоты, слепоты и полной афазии). Роль выработки методов для этой цели выпадает на долю психопедагогики, одной из ветвей педологии.

Основные понятия, изучаемые психологией детства, касаются развития ребенка. Эта наука показала, что в нем сочетаются влияния организма и среды. Организм, с его наследственностью, дает ребенку потенциальные возможности, которые должны восполняться и развиваться при помощи окружающей среды. Со своей стороны, среда не может создать у ребенка личности, не считаясь с его потенциальными возможностями. В случае слишком сильных конфликтов между этими двумя полюсами, ребенок становится неприспособленным к жизни и рискует впасть в невроз. Наоборот, органические недостатки или дефекты могут компенсироваться положительным влиянием среды. Одним из самых ярких примеров может служить жизнь Елены Келлер, которая, будучи глухой, немой и слепой, научилась говорить, писать, читать по азбуке Брай, закончила высшее образование и знает несколько иностранных языков.

Педология имеет обширное применение в педагогической науке, в борьбе против различных дефектов у детей и против неправильного воспитания. Она также освещает знание психологии взрослого человека и его основных функций, изучая их постепенное возникновение и развитие.

4. Психопатология

Мы уже видели, говоря о педологии, что психология не ограничивается изучением здоровой психики. Роль психопатологии — изучение ментальных расстройств. Она должна не только их описывать и классифицировать, но и знать их механизм и предвидеть возможную их эволюцию.

В основном психические болезни делятся на две категории: неврозы и психозы.

а) Неврозы характеризуются функциональными расстройствами без посягательства на личность. Два основных невроза: *истерия*, — сильное преувеличение внушаемости, выражающееся удивительной гибкостью тела больного, из чего проистекают мнимые параличи, нервные кризисы и т. д., и характерные психические расстройства, как то мифомания, амнезия (забывчивость), ониризм (бред, похожий на сон) и т. д. и *психастения* — физическая и моральная депрессия, с потерей чувства действительности, с повышенной скрупулезностью и т. д.

б) Психозы характеризуются функциональными расстройствами с

посягательством на личность. Два основных психоза: *маниакодепрессивный психоз* (чередование приступов психического раздражения — мания, с приступами депрессии — меланхолии) и *шизофрении* (расстройство механизма ассоциаций идей, ослабление аффективности, замкнутость (оптизм), с потерей контакта с действительностью и т. д.).

В сущности психопатология заканчивает только классификацию всех болезней, хотя и тут для психологов и врачей-психиатров встречается много невыясненных, темных пунктов. Предвидеть их эволюцию пока почти невозможно, отчасти из-за того, что средств лечения мало. Правда, для излечения неврозов пользуются психоаналитической и пара-психоаналитической техникой. Но она не всегда удачна и, во всяком случае, не является средством против психозов.

Хотя психопатология интересует больше всего врачей-психиатров, которые должны лечить психические болезни, она одновременно помогает решить один из важнейших вопросов всей психологии: разницу между нормальным и патологическим. Некоторые психиатры, например, уверяют, что нет разницы между бредом шизофреника и некоторыми произведениями современных поэтов. Мы также все читали или слышали о том или ином гениальном ученом, который был абсолютно неприспособлен к повседневной жизни. По этой причине общей психологии в ее изысканиях приходится оставлять в стороне и гениальных людей и психических больных. Нормальный, «средний» человек — это тот, кто по статистическим данным во всех областях психической деятельности дает средний результат.

5. Психофизиология

Изучая органическую базу психических действий, психофизиология ставит и старается разрешить важнейшую проблему взаимоотношений организма и сознания. Вполне понятно, что в течение долгого периода эта ветвь психологии была использована для опровержения существования сознания у человека и для «материализации» человеческой психики. Теперь же, с продвижением неврофизиологии, психология может доказать существование сознания, основываясь на физиологии человека. В этом играет большую роль параллельная наука — зоопсихология, которая позволяет сравнивать поведение человека с поведением животных, в зависимости от сложности их нервной системы.

Психофизиология различает у человека три стиля поведения: тропизм, инстинкт и волевой акт. Тропизм, помимо человека, существует и у животных и является единственным возможным поведением у низших животных (и у растений). Это — положительная или отрицательная реакция на какое-либо раздражение. Эта реакция будет одинаковой при любых обстоятельствах. Таким образом, насекомые, которых притягивает свет, бросаются в огонь, несмотря на то, что они гибнут в нем. Инстинкт, это — автоматическая реакция организма на какую-либо потребность. Он существует у животных уже довольно сложной нервной системы. Он составлен из серии условных рефлексов, которые связаны друг с другом. Стоит только специфическому раздражителю пустить в ход первый рефлекс, чтобы зверь погрузился в сферу инстинктивного поведения, которое окончится в тот момент, когда вся

серия условных рефлексов будет пройдена. Остается волевой акт, который существует у животных высшего развития и у человека. Он заключается в специфическом ответе на специфический раздражитель. Иными словами, при данном раздражителе в данной ситуации, человек (а, иногда, в редких случаях и животное) вырабатывает в себе специальное поведение, которое он создает на основе своих биологических возможностей и жизненного опыта. Тем не менее, это поведение может быть и неповторимо. Волевой акт имеет еще другое свойство. Он может временно задержать то или иное поведение, которое в данный момент может показаться человеку неурочным. Тогда как по бихевиористической схеме животное на стимул отвечает реакцией, человек может свободно на стимул ответить ингибцией (задержка реакции). Правда, в павловских экспериментах животные тоже иногда отвечали ингибцией. Но это объяснялось исключительно условным рефлексом. Человек же может ответить ингибцией, даже если он раньше всегда отвечал реакцией. Как пример можно привести человека, бросившего курить: когда его раньше утощали папиросой, он всегда закуривал; теперь же он отказывается. Собака же, если ее к этому не приучить, никогда не будет отказываться от куска мяса. В этом и заключается основная разница между поведением животных и человека. Хотя человек тоже подвергается своим инстинктам, он может в любой момент овладеть своим поведением, пока он в нормальном состоянии.

Психофизиология помогает нам, как мы видим, не только констатировать сложность поведения человека по сравнению с животными, но также частично объяснить ее сложностью его нервной системы. Менее сложная нервная система у животного делает невозможной столь неограниченный ряд поведений, который присущ нервной системе человека. Этот вопрос изучается кибернетикой, заменяющей нервную систему электронным механизмом, т. е. создающей роботов. Хотя эти роботы управляют всё более и более сложными электронными приборами, они способны лишь на очень ограниченное количество вариантов поведения.

В заключение можно сказать, что психофизиология окончательно определила человека от животного. Человек — не только сложное животное; он способен на специфические поведения, которые не только разнятся по своей структуре, но и по своей натуре от поведения животных. Хотя сложность его нервной системы может объяснить сложность его поведения, она не может объяснить эту формальную разницу. Психофизиология еще не нашла (и, по всей вероятности, никогда не найдет) причину этой разницы. Но в данный момент она может уже утверждать, что нервная система не может быть *primus movens* поведения человека.

6. Социальная психология

Исторически социальная психология является компромиссом между психологией и социологией. Однако, она, пожалуй, ближе к психологии, чем к социологии, потому что ее цель — изучение психологических основ социальных групп.

Понятие «группа» определяется как совокупность индивидуумов, между которыми существуют явные и взаимные психологические от-

ношения. Роль социальной психологии не исчерпывается изучением существующих групп. Она изучает их формирование и эволюцию, а также, в некоторых случаях, их разложение. Это изучение прямо ведет к практическим результатам социальной психологии, которая очень развилась в США и ставит в этой стране исключительно практические задачи (ее теоретическая база была разработана лишь впоследствии — главным образом, в Европе).

Изучение немногочисленных групп привело к ряду методов техники, касающейся «водительства» (leadership), и к их развитию. Основная цель этой техники — это соблюдение сплоченности членов групп. Они дают очень интересные результаты на различных предприятиях, где встречаются трудности общения и сотрудничества среди руководителей, рабочих или между рабочими и руководителями.

Но на современных больших предприятиях существуют не только немногочисленные группы (как административный совет, мастерские и т. д.). Чтобы наладить взаимоотношения между людьми, которые редко лично встречаются, но имеют неизбежную связь друг с другом через третьих лиц, социальная психология разработала целую теорию «коммуникаций» (сообщений).

Расширяя понятие группы, мы можем считать входящими в одну и ту же группу всех людей, которые в какой-то момент имеют то же поведение, например, всех покупателей, всех голосующих и т. д. Социальная психология остановилась на психических причинах тех или иных разновидностей поведения этих людей. Эти разновидности руководятся мотивациями. Это — система стимулов (мотивов), сознательных или бессознательных, побуждающих человека к тому или иному поведению или на ту или иную деятельность. В качестве мотивов могут выступать представления и идеи, чувства и переживания, выражающие материальные или духовные потребности человека. Например, в классе ученики должны выполнить определенную задачу, но мотивы могут быть различные: один ученик стремится приобрести знания, другой — получить одобрение учителя, третий интересуется самой задачей. Это открытие — одно из самых крупных вкладов социальной психологии в психологическую науку: любой акт поведения побуждается не одним, а несколькими мотивами, среди которых некоторые играют ведущую роль. Соотношение ведущих и подчиненных мотивов составляет систему мотивации данного поведения. Эта теория мотивации имеет теперь применение не только в самой психосоциологии, но и в ее побочной ветви — коммерческой психологии, которая изучает, в частности, возможности рекламы, а также старается предвидеть возможные перемены в судьбе тех или иных продуктов на мировом рынке. Она служит в педагогике: самая главная задача педагога — это выявить у ребенка мотивацию к его труду. Она освещает также все вопросы общей психологии, относящиеся к человеческому поведению.

Как мы видели выше, социальная психология служит для улучшения отношений между служащими на предприятиях. Однако существует также отдельная ее ветвь, — индустриальная психология, цель которой — изучать приспособления человека к его должности, к тем машинам, аппаратам и людям, с которыми ему приходится иметь дело. Индустриальная психология, в частности, изучила влияния шума, освещения, вибраций, ритма работы и т. д. на производство. При помо-

психифизиологии, она также старается установить идеальные условия для улучшения того же производства и для облегчения работы людям (обычно оптимальные условия этих двух противоположных целей совпадают, т. к. человек работает лучше всего, когда его работа протекает легко, и даже с удовольствием). Индустриальная психология занимается также профориентацией для взрослых и подбором служащих для тех или иных специальностей.

Нельзя закончить этот краткий обзор социальной психологии, не упомянув об одной из ее главных теорий. Эта теория социометрии (Морено), т. е. «измерение (metrum) социального человека (socius)». Для Морено сущность социальной жизни заключена в аффектах. Группа может формироваться лишь тогда, если ее члены чувствуют друг к другу притяжение. Этой спонтанности противостоят «социальные тормоза» (social conserves) — традиции, привычки, законы и т. д. Стараясь раскрыть и восстановить спонтанную организацию, социометрия имеет не только теоретическую, но и терапевтическую задачу.



Мы изложили вкратце важнейшие направления психологии и затронули мимоходом некоторые ее разветвления. Можно назвать еще несколько областей, где психология приносит большую пользу: судебная область, военная, религиозная и т. д. Понятно, что, изучая человеческое поведение, приспособляемость и неприспособленность к окружающей среде, психология может затрагивать любые области человеческой жизни, как профессиональные, так и интимно семейные. По этой причине возможные применения психологии не исчерпываются теми несколькими направлениями, о которых мы говорили. Это и объясняет большое распространение профессии (или даже профессий) психолога за последние пятнадцать лет и большой интерес, который начинают проявлять к психологической науке все люди, которые несут ответственность за других людей.

II. МЕТОДЫ ИЗЫСКАНИЙ И ЛЕЧЕНИЙ

Как всякая научная область, психология имеет свою методологию. Ее методы не всегда оригинальны и могут употребляться и в других «науках о человеке». Однако психология, как и медицина, имеет частую то преимущество, что служит двойной цели: изучению и лечению. Поэтому мы можем разделить ее методы на две категории:

- а) Методы изысканий и изучения.
- б) Методы лечения.

К категории «а» относятся:

1. Эксперименты

Эксперименты требуют большой подготовки, тщательного определения гипотез, тщательного выбора той части населения, над которой будет производиться опыт. Он может служить также в изысканиях по

социальной психологии, психопатологии, психофизиологии, педологии, как и по экспериментальной психологии, где он всегда употребляется. Опыт меняется в зависимости от цели изыскания. Например, можно подвергнуть четыре группы одной и той же работе, но меняя освещение: при каком освещении группа будет лучше всего работать. Можно представить двум группам (одной женской, другой мужской) серию цветов с просьбой классифицировать и объяснить причину выбора того или иного цвета преимущественно перед другим, чтобы изучить мотивации. Конечно, в обоих примерах нужно будет установить группы при помощи многочисленных данных (умственный уровень, среда, семейное положение и т. д.) и проверить статистически, насколько в первом случае все четыре группы друг на друга похожи, во втором, что разница полов — единственный фактор, различающий обе группы. Когда группы составлены и опыт проведен, психолог должен снова прибегнуть к статистике, чтобы проверить, не повлияли ли на его эксперимент какие-нибудь непредвиденные факторы и, в частности, не являются ли его результаты причиной случайного стечения обстоятельств.

Одна из очень распространенных разновидностей психологического эксперимента — анкета. Она употребляется главным образом в социальной психологии и ее разветвлениях и особенно интересна тем, что обращается к воспоминаниям людей, тогда как другие экспериментальные методы требуют часто очень сложной аппаратуры. Но в этом содержится и ее слабость, так как человеческая память не всегда достоверно воспроизводит пережитые факты.

2. Тесты

Тесты — это короткие стандартизированные задания, по которым производится испытание. Результаты этих испытаний обычно выражаются в количественной форме и подвергаются статистической обработке. В основе тестов лежит понятие «среднего» человека, о котором мы уже говорили. Результаты испытаний толкуются по сравнению со средней отметкой, которая высчитывается после проведения теста на определенном количестве людей.

Тесты можно разделить на три категории:

а) *Тесты умственной одаренности*. Авторы прототипа — Бине и Симон (Binet et Simon, 1905) — положили основание огромному и чрезвычайно разному этим тестам, из коих большинство быстро вышли из употребления. На практике каждый психолог выбирает себе малое количество тестов. Среди самых употребляемых мы можем назвать тесты Векслера (Wechsler), Термана (Terman) и Портеуса (Porteus).

При помощи самых разнообразных и коротких испытаний — устных, письменных и практических — эти тесты дают умственный возраст (MA - Mental age), который позволяет высчитать коэффициент умственной одаренности (IQ - Intelligence quotient). Кроме того, устные испытания помогают обнаруживать речевые дефекты, а практические испытания — сенсомоторные недостатки. Но результаты, которые они выявляют, могут служить психологу только в качестве градусника, ко-

торый служит врачу. Они не способны обнаружить причину тех или иных недостатков.

Если причина — физиологического порядка, ее раскрытие и лечение уже не входят в область деятельности психолога, и он должен направить пациента к врачу. Если причина — не органического порядка, психолог должен продолжить свой экзамен, чтобы ее найти. Но часто обе причины сосуществуют. Представим себе, например, ребенка, коэффициент умственной одаренности которого показывает, что он дебил. Главная причина этого — большая медлительность во всех его действиях, вызванная неправильной работой glands. Эта медлительность не позволила ему усвоить элементарные знания с той же быстротой, что у его товарищей. Но помимо этого, его родители столь озабочены этой медлительностью, что они все время его торопят. Тем самым они создают конфликт между собой и ребенком, который нарочно будет еще медлительнее в своем учении. Родители, из-за неправильного педагогического подхода, создали новую причину — на сей раз психологическую — его низкого интеллектуального уровня.

б) *Тесты для изучения личности.* Эти тесты, менее распространенные и более сложные, служат для раскрытия возможных психологических и психопатологических причин низкого умственного уровня и социальной неприспособленности. Самые известные и широко употребляемые тесты: Роршах (Rorschach), Муррэй (Murray), Кох (Koch) и Розенцвейг (Rosenzweig).

Эти тесты помогают раскрыть невротические конфликты, психические травмы, инфантильные залежи. Они также изучают аффективную и эмоциональную сферы, уровень социальной адаптации, объективность суждения, волевые возможности и т. д. Некоторые из них, при наличии достаточного опыта со стороны психолога, могут дать очень конкретные данные относительно личности пациента. Например, в тесте Роршаха особые знаки в особом контексте (никогда не надо опираться на те или иные детали, а всегда искать, повторяются ли они в разных испытаниях и в каком контексте они представляются) могут обнаружить подавленность личности сына перед умным и энергичным отцом, с комплексом приниженности и очень сильной неуверенности в себе. Или, наоборот, агрессивную реакцию сына, который всячески будет стараться не только превзойти отца, но и затмить его.

Вполне понятно, что в ответ на вопросы психолога пациент никогда не раскрыл бы ему столь интимные склонности. Возможно даже, что он их и не осознал. Поэтому надо опасаться людей, которые говорят: «да, у меня большой человеческий опыт; стоит мне только с человеком побеседовать, посмотреть, как он садится, какие он делает движения, какие у него реакции, и для меня этого достаточно; я знаю, с кем я имею дело, а психология никому не нужна. За десять минут я узнаю то, на что психологу нужно десять-пятнадцать часов». Тесты, изучающие личность, имеют преимущество обнаруживать глубокие тенденции, которые остаются неизвестными матери, супругу, а часто и самому человеку. А хороший психолог может их раскрыть после нескольких часов, иногда нескольких дней тщательного изучения пациента и его ответов на проведенные тесты. Это нам дает понять, какая тяжелая ответственность на нем лежит. Эту ответственность можно сравнить лишь с ответственностью духовника.

в) *Тесты по способности к труду.* Цель этих тестов — составить инвентарь способностей человека для профориентации. Они должны обнаружить точность, быстроту, ловкость, мягкость движений; перцептивные качества; уровень технического (или практического) ума и возможные дефекты в этих областях. Одновременно психолог должен наблюдать за поведением пациента, отмечая его нервность, упорство, предприимчивость, ингибцию и т. д. В результате этого составляется график, который позволяет определить те профессии, к которым пациент никак не приспособлен. Иными словами, этот выбор — отрицательный, а не положительный. Среди остающихся профессий пациент может сам выбрать ту, которая ему больше всего нравится. Могут также входить в расчет факторы физические и экономические (далекое расстояние до места работы, лучшая оплата и т. д.).

Вокруг метода употребления тестов развивалась сильная полемика. Можно найти аргументы для защиты этого метода и для его опровержения. Однако эти аргументы часто преувеличиваются той или иной стороной. Опыт последних лет психологической науки показал, что эту полемику надо разрешить следующим образом. В тестах не заключается вся психология (как думали одно время, в частности, американцы). Но в некоторых областях они необходимы при условии, что психолог не будет довольствоваться результатом одного теста, а должен проводить несколько тестов из каждой категории и утверждать ими свое мнение лишь в том случае, когда результаты согласуются. Эти области следующие: педология (школьная ориентация — выбор специальности), психопатология (влияние болезни на психические функции, раскрытие психологических конфликтов), индустриальная психология (профориентация) и при любом эксперименте (набор подходящих людей, формирование поведенческих групп).



Существуют еще многочисленные и разнообразные методы для изучения психологии человека. Самый простой из них и необходимый — это наблюдение за его поведением. К этому можно прибавить просмотр его сложения и, в частности, его лица, а также и изучение его почерка. Но этими двумя техниками психолог не может овладеть без особой подготовки. В частности, педология требует очень серьезной специализации (в среднем 2-3 года изучения). Каждый психолог должен также уметь разговаривать со своим пациентом так, чтобы от него добиться максимума сведений, не возбуждая в нем сопротивления.

Изучая человека в его отношениях с другими людьми, социальная психология, естественно, имеет свои особые методы. Такими методами являются: техника дискуссий, техника наблюдения над группами, техника социометрии (изучение, кто с кем дружит в определенной группе) и т. д.

Все эти методы имеют свои достоинства и недостатки (идеальный метод вряд ли когда-нибудь удастся найти), однако каждый из них может внести свой вклад в психологическую науку, если психолог не будет слепо им пользоваться.



К категории «б» относятся:

Методы лечения

Психология осталась бы бесплодной наукой, если, выявляя всевозможные психические недостатки и болезни, она ничего не предлагала бы для их излечения.

Как мы видели, психопатология делит психические заболевания на две категории: психозы и неврозы. Медицина (психиатрия), стараясь их лечить при помощи разнообразных лекарств. Однако не все эти болезни имеют органическую причину. Обычно причина остается психологической. Более этого — молодая психосоматическая медицина доказала бесспорно, что некоторые органические болезни (в частности, некоторые язвы) имеют также в своей основе психологическую причину. Но психические заболевания нельзя лечить исключительно лекарствами. Некоторые даже отнюдь и не требуют лекарств. Они требуют специального лечения, которое приняло название «психотерапии». Это обширное понятие состоит из многочисленных методов. Самые главные из них мы сейчас изложим.

1. Глубинная психология

Глубинная психология делится на три основные ветви, которые все ставят себе целью изучение бессознательной сферы и частично опираются на ту же теоретическую базу (которую мы вкратце изложили в первой части этой статьи).

а) *Психоанализ*. Это слово относится исключительно к фрейдовской теории, согласно которой в основе поведения людей лежит стремление к наслаждению и, преимущественно, половое влечение. Человек, обладая особым запасом энергии (либидо), стремится к реализации своих желаний и импульсов (*es - id*), что в большинстве случаев ему не удается, т. к. этому мешают установившиеся в обществе нормы поведения (*überich - super ego*). Под их влиянием человек (*ich - ego*) устанавливает «цензуру», т. е. подавляет влечения, вытесняя их в бессознательное. Эти вытесненные влечения (комплексы) продолжают все же направлять поведение человека, обнаруживаясь в его ошибочных действиях (описках и оговорках), а также в сновидениях и в артистической деятельности, которая, по мнению Фрейда, есть одна из возможных «сублимаций» (возвышений) этих влечений. В определенном ряде случаев энергия может найти окольный выход, вызывая возникновение тех или иных патологических состояний.

Психоанализ пытается выявить бессознательные влечения путем изучения свободных ассоциаций мыслей, ход которых, по мнению Фрейда (и его последователей), направляется вытесненными влечениями и путем толкования сновидений, ошибок и т. д. Осознание этих комплексов пациентом должно избавить его от патологического состояния, давая ему возможность сублимировать раскрытые влечения.

б) *Теория Юнга*. Будучи учеником Фрейда, Юнг заимствовал у него частично теорию бессознательного и методику лечения. Однако он заменяет преимущество сексуальных влечений преимуществом «коллективной бессознательной сферы». Эту коллективную бессознательную сферу можно определить как залежь в нашей личной бессознатель-

ной сфере всего прошлого человечества. Можно сказать, что по мнению Юнга ребенок рождается уже с определенным багажом бессознательного, который ему передали все его предки от начала человечества. Юнг основывает свое мнение на изучении примитивных народов и, в частности, их мифологии, которая под тем или иным видом встречается и у нас. Как могли нам быть переданы эти мифы иначе, чем через коллективную бессознательную сферу? — спрашивает Юнг.

В методах лечения Юнг также расходится с Фрейдом. Правда, он тоже употребляет ассоциацию идей и анализ сновидений. Однако его подход к человеку более индивидуален, что может показаться парадоксальным для ученого, выдвигающего на первое место коллективное бессознание. В частности, он объясняет сны по отношению к прошлому человека, тогда как у Фрейда каждый символ обозначает определенную вещь. Для примера можно схематически представить дело так: для Фрейда видеть во сне мясника — это проявление апрессивных чувств; а для Юнга, если брат пациента — мясник, весь смысл уже меняется.

Наконец, Юнг не думает, как Фрейд, что осознание комплексов для человека достаточно, чтобы избавиться от своей болезни. Выявив причину болезни, психотерапевт должен дать больному конкретные указания, как себя вести в дальнейшем. Пациент имеет, конечно, полную свободу следовать или не следовать этим советам.

в) *Теория Адлера.* На первое место всех влечений Адлер ставит инстинкт господства. Тем самым он легко объясняет начало невроза комплексом приниженности и боязнью опасности. Эти комплексы возникают обыкновенно, когда ребенок чувствует себя беспомощным по сравнению со своими родителями. Если большинство детей, вырастая, их преодолевает, то в отдельных случаях подростки, и даже взрослые люди, остаются неспособными к самостоятельной жизни.

Роль невротических механизмов — давать компенсацию этой беспомощности. Иными словами, мы находим у Адлера мысль, очень распространенную в наши дни, что невроз и параневротические состояния — не заболевания, а бессознательная защита неприспособленного человека от нападений окружающего мира на его личность. Поэтому психотерапевту опасно избавлять человека от его невротического состояния, если он не способен направить его одновременно на новый жизненный путь, где тот почувствовал бы себя в безопасности и смог бы себя проявить наравне с остальными членами общества.

2. Психодрама

Этот метод, созданный Морено, заключается в инсценировке эпизодов из жизни самого пациента. Игра происходит, как в театре, на сцене, часто в присутствии посторонней публики. На сцене находится сам пациент, который должен вести себя, как обычно, в своей повседневной жизни: терапевт-психоаналитик, который должен быть способным исполнять роль режиссера, управляя всей постановкой, помощники — терапевты, способные быть одновременно и актерами, которые, работая с «режиссером», помогают и пациенту, воплощая тех лиц, с

которыми он должен встречаться по ходу действия. Публика заменяет общественное мнение.

Воплощая поочередно всех лиц, с которыми ему приходится ежедневно встречаться, пациент начинает все лучше и лучше понимать их реакции. Ему становится легче находить с ними общий язык. И этот метод часто очень помогает ликвидировать всевозможные конфликты.

Но помимо обычных повседневных конфликтов, этот метод помогает пациенту избавиться и от возможных невротических конфликтов, т. к., по мнению Морено, невроз есть не что иное, как защита от сложных и длительных конфликтов человека с окружающей его средой. Или, вернее сказать (по его выражению), невроз — следствие потери «спонтанности» у человека.



У Морено существует еще одна техника, называемая «исполнение роли» (*role-playing*), где двум людям ставится задача, которую они должны разрешить при помощи дискуссии. Она в большинстве случаев употребляется для разрешения конфликтов в разных предприятиях.

Но существуют также и другие методы индивидуальной терапии. Можно еще назвать графотерапию, которая, при помощи «перевоспитания» почерка, помогает восстановить поврежденную личность человека, и технику «сна наяву» (*rêve éveillé*), которая имеет сходство с техникой ассоциаций идей. Но тогда как в последнем методе человек связывает одно слово с другим, в методе «сна наяву» он связывает со словами или мыслью целый построенный им рассказ.

Читателю может показаться странным, что такие разнообразные методы, построенные на столь разнообразных теориях, могут давать положительные результаты. Это объясняется сложностью человеческой психики и тех ситуаций, в которых человек может находиться, и которые определяют то или иное расстройство. Человек — не машина, которую можно лечить стандартизованными методами. Терапевтические методы часто очень сложны, и психотерапевт специализируется в том или ином из них. Тогда вся ответственность падает на психолога, к которому впервые обращается пациент. Он должен не только тщательно его изучить и предвидеть возможный ход болезни, но и быть достаточно в курсе всех существующих методов, чтобы направить пациента к тому специалисту, который в данном случае лучше всего сможет ему помочь.

III. ПСИХОЛОГИЯ В СССР

Полное изложение психологии в СССР потребовало бы отдельной статьи. Однако читатель легко поймет, что многие из вышеуказанных направлений психологии не могут согласоваться с «диалектическим материализмом».

Психология в СССР, основываясь на Павловской рефлексологии, приняла определенное направление, которое сводит человеческую психику к функциям его организма. Поэтому в СССР сейчас процветает главным образом то, что на Западе называют психофизиологией. В СССР также очень распространены эксперименты, но они опять-таки

в большинстве случаев психофизиологического направления. Тем не менее, две ветви психологии находят широкое применение. Это — педагогическая и социальная психология. Хотя можно найти тексты, где сообщается о существовании психологии труда (искусства, спорта и т. д.), патопсихологии, психологии поведения животных и т. д., эти ветви мало изучаются и о них почти ничего не пишут.

Педагогическая психология — это практическое применение психологии детства к педагогике. Единственное периодическое издание РСФСР по психологии (выходящее каждые два месяца, в среднем 200 стр.), — «Вопросы психологии», — издается Академией Педагогических наук. Никаких теорий развития ребенка не строится. Журнал интересуется только возможностью ребенка усваивать новые знания, приспосабливаться к коммунистическому обществу и к его морали. К педагогической психологии можно также присоединить так называемую «специальную психологию», которая изучает особенности умственно отсталых, глухонемых и слепых детей. Такое же чисто практическое назначение имеет и социальная психология, которая существует под видом «пропаганды», т. е. изучения людей с целью найти лучшие способы внушить им коллективно, во что они должны верить.

Лучшим примером материалистического толкования понятия «психология» могут послужить выдержки из «Педагогического словаря»*) (Психологического словаря в СССР не существует): «Психология — наука о психике, как *функции мозга*, заключающейся в отражении объективной действительности... Научная психология исходит из диалектико-материалистического понимания психики, как *отражательной деятельности мозга*, детерминированной условиями жизни человека... Задача психологии — познание закономерности, возникновения и развития психической деятельности, формирования и проявления психических свойств и состояния личности. Познание этих закономерностей — необходимое условие успешного руководства сознанием человека, *целенаправленного изменения психических качеств личности в соответствии с требованиями общества...*» (выделено мной. — И. К.). Сравним с этой установкой то, что пишется в том же словаре о тестах: «Применение тестов во многих случаях является замаскированной формой классового отбора учащихся». Эти тесты употребляются лишь в «капиталистических странах», в СССР они запрещены. Но, хотя советские психологи и встают против «отбора учащихся», это не мешает им пытаться изменять психические качества личности для пользы коммунистического строя.

*

В этой статье мы априорно употребляли термин «психологическая наука». Теперь, когда читатель ознакомился с ее содержанием, остается разрешить вопрос, поставленный в предисловии: можем ли мы считать психологию наукой? Какие у нас для этого основания?

Из определения, приведенного «Педагогическим словарем», можно заключить, что научна только та психология, которая исходит из диа-

*) Издание 1960 года. — И. К.

лектического материализма. Что же можно сказать о психологии на Западе?

Наука заключается в объективном подходе к изучаемым явлениям. Из сказанного в первой и второй части этой статьи мы видим, что психология безусловно изучает объективно целый ряд феноменов при помощи методов, дающих цифровые результаты. Другие методы (изучение снов, свободные ассоциации и т. д.) могут считаться субъективными, т. к. они оставляют психологу свободу интерпретации и не подвергаются квантификации.

Однако можно ли считать субъективными все результаты, которые нельзя передать цифрами? Мы, например, говорили о снах. Кто из нас скажет, что ему никогда в жизни ничего не снилось, что он никогда ночью не просыпался от кошмара. Тем не менее, как передать сновидение цифрами? Ассоциации могут служить еще более ярким примером, т. к. человек их делает во всеуслышание, и их можно зарегистрировать. Они объективно существуют, их можно считать, но нельзя цифрами передать их смысл. Неизмеримое не есть обязательно субъективное.

Метод расшифровки снов остается субъективным, т. к. два психолога могут по-разному интерпретировать их, в зависимости от их теоретических предубеждений или просто по недостатку логического мышления. Тем не менее, и в этой субъективности мы находим долю объективности. Мы уже говорили, что психолог никогда не должен судить по одному единственному признаку. Всякое проявление психики должно проверяться другими проявлениями. Один метод не может быть достаточным, чтобы изучить всю личность. Наконец, психолог должен уметь себя проверять. Для этого ему необходимо хорошо себя знать. Он должен время от времени подвергать свои мнения критике других психологов и постоянно подвергать их самокритике.

Все эти предосторожности могут показаться незначительными по сравнению с возможностью ошибиться. Сознавая это, сами психологи стараются все больше и больше опираться на статистические данные и на цифровые результаты, рискуя даже превратить изучение индивидуальной личности в изучение безличного «среднего» человека. Однако, по нашему мнению, эта погоня за мнимой объективностью некоторых психологов рискует превратить психологию в точную, но бесплодную науку. Лучше сохранить за психологией долю неопределенности. Лучше, чтобы наука о человеке не уподоблялась науке о матери, и чтобы человеческая психика не отождествлялась с этой материей.

Медик, ставящий диагноз, руководствуется не только определенными законами. Он должен также изучить самого пациента с его специфическими особенностями. Основываясь на них, он предписывает преимущественно то или иное лечение. Мы видели, говоря о психотерапии, что психолог поступает абсолютно так же, как и медик. Положительные и успешные результаты психотерапии в лечении различных психических болезней не позволяют отрицать научное основание психологии.

НТС до войны

(К 30-летию Народно-Трудового Союза российских солидаристов)

«Эти подонки человечества, пытаясь прикрыть гнусные делишки, дают своим организациям промкие, порой совсем безобидные названия. Одну из таких организаций, в частности, они «окрестили» многозначительно — национально-трудовой союз (НТС). Этот, с позволения сказать, союз, члены которого вдобавок именуют себя российскими солидаристами, был создан во времена давно минувших дней — еще в начале 30-х годов. Раньше союз жил за счет разного рода толстосумов и белоэмигрантских элементов. Во время Великой Отечественной войны организация пополнялась людьми с темным прошлым, изменниками и проходимцами, для которых Советская власть никогда не была родной.

Чем же эта организация, то бишь союз, промышляет и за счет кого содержится?.. В занятиях своих они ничем не гнушаются: что велит хозяин, то и делают. По сей день, к примеру, в чистое небо стран народной демократии запускаются шары, начиненные различной пропагандистской стряпней, от которой веет духом истлевшего Геббельса.

Пропагандистский яд распространяется не только по воздуху, но и по земле. Порой, рядясь в личину иностранных туристов, агенты НТС завозят в нашу страну антисоветские листовки, книжки.

Вот образчики «изделий», выпущенных руками сотрудников НТС...»¹).

Эта выдержка из статьи с оценкой деятельности Народно-Трудового Союза врагом взята из недавнего выпуска центрального органа министерства обороны СССР, из «Красной звезды» не для того, чтобы спорить с ее автором. Что враг ругает, хулит и клеветничает — вполне естественно. Было бы хуже, если бы он хвалил! Эта выдержка приведена только для того, чтобы показать, какое внимание уделяется деятельности НТС.

Заметки и статьи с оценкой деятельности НТС можно найти, конечно, далеко не только в советской печати. Они появлялись и появляются и в самых различных иностранных газетах и в эмигрантской печати. При этом оценки бывают самые различные: от восторженных и хвалебных, преувеличивающих возможности и дела организации, до дружески-критических и, наконец, враждебно-клеветнических. Достаточно сказать, что на страницах эмигрантской прессы Союз подвергал-

ся и таким клеветническим нападка́м, перед которыми бледнеют выражения «Красной звезды», а, с другой стороны, заслуживал искреннюю похвалу со стороны далеко не одних только единомышленников.

Чем же объясняется эта разноречивость оценок, и нет ли возможности подвести объективный итог деятельности НТС?

Тридцать лет истории Народно-Трудового Союза представляют собой обширный материал для исследователя, но подводить итог этой деятельности, во всяком случае, слишком рано. Объективно подвести итог можно только в конце пути. Только тогда организация сможет раскрыть свои карты, только тогда могут стать доступны архивы врага. Но важно и другое: многое из сегодняшних дел будет самым объективным историком оправдано в случае победы и осуждено в случае поражения.

И все-таки, есть в истории Союза один этап его деятельности, который можно попытаться оценить сегодня: это — довоенный период деятельности НТС.

Все тридцать лет деятельности НТС можно схематично, но довольно характерно, разделить на три совершенно самостоятельных этапа, каждый из которых охватывает примерно десять лет.

Первое десятилетие — довоенный этап. Этап лишь подготовительный, во время которого организацией не ставилось других целей, кроме выработки «оружия» (идеология, программа) и подготовки кадров для борьбы. Даже самое боевое действие организации в тот период, — засылка членов Союза в Россию, — проводилось (с того момента, когда была отброшена мысль помогать в борьбе организациям старшего поколения и когда Союз решил стать на собственный путь борьбы) не для немедленного действия, а для подготовки к какому-то другому этапу.

Второе десятилетие — период войны и послевоенного лихолетья. Это — этап включения подготовленных кадров Союза в обрушившиеся на Россию события и применения выработанного оружия на открывшемся поле деятельности — на оккупированной немцами территории России и среди русских людей, оказавшихся вне сферы коммунистического господства. Это — этап, на котором Союз приступил к непосредственной попытке осуществления своей цели — революции в России, но на котором он старался использовать обстановку, не им вызванную и не от него зависящую.

И, наконец, третье десятилетие — пятидесятые годы. Этап, на котором НТС начал самостоятельную активную борьбу, стал стремиться сам ковать события, создавать революционную организацию в России, используя и внешнюю обстановку, но не обязательно применяясь к ней, часто действуя ей наперекор.

Три принципиально разных этапа: один — подготовительный; другой — вклинения в события, от организации не зависящие; третий — содержащий попытку собственной волей создать соответственные события.

Однако, оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере сегодняшний НТС может быть удовлетворен выполнением своих подготовительных задач в довоенный период, на это первое десятилетие Союза можно посмотреть и со стороны. Историк, который занимается русской

смутой, начавшейся в 1917 году, гражданской войной и, главное, «великим исходом», т. е. первой русской эмиграцией довоенного времени, может (и даже должен!) не учитывать сегодняшнего Народно-Трудового Союза. Но он не может пройти мимо политического явления, которое, с интересующей его точки зрения, может и не иметь организационной связи с сегодняшним НТС, но сыграло в те годы свою определенную историческую роль. Это явление — тогдашний Союз, носивший разные названия, но лучше всего характеризующийся своим последним довоенным названием — Национально-Трудовой Союз Нового Поколения (НТСНП).

Двадцатилетняя перспектива, пожалуй, уже достаточно, чтобы заняться анализом вопроса, какую задачу поставила историческая Россия перед своей первой эмиграцией (20-х и 30-х годов), и как эта эмиграция со своей задачей справилась. Занимаясь этим анализом, вероятно, нельзя пройти мимо законченного исторического явления того периода — эмигрантской организации НТСНП и следует произвести оценку его деятельности.



Февральская революция была бескровной. Император добровольно подписал отречение, и в стране не нашлось сил, которые выступили бы в защиту старого порядка. Абсолютно вне зависимости от нашего отношения к Февралю, приходится признать его закономерность именно из-за отсутствия борьбы с ним. Иначе обстояло дело с Октябрем. С первого дня захвата власти большевиками в России находились силы, этому захвату сопротивляющиеся.

Первоначальный успех большевиков заключался, однако, не только в том, что им удалось захватить власть в Петербурге и Москве. Психологически важнее был факт, что они захватили знамя революции и что всё дальнейшее сопротивление им носило контрреволюционный характер. Трудно сказать, можно ли было успешно бороться с этим первым психологическим поражением, но приходится признать, что этой борьбы никогда не велось. Белая армия никогда не была монархической, — реакцию в действительном смысле слова несли с собой лишь худшие, тыловые проявления Белого движения. И в то же время само Белое движение признало факт своей контрреволюционности.

Но, совершив эту ошибку, русская контрреволюция выполнила свой долг перед историей. В тяжелых условиях гражданской войны она выполнила его на полях сражений, а затем ушла в изгнание и унесла с собой знамя борьбы с коммунизмом. И она сделала много для того, чтобы продолжать борьбу и из-за границы.

За сорок лет существования русской эмиграции было сделано немало попыток осмыслить ее значение и поставить ей те или иные задачи. Принимая во внимание, что была она в большей мере эмиграцией военной, ей пытались сначала ставить чисто военные задачи. Думали, что за границу ушла армия, которая и должна как армия вернуться в Россию и принести стране освобождение оружием от большевизма. В первые годы существования эмиграции о «весеннем походе» не только мечтали, но к нему многие действительно готовились.

Сама жизнь должна была через два-три года положить предел этим иллюзиям: разбросанная по всему миру военная эмиграция пере-

стала представлять собой даже подобие армии. Но кадры военной эмиграции долго не могли отказаться от идеи военной борьбы и продолжали, часто в трагикомических формах, делать ставку на военную роль эмиграции.

Но гораздо длительнее и серьезнее была попытка приписать эмиграции роль «подлинной Руси», которая должна была заполнить пробел в истории России, образовавшийся в результате захвата власти большевиками. Считалось, что большевизм разрушил русскую культуру до основания и что под игом марксизма никакое культурное творчество невозможно. Эмиграция должна сохранить культурные достижения и традиции с тем, чтобы в какой-то неизвестный момент передать их возрожденной России. Для этого эмиграция спростила свою «Русь в мигриальноре» со школами, церквями, театрами, библиотеками, архивами, издательствами, с Иверской часовней в Белграде, после разрушения Иверской часовни в Москве, кое для кого со своим собственным, эмигрантским царем!

Наличие крупных культурных сил в эмиграции создало временную видимость нового расцвета русской культуры за границей и способствовало этим настроениям. Но отрыв от родины приводил к неизбежному закату в области культуры, который и начал сказываться к тридцатым годам. И несмотря на это, утопичность и нереальность такой постановки проблемы долго оставались скрытыми от широких кругов эмиграции, а в какой-то мере не изжиты и по сей день.

Несмотря на то, что в эмиграции двадцатых годов были представлены все политические течения дореволюционной и революционной России, эмиграция не ощущала своей политической роли, не отдавала себе полного отчета в том, что сам массовый исход за границу несогласных с политическим строем страны есть явление сугубо политическое, и что задачи этой эмиграции можно ставить только политические.

Сегодня нам легко определить ту политическую задачу, которую история только и могла поставить перед эмиграцией довоенных лет. Тогда это сделать было гораздо труднее. И даю я свою формулировку не для того, чтобы кого-нибудь в чем-нибудь винить. Мой анализ является скорее оправданием тех, кто этой формулы не нашел. Слишком сложна была обстановка.

Знамя борьбы с большевизмом, и притом организованной борьбы, находилось в руках русских контрреволюционеров. Оно было вынесено за границу. Задача, конечно, заключалась в том, чтобы, сохранив это знамя, понять происходящее на родине, то есть передать его в революционные руки, придать борьбе революционный характер. Затем его следовало вернуть в Россию — передать туда идею организованной революционной борьбы. Этим роль эмиграции была бы выполнена. Замкнулся бы начавшийся с ухода за границу круг. Большой и главный круг, круг всей борьбы с большевизмом, начавшийся с защиты Зимнего, мог бы замыкаться внутрироссийскими силами, в самой России.

Думается, что такая постановка задачи является той мерой, которой следует мерить и оценивать действовавшие в довоенной эмиграции силы. Задача в полном объеме не выполнена никем. Но всякое приближение к ее выполнению является оправданием всего явления русской довоенной эмиграции.



Старшее поколение эмиграции, эмигрантские «отцы» тридцатых годов были слишком близко, лично связаны с последними годами истории некоммунистической России, чтобы преодолеть свой обращенный назад контрреволюционный подход. Ярче всего это проявилось в тех задачах, которые это поколение ставило перед эмиграцией и которые уже описаны выше. Но даже самые боевые, активные круги этого поколения — создатели «Братства Русской Правды», «Крестьянской России» и «Кутеповской линии» при РОВСе — не ставили себе никаких влекущих вперед целей. Правые обращали свои взоры на дофевральское прошлое. Для левых «исходные положения», к которым надо было прежде всего вернуться, находились перед Октябрем.

К политическому мышлению правые были вообще не подготовлены. Левые всем политическим развитием последних лет — революцией и гражданской войной — загонялись в изолированное положение и не могли завладеть умами эмиграции. Особенно ярко это сказалось в начале тридцатых годов, во время выхода на политическую арену нового, пореволюционного поколения эмиграции.

Вряд ли когда-либо так ярко проявлялась грань между двумя поколениями, как в тридцатых годах в русской эмиграции. «Отцы» не могли не смотреть назад, на то, что было в России до революции или во время ее. «Дети», не несущие никакой ответственности ни за потерю старой России, ни за революцию, но проливавшие свою кровь на самых безнадежных позициях, не могли не искать своих путей понимания, почему они оказались у разбитого корыта. Отрыв от старшего поколения протекал болезненно в правых и, особенно, в военных кругах, где кончающая европейские университеты и сравнительно легко входящая в окружающую жизнь молодежь не могла примириться с отношением к себе как к «младшим по чину». Но еще болезненнее он происходил в традиционно левых семьях, так как дравшиеся в Белой армии юнкера, студенты и гимназисты ощущали всё левое как синоним соглашательства с большевизмом, как разрушителя того, что одно могло бы победить большевизм. Новое поколение эмиграции было в своем опромном большинстве брошено в объятия правого лагеря эмиграции, никак не удовлетворяясь при этом его действиями.

Трудно представить себе более сложную обстановку, чем ту, в которой происходил выход на политическую арену нового поколения эмиграции. Волею судеб у него не было и не могло быть учителей. Всеми своими чувствами тяготело оно к правому лагерю, не находя там, однако, того, что искало, не имея возможности ничему там научиться. Образно говоря, политиками их могли сделать «Последние новости»²⁾, но они, в силу исторической закономерности, не могли подчинить их своему влиянию. «Возрождение»³⁾ отвечало патристическим чувствам и влияло на умы, ничему в политическом плане не уча. Не лучшее обстояло дело и в иностранном мире, в частности, в Европе и Азии, где и находились в те годы все эмигрантские массы.

Расцвет демократии и свобод в послеверсальской Европе сопровождался ужасающим социальным неравенством, с которым русская эмиграция знакомилась лично, ощущала его на себе. Ультра-демократические конституции Европы того времени, будь то конституция

Третьей Республики⁴), будь то Веймарская⁵), ни с какой стороны не импонировали и не могли казаться достойными подражания. Первая, казалось, закономерно привела к Народному фронту; вторая — к саморазрушению республики и гитлеризму, введенному «законным» путем. Либеральная демократия сдавала свои позиции во многих странах без боя. Авторитарные режимы устанавливались не только в Италии и Германии, но и в Венгрии, Польше, Португалии, Балтийских республиках, Австрии (перед «аншлюсом»⁶), а в результате гражданской войны — и в Испании.

В борьбе с коммунизмом, — а для антикоммунистической эмиграции это было главным критерием, — либеральные демократии обнаружили свое полное неумение и даже нежелание что-то делать.

С другой стороны, авторитарные режимы импонировали и решительными мерами против местных коммунистов, и твердым отношением к советскому правительству, и — далеко не в первую очередь — социальными мероприятиями, гораздо решительнее приближавшими равенство, забытое либерально-демократическими правительствами тех лет.

Для политически неподкованного нового поколения русской эмиграции создавалась обстановка, полная соблазнов, которая легко могла завести его в тенеты фашизма и, тем самым, сделать непригодным для выполнения своей исторической задачи.

Здесь следует со всей категоричностью отметить, что, придавая сугубое значение этому вопросу и понимая, что новое поколение не смогло бы выполнить своей роли, если бы подчинилось фашизму, автор никак не может согласиться с послевоенными попытками оценивать довоенную деятельность эмиграции, нового поколения тридцатых годов и, в частности, деятельность НТСНП, исключительно в зависимости от демократичности тех или иных мероприятий или принятых решений. Оценка эмиграции исключительно по этому критерию предполагает, что у нее нет целей и задач, лежащих вне ее самой. Если признать, что задача эмиграции или ее группировок сводится к сохранению своих белых демократических риз, то она как историческое явление становится стерильной и никому другому, а тем паче своей стране и своему народу, ненужной.

Новое поколение эмиграции дало целый ряд группировок и течений. Но в своем анализе я коснусь, помимо НТС, только младороссов и фашистов. Среди других не было мало-мальски значительных, которые претендовали бы на переход с контрреволюционных путей на путь революционный. Таким образом, они не отвечают первому, поставленному мною условию (революционность). Фашисты заведомо не отвечают второму (демократичности), но о них нельзя умолчать, если начинать разговор о влиянии новых идей на эмиграцию.

Возникновение чисто фашистских группировок — явление совершенно естественное для европейской (и азиатской на территориях, оккупированных Японией) обстановки тех лет. В Германии образовалось «Русское Национал-Социалистическое Движение» (РНСД), а в японской марионеточной империи Маньчжоу-Го — фашистский Союз под руководством «главы» К. В. Родзаевского.

К чести русской эмиграции следует сказать, что русские национал-социалисты никогда не воспринимались ею иначе как сугубо времен-

ное, конъюнктурное явление. В течение целого ряда лет были они единственной, официально допущенной на территории Германии и оккупированных Германией стран группировкой и все-таки не сыграли в эмиграции никакой роли. Они не были массовой организацией, не дали ничего в социальных поисках того времени, не повели за собой даже тех, кто ради борьбы с коммунизмом был готов на безоговорочное сотрудничество с Гитлером.

Несколько сложнее обстояло дело в Азии с Российским фашистским союзом. В политически еще менее подготовленной, чем европейская, дальневосточной эмиграции Российский фашистский союз играл свою роль. Но тут следует оговориться: внимательный анализ материалов показывает, что не было всех оснований называть эту организацию фашистской, не только по ее методам действия, но и по идеологии, не пошедшей дальше корпоративизма. Конъюнктура сыграла здесь, по-видимому, обратную роль: не фашистская организация прикрывалась знаменем национализма, а национальная, имеющая лишь отдельные признаки фашизма, конъюнктурно-выгодным знаменем фашизма.



Самой крупной и самой активной организацией зарубежья начала тридцатых годов был Союз младороссов. В 1931 году, одновременно с НТС, выдвигают младороссы лозунг национальной революции, сознательно противопоставляют свою революционность контрреволюционности старшего поколения эмиграции. По внешним признакам они ближе всех других организаций примкнули к фашистскому лагерю. Председатель их Союза А. Л. Казем-Бек очень скоро стал «вождем» и «главой». Стройными шпалерами выступали младороссы в своих синих форменных рубашках на публичных выступлениях и собраниях и приветствовали его чеканным «глава! глава! глава!» Демagogично и пламенно выступали их ораторы. Бурными аплодисментами встречала их своя аудитория, но часто аплодировали и инакомыслящие эмигранты.

Вряд ли какая-либо группировка в эмиграции когда-либо так рьяно искала «нового слова», как младороссы. Начинают они со стремления дать своим членам государственные и политические знания, с проповеди «духа православной веры, любви к родине, братской дисциплины и рыцарской чести». Они пропагандировали «надклассовую, социальную монархию трудящихся». Идеиногo копирования фашизма у них не много, за исключением объединения национализма и социальности. Можно привести десятки цитат из младоросской печати, свидетельствующих об одобрительном отношении к социальным реформам фашистских государств и об отрицательном отношении к парламентской демократии. Но вряд ли можно найти у младороссов мотивы человеконенавистничества и, во всяком случае, нельзя найти ничего расистского.

Однако в 1934 году младороссы провозглашают свое превращение во «вторую советскую партию», подразумевая под этим принятие советского строя, в котором власть-де узурпирована правящей коммунистической партией. С этого момента начался постепенный переход младороссов на те рельсы, которые после войны получили название «социалпатристических». Уже одним этим они как бы выходят из игры и не

могут приниматься в расчет для выполнения той исторической задачи, которую мы определили для эмиграции тех лет.

Но окончательный закат младороссов произошел на других путях. Увидав тупик, в который руководство младороссов попало, пытаясь создать чудовищное монархическо-советское построение, облеченное в фашистские формы, оно стало искать выхода во внешнеполитических комбинациях. Пакт Гитлера-Сталина облегчил им эту задачу. Резко переменяв курс, младороссы всецело встали на сторону западных демократий, а в момент, когда Франция объявила войну Германии, Казем-Бек торжественно заявил о том, что предоставляет всю свою партию в распоряжение французского правительства.

После войны в эмиграции восхвалялся этот шаг младороссов как наиболее дальновидный и мудрый. Однако именно он положил конец их существованию в качестве русской политической группировки. Защита Франции от Гитлера является весьма почетным делом, но делом никак не русским и не тем, которое может быть поставлено как задача для русской эмиграции. Не случайно поэтому после войны не было никаких попыток возрождения младороссов, а сам Казем-Бек в начале пятидесятых годов репатриировался в Советский Союз.



Довоенный НТС был, бесспорно, самой характерной «новопоколенческой» организацией тогдашнего зарубежья. Он, единственный, состоял из людей одного, по тогдашнему определению, нового поколения. От старшего поколения он отгородил себя возрастным цензом, запрещавшим, без специального разрешения Исполнительного бюро Совета Союза, прием в Союз лиц, родившихся ранее 1895 года, то есть достигнувших к моменту основания Союза 35-летнего возраста. Такой возрастной ценз оправдал Союз от тех, кто мог бы сослаться на свои достижения, решения и заслуги еще в довоенной России.

Свою «новопоколенческую суть» Союз не осознал с самого начала. Создался он в 1930 году под названием «Национальный Союз Русской Молодежи», выразившим чисто молодежное лицо организации. Но уже на II съезде, в декабре 1931 года, он был переименован в «Национальный Союз Нового Поколения», и это переименование гораздо точнее характеризовало Союз того времени. Не случайно, что современники называли членов Союза в обиходе «новопоколенцами» или, несколько уничижительно, «нацмальчиками».

Но не только по своему составу в эмиграции Союз, в течение всех довоенных лет, был новопоколенческой организацией; в своих поисках общего с народом в России взоры его обращались исключительно к тем, кто в подготовке и делах большевистской революции не участвовал, — к новому российскому поколению. Вопрос поколения перестал играть роль только тогда, когда Союз перешел к непосредственному действию в России — в момент начала советско-германской войны. С этого времени, естественно, возрастной ценз был снят решением последнего съезда Совета перед войной, а слова «Нового Поколения» из названия Союза отброшены единоличным решением руководителя операции по переброске кадров в оккупированную немцами Россию в пер-

вый день войны (Исполнительное бюро, а вслед за ним и Совет, утвердили это решение).

Все довоенные годы Союз ощущал свою ответственность за новое поколение и только в 1939 году, когда стало ясно, что новое поколение, и только оно, способно решить поставленную всей эмиграции задачу, ощутил свою ответственность за всю эмиграцию в целом. Это ощущение вылилось в большом программном докладе председателя Союза, прочитанном в Белграде 22 февраля 1939 года и названном «Иллюзии и действительность»⁸). Доклад этот является соборным творчеством всего тогдашнего руководства Союза: над отдельными его положениями работали специальные комиссии, об их мнениях по отдельным вопросам запрашивались союзные руководители разных стран. Таким образом, этот доклад является одним из основных документов конца довоенной деятельности Союза, и мы вернемся к нему ниже, при обсуждении политической линии Союза тех лет. Сейчас он интересует нас как еще одно веское свидетельство законченности и обособленности довоенного этапа деятельности Союза. Этот доклад завершает этап. Он впервые выражает ощущение ответственности не только за одно поколение, но и за всю эмиграцию.

Вопрос революционности (в противовес контрреволюционности старшего поколения) Союза почти никем из его критиков за границей не оспаривался. «Подготовление национальной революции в России») как первой задачи Союза официально декларировано на II съезде Союза в декабре 1931 года, но в статьях и выступлениях членов Союза эта задача ставится уже с конца 1930 года. С тех пор практически все документы, выступления и статьи свидетельствуют о том, что Союз признает свершившиеся в России перемены и стремится к новой революции в России. Лучшим доказательством является постоянный упор на созидательную программу, рассчитанную на период после свержения коммунизма в России. Упор этот, с большим или меньшим умением, делался Союзом с первого дня его существования.



Что касается влияния фашизма на тогдашний Союз, то проще всего ответить на этот вопрос, начав с внешних проявлений этого влияния. В Союзе никогда не было ни форменных рубаш, ни специальных приветствий, ни чеканных возгласов. На открытых выступлениях союзные ораторы старались убедить логикой, душевным подходом. Широко распространенный в Союзе тех лет «курс умения говорить» отвергал столь характерные для фашизма методы «народных трибунов». Несмотря на то, что в течение 25 лет во главе Союза стоял один и тот же человек — В. М. Байдалаков — он никогда не был ни вождем, ни единовластным хозяином Союза. Один из активных членов НТС того времени, порвавший с Союзом в 1954 году, Б. В. Прянишников, утверждал впоследствии (в статье, полной нападок на НТС пятидесятых годов) о периоде конца 30-х годов: «Не слишком энергичная, но все же вполне определенная попытка горячих голов установить в НТС фашистский принцип единоличного вождя потерпела безвозвратный крах, не найдя поддержки у членов»¹⁰). Должен сказать, что ни просмотр пи-

сем и документов, ни опрос целого ряда союзных руководителей того времени, ни даже внимательное изучение составленного самим Б. В. Прянишниковым ранее материала по истории Союза, не дают никаких оснований считать, что такая попытка вообще имела место. Больше того, к этому времени председатель Союза В. М. Байдалаков перестал занимать в Союзе исключительное положение, которое вообще могло бы надумать какую-то группу членов Союза попытаться превратить его в вождя. По целому ряду вопросов М. А. Георгиевский играл первую роль. Что же касается периода после отхода М. А. Георгиевского от активной деятельности, то тут уже настолько возросла роль Д. В. Брунста, К. Д. Вергуна, А. Э. Вюрглера и В. Д. Поремского, что ни о каком единоличном возглавлении Союза не могло быть и речи.

Внутренняя структура Союза была демократичной только до 1934 года. На III съезде Союза она была отменена, как были отменены и сами съезды Союза. Верховным органом НТС стал Совет, состав которого был зафиксирован и в дальнейшем изменялся его же решением. Однако и это решение, судя по всем доступным документам¹¹⁾, было принято единственно с целью борьбы с агентурой «внутренней линии»¹²⁾, стремившейся как раз тогда к захвату Союза, и для создания условий, при которых Союз мог бы начать отстраивать собственные пути в Россию.



Гораздо сложнее обстояло дело с идеологическим влиянием фашизма. Начиная с июня 1937 года и до апреля 1939 года в одиннадцати выпусках органа Союза «За Родину»¹³⁾ мы находим специальный раздел, носящий название «Новая жизнь». Один раз¹⁴⁾ речь идет там о «Нью диле» — новой политике президента Рузвельта. Во всех остальных случаях статьи раздела посвящены социальным опытам и перестройкам в тоталитарных или, по крайней мере, в авторитарных государствах. Подробно разбирается опыт Португалии Салазара, гитлеровской Германии, Испании Франко, фашистской Италии и Австрии, последней, однако, в статье¹⁵⁾, помещенной непосредственно после ликвидации этой попытки силой произведенного Гитлером «аншлюсса» и содержащей в редакционном введении сожаления по поводу этого акта.

Читая эти статьи, видишь, что написаны они совсем не без попыток найти во всех этих преобразованиях положительное зерно. При этом, положительное виделось не только в уничтоженной Австрии и далекой Португалии. Своей статье «Новая Германия»¹⁶⁾ автор дает подзаголовок «Современный солидаризм», не боясь, очевидно, тем самым замарать любимое членами Союза слово. В этой статье автор, между прочим, пишет: «Наше время — время творческих поисков на пути социальной реформы... Либерально-капиталистическая реформа изжила себя, социалистическое изуверство прозит самому дорогому — нации. Нужны иные решения...

Как ни различны проявления этого социал-реформизма, основная идея его везде одна — национализм и социальная правда — осуществление идеала социальной правды в лоне нации! Мы вправе назвать ее новой движущей идеей, она должна вытеснить космополитизм либерально-капиталистического и интернационализм социалистического мировоззрения...

Новые движения носят разные названия, но сущность их всех лучше всего можно выразить нашим словом — «солидаризм»¹⁷⁾.

Правда, в той же статье есть и другие строки. Правда, автор говорит в ней, что «мы не знаем, во что выльется опыт, что отстоится, что его переживет...»¹⁸⁾, но в сегодняшней оценке статья не может не провозгласить впечатления доброжелательного отношения к социальным реформам раннего гитлеризма.

Не снимает этого впечатления даже объяснение всего замысла раздела «Новая жизнь», в котором говорится: «Наша цель — беспристрастная объективность, наши задачи — на опыте соседей и современников корректировать собственные выводы и построения»¹⁹⁾.

В то время как в разделе «Новая жизнь» влияние национально-социальной политики фашизма неоспоримо, из остальных материалов и статей можно привести немало цитат, которые доказывают, что оно, во всяком случае, было ограниченным. Уже в первом союзном документе 1930 года, «Идеологических положениях»²⁰⁾, отмечалось, что Союз — сторонник «установления личных свобод, равенства всех перед законом и отсутствия классовых и сословных привилегий, как основных условий личного и общественного прогресса...» Этот мотив никогда не исчезал из союзных документов. В противовес этому в союзных статьях отмечалось, что фашизм — «противник всяких свобод, слова, печати и т. д.»²¹⁾. Там же говорится о невозможности увлечения «идеями фашизма, объективно для России абсурдной...»²²⁾.

На вопрос «кто мы?» в 1936 году дается такой ответ:

«...Итак, если мы отбрасываем часть либерализма, *мы — не либералы*, раз мы отрицаем некоторые стороны капитализма, *мы — не его сторонники*, раз мы не преклоняемся перед фашизмом, *мы — не фашисты*, раз мы против расизма, *мы — не национал-социалисты*, раз мы боремся с социализмом, *мы не можем быть социалистами*. Так кто же мы? Мы — солидаристы»²³⁾. (Выделено в подлиннике).

А вот и более яркая оценка происходящего в Германии и Италии, данная уже в 1935 году в статье «Европа у края бездны». В статье приводится цитата из Освальда Шпенглера: «Человек не кто другой, как зверь». Далее говорится:

«И это сказано в стране Шеллинга и Гёте; в стране, где когда-то Мартин Лютер восстал против злоупотреблений папы во имя Христа!

2000 лет за Великим Галилеянином из Назарета шли толпы и толпы с восторгом умереть за Него. Мученики из Колизея, Крестовые походы и войны, костры инквизиции — освещали напряженное искание человечества во мраке Средних веков. Так неужели же все это было напрасно, все зачеркнуто и, круто повернув назад, мы снова у истоков двадцативекового пути, в лесах и дебрях первого дикого человека? ...Ибо призрак воскресающего прачеловека уже есть реальность современной Европы.

...вот иллюстрация. Сообщение, которое несколько дней назад принес телеграф: «В большой Мюнхенской пивной состоялось собрание баварского неоязыческого движения. Глава движения, Вильгельм Бакожен, заявил: «Обряды христианской веры — еще более сильное рвотное средство, чем те, которые можно получить в аптеке». Это заявление вызвало среди присутствующих взрыв восторга. Один из бывших

в зале стал прерывать оратора, причем его слова были поняты, как защита христианства. Его повалили на пол и начали избивать».

...Так материалистическим обожествлением Силы и Расы происходит подмена Христа.

...И вот уже воздвигаются новые пирамиды Хеопса, должны служить прославить новых богов.

«Над Римом будет поставлено бронзовое изваяние дуче, своими размерами превосходящее знаменитый колосс Родосский. Эта статуя будет видна, особенно на солнце, за много десятков километров от Рима. Бедра его обтянуты львиной шкурой. Его рука, длиною в 25 метров, возвышается в фашистском приветствии над Римом. Голова его размерами походит на небольшой дом...»

Мы хорошо знаем брожения на нашей земле. Там создают «богов», в которых хотели бы сами верить. Монументы Ленина в мавзолее у Кремлевской стены, откровение Маркса и «безбожники», фанатики социалистической веры, объявившие войну самому Господу Богу.

...Но слишком малы и слабы эти размалеванные фальшивые боги. Придет завтра — и легкомысленная толпа отвернется от них и втопчет их в грязь. И для нас, националистов русских, стремящихся строить в глубинных основах духа и на извечных ценностях, эти мятущиеся души, взывающие Бога и создающие себе фетиши, да помогут нам, в делах и помыслах наших, уберечь свои души от великого соблазна — не поклониться деревянным богам»²⁴).

Это ли не осознание порочности духовных основ фашизма, национал-социализма и большевизма, а также общности этих трех видов тоталитаризма?

Поразительное противоречие! И отрицание фашизма здесь, конечно, гораздо более глубокое, чем благожелательное отношение к социальным реформам гитлеризма того же времени. Но неужели можно хладнокровно смотреть на социальные опыты страны, совершенно абстрагируясь от строя, в этой стране существующего? Не правильно ли сказать, что только наивные юнцы, только необстрелянные в политике «новопоколенцы» могли предположить, что, беспристрастно изучая социальные реформы национал-социализма и выискивая там положительное зерно, можно избежать влияния на всю свою идеологию?

Думается, что ответ следует искать в том идеализме, в том пафосе служения и свободы, которым жил Союз с первых дней своего зарождения. Идеология раннего НТС не свободна от пятен постороннего влияния, но они не глубинны, не затрагивают сути, никак не лишают его возможности выполнять стоящую перед ним историческую задачу.



Обратимся теперь к вопросу о политическом влиянии и посмотрим, как оно отразилось на стратегии и тактике НТС.

Союз старался никогда не вмешиваться во внутренние дела тех государств, на территории которых он существовал. Из-за этого и не было никаких официальных суждений или решений исполнительных органов Союза по поводу политических шагов каких-либо государств, в частности, гитлеровской Германии или фашистской Италии. Однако

на деятельности Союза в Германии (в Италии не было Отдела Союза) гитлеровская политика должна была как-то отразиться. Это произошло в июле 1938 года, когда на Отдел в Германии было оказано давление. Исполнительное бюро предписало Отделу не поддаваться давлению и выпустило следующее сообщение:

«Ввиду выяснившейся невозможности самостоятельной и независимой работы нашего Союза в пределах Германии, Исполнительное бюро постановило, не дожидаясь официального закрытия групп НТСНП в Германии, приостановить работу этого Отдела *впредь до наступления более благоприятных условий*» (выделено мною. — Л. Р.)²⁵).

Напечатанные в газете и выделенные мною слова достойны положительной оценки. Известно, что и за менее определенно выраженные сомнения в долговечности гитлеризма в гитлеровские годы приходилось отвечать. При арестах руководящих членов Союза гитлеровскими властями, в годы войны, им не раз напоминали эту фразу.

Официально о своем нейтралитете в европейском военном конфликте Союз заявлял несколько раз. Последнее сообщение было сделано, когда разразилась война в Европе. Исполнительное бюро сообщило тогда группам Союза:

«Создавшаяся к настоящему моменту международная обстановка диктует нам:

— Члены Союза выполняют на местах свои обязательства по отношению стран, их принявших.

— Весь же Союз, в целом, в современном вооруженном конфликте занимает позицию бескомпромиссного нейтралитета»²⁶).

Но решение о нейтралитете свидетельствует в первую очередь о стремлении Союза быть независимой российской силой вообще, а не специально о нежелании подпасть под политическое влияние Германии или отказаться от всякого сотрудничества с ней.

Единственным политическим решением, которое могло бы обеспечить Союзу поддержку Германии, или которое, по крайней мере, могло бы повести к какому-то сотрудничеству с Германией, был бы переход Союза на популярные тогда в эмиграции пораженческие позиции.

Но такого решения Союз никогда не принимал. Собранный в сентябре 1938 года Совет Союза определил стратегическую линию Союза в случае войны с участием СССР. Эта линия предполагала, что Союз должен был «быть с народом», отправляя свои кадры для разворота своей деятельности в любые доступные ему районы страны. Кадры, по этому замыслу, должен был и физически разделить судьбу нашего народа»²⁷).

Примерно в тех же словах эта мысль формулировалась Исполнительным бюро уже раньше:

«В случае внутренних крупных потрясений на родине, как и в случае внешнего открытого конфликта, Союз использует открывающиеся возможности для установления единства с нашим народом в его борьбе»²⁸).

Но ярче всего это было высказано 22 февраля 1939 года в упомянутом уже выше докладе председателя Союза «Иллюзии и действительность»:

«И ничто не подсказало многим, что беспредметен, наивен и вреден

этот спор: куда и с кем идти. Что, наконец, у русской совести может быть на это только один ответ:

— Ни со Сталиным, ни с иноземными завоевателями, а со всем русским народом»²⁹).

Но если это заявление звучит лишь как отказ идти вместе «с иноземными завоевателями», то в следующих словах поворачивается уже о борьбе с ними:

«Никто не отрицает, что борьба на два фронта: с завоевателями извне и с пиранией внутри, — будет весьма тяжела»³⁰).

Хотя и после заключения советско-нацистского пакта ни о каком другом «иноземном завоевании», кроме как со стороны гитлеровской Германии говорить не приходилось, следует специально отметить, что эти слова сказаны до его заключения, а, значит, уже совсем бесспорно относились к Германии.

Примерно в то же время, т. е. вскоре после возвращения двух союзных руководителей (Г. С. Околовича и А. Г. Колкова) из полугодового подпольного похода в Россию, Германия проявила большой интерес к деятельности Союза и предложила ему свою материальную поддержку. На переговоры по этому вопросу в Германию ездили В. М. Байдалтаков, М. А. Георгиевский, Г. С. Околович и несколько союзных руководителей из других стран.

В ходе переговоров Союзу была предложена крупная материальная помощь, во много раз превышающая все прежние возможности Союза. Однако условия оказания этой помощи не гарантировали независимости Союза, и она была единодушно отвергнута.

Не приходится особо говорить о том, что, по мере продвижения гитлеровских войск по Европе, Союз подвергался запрету во всех странах, попадавших под немецкую оккупацию. Это было в порядке вещей, а после занятия Белграда немецкими войсками был немедленно опечатан немецкими властями союзный клуб. Вскоре произошли и первые аресты. Гестапо явилось на общее собрание Клуба русской молодежи в Праге 14 апреля 1941 года и арестовало пятерых участвовавших в собрании руководителей Союза: Д. В. Брунста, Н. И. Бевада, С. И. Бевада, Г. Я. Гандзюка и В. Я. Горачека. Они были выпущены вскоре после начала войны. В течение же военного периода Гестапо было арестовано более двухсот членов НТС.

В начале 1941 года руководство Союза приняло решение на случай, если СССР окажется временно в одном лагере с Англией и Америкой, послать в эти страны делегацию Исполнительного бюро во главе с секретарем Исполнительного бюро М. А. Георгиевским. В то время как весь Союз должен был действовать на оккупированной немцами территории, эта делегация должна была приступить к активному действию только после разрыва между союзниками, который казался тогда неизбежным. Внезапная оккупация Югославии немецкими войсками пресекла эти планы. Но, следуя принятому решению, М. А. Георгиевский все-таки вышел из состава Исполнительного бюро и не принимал никакого участия в операциях Союза во время войны³¹).

Таким образом, нельзя не признать, что в течение всего довоенного периода своей деятельности Союз ни в чем не подпал под политическое влияние гитлеровской Германии и остался и в чисто политическом плане абсолютно независимой российской силой.

В мою задачу не входит сейчас разбирать вопрос о деятельности Союза в военный период. Думается, как я уже говорил раньше, что это вообще невозможно сделать сейчас со всей объективностью и достаточно документированно, пока нет полного доступа к немецким и никакому — к советским архивам.



Анализируя события двадцати-, и даже тридцатилетней давности, я исключительно занялся лишь теми, которые происходили за границей. Несколько умышленно, но без большого труда, мной исключено из повествования всё, непосредственно касающееся событий внутри России.

Для выполнения роли довоенной эмиграции, как уже упоминалось, нужно было бы взять в революционные руки знамя организованной борьбы с коммунизмом в России из рук, выполнивших свой долг русских контрреволюционеров и вернуть это знамя в Россию.

В современной России заметны свежие побег революционной борьбы, начинающей принимать организационные формы. И видна связь между теперешними событиями и теми, которые мы анализировали выше. И, таким образом, создается впечатление, что до войны были люди, которые оправдали всё явление русской довоенной эмиграции. Мы за рубежом можем еще многим помочь нашей стране, но круг всей борьбы с большевизмом замкнется внутрироссийскими силами.

¹⁾ В. Соколов, «Ядовитые пауки». «Красная звезда», 18 марта 1960 г.

²⁾ «Последние новости» — газета, издаваемая до войны в Париже П. Н. Миллоковым. Вокруг газеты группировались публицисты, составлявшие вместе с П. Н. Миллоковым «Республиканско-демократическое объединение», стоявшие на эволюционистских позициях. Они рассматривали нэп как признак эволюции власти, считали, что «революционный удар» не может продолжаться долго, что во внешней политике советская власть, даже помимо своей воли, вынуждена будет защищать интересы страны.

³⁾ «Возрождение» — правая, национально-патриотическая газета, издававшаяся в Париже до войны.

⁴⁾ Франция.

⁵⁾ Германия.

⁶⁾ Присоединение Австрии к гитлеровской Германии.

⁷⁾ Слово «трудовой» вводилось решениями Совета в название Союза, по мере развития его идеологии, в несколько приемов. Сначала был введен подзаголовок «Национально-Трудовой Союз» в материалах, создаваемых для России (июль 1935 г.). Затем этот подзаголовок стал обязательным и в эмиграции (февраль 1936 г.). Наконец, в апреле 1936 года, вместо подзаголовка было введено новое название — «Национально-Трудовой Союз Нового Поколения».

⁸⁾ Доклад «Иллюзии и действительность» опубликован в сокращенном виде в «За Родину» № 76/18 от 1 марта 1939 года и издан без сокращений отдельной брошюрой.

⁹⁾ «Задачи Союза» — документ, принятый II съездом Союза 25-28 декабря 1931 года. Опубликован в январе 1932 года вместе с «Идеологическими положениями», принятыми на I съезде Союза (1-5 июля 1930 года) и дополненными на II съезде.

¹⁰⁾ «Новое Русское Слово», 11 марта 1955 года, Нью-Йорк.

¹¹⁾ Ротаторный полный отчет ю III съезде; «За Россию» № 27, май 1934 года, с отчетом о съезде и статьей «Наш новый устав»; сохранившаяся переписка между членами Исполнительного бюро и руководством Отдела Союза в Бельгии.

¹²⁾ «Внутренняя линия» — подпольная организация в недрах РОВС'а (Русско-го Обще-Воинского Союза), созданная для борьбы с советской агентурой, но сама захваченная ею.

¹³⁾ «За Родину» №№ 60/2, 61/3, 62/4, 63/5, 65/7, 66/8, 67/9, 68/10, 70/12, 77/19, и 78/20.

¹⁴⁾ Д. Заборовский, «Опыт президента Рузвельта». «За Родину» № 68/10, июнь 1938 года.

¹⁵⁾ Д. Заборовский, «Австрийский корпоративизм». «За Родину» № 66/8, апрель 1937 года.

¹⁶⁾ Д. Заборовский, «Новая Германия». «За Родину» № 62/4, сентябрь 1937 г.

¹⁷⁾ Там же.

¹⁸⁾ Там же.

¹⁹⁾ «За Родину» № 62/4, сентябрь 1937 года.

²⁰⁾ «Идеологические положения» в первый раз были изданы в Белграде ротаторным способом в 1930 году. Они цитировались зарубежной печатью в отчетах о I съезде Союза, напр., в журнале «Часовой», № 37, 15 августа 1930 года, Париж.

²¹⁾ Н. Бабкин, «Фашизм и освобождение России». «За Россию» № 28, июнь 1934 года.

²²⁾ Там же.

²³⁾ Ромба, «Национально-трудовой солидаризм (Мысли о солидаризме)». Орган Комиссии по организации внутренней работы Отдела НСНП во Франции «Кюстер» № 3, апрель 1936 года, Париж.

²⁴⁾ А. Бердников, «Европа у края бездны». «За новую Россию» № 39/4, июль 1935 года.

²⁵⁾ От ИБ Совета Союза — группам Союза. «За Родину» № 69/11, август 1938 г.

²⁶⁾ «За Родину» № 90 от 1 октября 1939 года.

²⁷⁾ Циркуляр Исполнительного бюро № 681, 1 октября 1938 года.

²⁸⁾ От Исполнительного бюро Совета Союза — группам Союза. «За Россию» № 53, Октябрь 1936 года.

²⁹⁾ Доклад В. М. Байдалакова, «Иллюзии и действительность». «За Родину» № 76/18 от 1 марта 1939 года.

³⁰⁾ Там же.

³¹⁾ Отказываясь от какого бы то ни было сотрудничества с немцами, М. А. Георгиевский не выехал в Германию, когда наступали советские войска. Он был арестован и, по имеющимся данным, провёл семь лет в советских тюрьмах и лагерях, где и скончался в 1951 (?) году.

Библиография

О четырех поэтах

Среди скромного количества стихов, вышедших за истекший год, четыре сборника выделяются совершенно исключительными достоинствами.

Первый из них «Десять лет» Ирины Одоевцевой — немалое событие в русской литературе. Да и в любой другой, не разоренной сорокалетним хозяйничаньем коммунистической партии, он бы занял видное место. Уже в первые годы революции ее юношеская «Баллада об извозчике» выделялась необычностью. Теперь же ее дарование достигло расцвета. Зрелость ее мастерства дарует ей свободу, доступную лишь немногим. Такие выражения, как «по щемляще до слез сожалелому», «глазы», «и оку и пру» (намек на лермонтовское «и скучно и грустно») или рифма «степановича — сгоряча», у любого другого показались бы вычурностями или даже срывами. Но у Одоевцевой такие «вольности» не только сходят благополучно, но даже придают ткани стиха некую особую живость и остроту. Действительные срывы, как, например, «телевизьон трещит в полубезлюдном зале» у нее чрезвычайно редки, да и тут сорвалось, пожалуй, главным образом, из-за иностранного слова, дурного даже на языке, из которого оно взято.

Одоевцева легко и смело переходит от образа к образу, удачно сокращая огромные расстояния:

Ирина Одоевцева, «Десять лет», стихи, Изд-во им. Ирины Ясен, «Рифма», 1961, Париж.

В преображении потерь
Ты стал горбатый, лысый,
Ты стал хвостатой крысой,
Ты стал крапивой иль прибором...

бесконечно удаляясь от своей исходной точки ракурсом, напоминающим Дюфи, живописца насквозь литературного, как и сама Одоевцева. В ее стихах то и дело встречаются и Блок, и Хлебников, и Тютчев. Луч увидит

В пушкинскую ли «Метель»,
В гоголевскую ли «Шинель» —
Попадает прямо в цель
Вдохновенья канитель...

Лермонтовские реминисценции возникают неоднократно. С редким умением усиливает она контекст:

По синим волнам океанится парус,
Налейте вина и возьмите пистолет,
Давайте о завтра мечтать...

Поэзия пишется не для «знатных доярок» и даже не для высокопоставленных чекистов, а для людей, дышащих и живущих ею, для которых она — хлеб насущный. А для таких и Лермонтов, и Блок, и Хлебников — неотъемлемая часть их жизни, и если «силлабически листья шуршат», то это для них внятнее, чем шум приводных ремней на любом социалистическом строительстве, хотя в этом сурковы и корнейчуки никогда ничего не поймут, сколько им не толкуй. А русская молодежь поймет и оценит, и отдаст Одоевцевой должное, когда ее узнает.

Она лишена всякого сознательного демонизма и вообще романтики. Но надеется, что «...мне до Страшного Суда... прогнать еще дадут». Одовецца и не скрывает своего эгоцентризма, не рисует, не старается показаться лучше, чем она на самом деле есть. Слово «ад» неоднократно в ее стихах упоминается. Но он не только ее обитель, и она не отрицает своей к нему причастности, пренебрегая моральным судом читателя:

Ничего я не любила,
Кроме лунных ожерелий
Да цыганского безделья
И подснежников апреля...

Или гораздо более веско:

...мне дышать не надоело,
Хоть «печален наш удел».
Жизнь приятнейшее дело
Изо всех приятных дел.
Я во сне и наяву
С наслаждением живу.

Для такого рода признаний нужно небольшое мужество. Обычно большинство поэтов предпочитает о самом главном умалчивать. Зато и интересуют они нас меньше, чем Одовецца.

*

Другое дело — Игорь Чиннов. У него есть сердце и он справляется со своей судьбой и со своим словом без холодной отрешенности и суверенной легкости Одовецца бы, наверное, воскликнула: он недоуменно растерян перед ужасом современной жизни, выходящим для него за пределы его индивидуальных ощущений, о которых он, кстати, говорит довольно мало. Судьба и смысл человека и мира — проблемы, над которыми он мучительно бьется, остро ощущая свое сопричастие всему и свое бессилие.

В момент разрыва атомной бомбы Одовецца бы, наверное, воскликнула: «мне плохо!», а Чиннов — «мир гибнет и я в нем». Поэтому напрасно он утверждает, что

Игорь Чиннов, Линии. Вторая книга стихов. Изд-во им. Ирины Яцен, «Рифма», 1960, Париж.

«На двадцатый век тебе в стихах
Не удастся отозваться».

На самом же деле, может быть, никакому другому поэту не удалось отозваться на двадцатый век так верно, как Чиннову. Например, в изумительном стихотворении, начинающемся строчкой «Голод в Индии, голод в Китае...», говоря о себе, он сумел спуститься в глубины, в которых его голос сливается с голосом нас всех, ибо для кого сегодня мироздание не пахнет «чем-то страшным, тюремно-больничным», кто из нас не обращался с робким молением к Богу и не отчаивался от Его молчания? Но он идет дальше нас, ибо он — поэт:

...или небо вечернее, цвета
Бирюзы, сквозь березы —
Это все же обрывок ответа
На молитвы и слезы?

Итак, все время он то — «о Вокруге, о Венгрии», то «Что-то вроде России, что-то вроде печали», то «не в России, так в Германии», то «если завтра война» и даже: «Знакомое зло, привычное зло» (А все-таки нет войны)...

Он тревожится: «Скажи, что случилось с миром?» Эпоха выросла в пейзаж:

Дымный закат — как зарево взрыва
(Взрыва в Сибири? Взрыва в Сахаре?)

Политическая поэзия Чиннова не проповедует с трибуны, срывая свой голос трагическим воплем. Он — о буднях нашего века:

...хлопоты, горести, почести, прибыли,
Крик перед смертью, что денешки стилирилли.
Вот вам гармония, вот Провидение:
«Смерть несомненна» (чего несомненнее)...
Ибо только в будни может возникнуть такое:

Поглядим, если завтра война,
Как сегодня погода прозрачно ясна...

И эти будни страшнее и правдивее всяких апокалиптических ужасов, и по ним чуткий потомок лучше и глубже узнает правду о наших днях, чем по высокопарным лирадам и пророческим возгласам стольких знаменитостей.

За себя ли одного, или за нас всех,
Чиннов умеет быть и ядовитым:

Спасибо, что облако меркнет и тает
Над этой в закат улетающей стаей,
И розовый свет приближается к морю...
Ну, что же, спасибо. Да разве я спорю...

Но этим, конечно, не исчерпывается содержание книжки Чиннова. Со времени своего предыдущего сборника «Монолог» он чрезвычайно вырос, окреп и как человек и как мастер. Он улавливает удивительнейшие оттенки еще заметными модуляциями звукописи, его рифмы стали ненамеренно изысканными. Он замечательно умеет «делать» стихотворение, ориентируя вдохновение в наиболее плодотворном для него направлении, а также претворять страдание в поэзию так, чтобы и выходила поэзия и оставалась неподдельная подлинность страдания. И еще многое, о чем в короткой рецензии не сказать — о Чиннове стоит поговорить подробнее отдельно.

Жаль только, что его соблазняет «парижская нота», которую он намного перерос. Пусть лучше иные «парижане» поучатся у него. Чиннову, наоборот, следовало бы дерзнуть. Он поэт достаточно крупный и серьезный для того, чтобы никакое дерзание ему не возбранялось.



Стихи Михаила Форштетера вышли посмертно. При жизни он никогда не печатался. Это для нас всех — непостижительно. Ободренный заслуженными им высокими похвалами, он, может быть, оставил бы нам больше. Посмертный этот сборник и так невелик, а в нем еще добрая четверть переводов! Но поэзия — не случайно, и на аршин не меряется. Иной поэт обесмертил себя немногими строками.

Поэзия его весьма несвоевременна. Она и малоприятна для рядового читателя: ни бурных страстей, ни ярких образов, ни красноречия в ней не найти. Она проникнута острым ощущением трагизма человеческой жизни и истории, их

безысходности, непоправимости и щемящей грусти по редким, смутным мгновениям прошлого.

Сверканье премящих поездов,
Как счастье невозможное, зовет.
Над башнями немецких городов
Заря дернатым облаком цветет.

И замкнула горная опрада
Небеса в лазоревой оправе...

Форштетер обуреваем захватывающе непреодолимой стихией музыки:

Все у него сдержанное, скупое. Но в то же время и непривычное. Чем больше времени проходит, тем сильнее звенят они в нашей душе. Он не видит окружающего мира, тревожно скитаясь в царстве призраков давно ушедших лет и жизни. Вот, например, его Прага:

И злым и радостно-крылатым
Я стал в тугом твоём кругу.
Хранимый ангелом проклятым,
Тебя тревожно стерегу.

Но лучшее в книге, имеющее наибольшие шансы на бессмертие — его стихи об императорской России. Незабываем образ царя в воспоминании о юношеской любви в давно прошедшей Москве:

И снова снег запорошит панели,
Кружась в луче фонарного огня...
Тогда пройдет еще один в шинели
По мостовой, чуть шпорами звеня...

Особенно хороши стихотворения «Офицерам лейб-гвардии Семеновского полка» и «Императрица Мария Александровна на смотре», которые следовало бы привести целиком. Только одна Ахматова сумела найти для скорби о России такие ясные, потрясающие своей простотой слова:

Сегодня падшая Россия
Скорбит над мертвою Москвой...

Для Форштетера монархия и Россия неразрывны.

Символы державные темны
За стеной разбойных поколений.
Страшные перемены ступени:
Нет царя, нет войска, нет страны.

Михаил Форштетер, Стихи, Париж, 1960.

Не нужно быть монархистом для того, чтобы взволновали такие стихи.

Принято недооценивать залежи глубокого и беззаветного монархизма в душах русского еврейства из-за вынужденного антисемитизмом участия многих евреев (обычно далеко не лучших) в революционном движении. Но стихи Форштетера могут заставить задуматься многих. Так не притворяются.

*

Олег Ильинский — самый молодой из четырех и впервые выпускает тоненькую, увя, книжку стихов. Он мальчишкой был вывезен во время войны из России.

Любопытно, что среди всех поэтов русской эмиграции он — самый западный. Запада нет ни у Одоевцевой, ни у Чиннова, если не считать редких и «между прочим» упоминаний о Германии или о Риме. Тогда как у Ильинского Запад живет своим искусством (главным образом, готикой), германским студенчеством, итальянским средневековьем, голландскими гаванями, музыкой и поэзией, спортом и туризмом, Гёте и Стендалем. В этом отношении он, пожалуй, ближе всего к Блоку, с его итальянскими стихами и налетом германского романтизма. Явление, редкое своим подлинным, неподдельно глубоким чутьем к сущности Европы.

Также необычно в русской поэзии, с некоторых пор особенно упорно погружающейся в свой внутренний мир, умение Ильинского жить вовне, глазами, красками и отмечать увиденное со свирепой, безукоризненной точностью. Его обширный, разношерстный, разнородный словарь изобилует удачными неожиданными словами: «как вздулись ручьи в вздрававшей пене»; девушку, увиденную в трамвае, он хочет «приколоть на кончик пера, как бабочку премудрый энтомолог»; у него «кружка пива в белом парике»; «хрусталь на подках многогранный, чистый, звонкий, ясный, как мороз».

Он также умеет немногими словами создавать настроение:

Олег Ильинский, Стихи. Изд-во «Полев», 1960. Франкфурт/Майн.

Молодцы с кремневыми ружьями
По камням отбивают шаг...

или вот 1945 год:

В вязких воронках стоит вода,
Листья в пыли. Окопы. Деревья.
Улицы. Рваные провода...

Но Ильинский не попружен невылазно в книжную и уличную пыль — природу он видит также ярко и свежо, как и человеческую среду. Он охотно останавливается на мелочах, но не напрасно — «духи» являются на зов:

...Это мир слизняков и гусениц,
Влажных листьев, мутных канав,
Здесь в июле слепни укусами
Донимают глухих собак.
Это полдень с пчелиным пенем,
Это пчельник на пустыре,
У канавы стоит репейник,
Простокваха киснет в ведре...

Он совсем не такой «схимник, как может показаться на первый взгляд. И высшие ценности для него — жизнь и любовь. Фауст — «все же немудрую Маргариту всем премудростям предпочел». А с тонким намеком на советского спутника, ученый говорит:

Мелькнула жизнь, и так неважен атом
И ход планет в сравнении со смертью...

Живо отзывается он и на события. «Похилчение» — о гибели Трушновича, и «Это сражается Будапешт» — превосходные образцы политической поэзии. До войны зарубежная поэзия была аполитичной, а теперь с ютрадой мы отмечаем неожиданные успехи в этом нелегком жанре и у Форштетера, и у Чиннова, и у Ильинского. Но это только начало, хотя и многообещающее.

Несмотря на живость и богатство, на оригинальность и на далеко не шаблонное мастерство, Ильинскому еще не хватает зрелости. Несмотря на словесное своеобразие (кое-где ощущается школа Пастернака) и на удачную лаконичность, он еще неровен и часто срывается в приближенность и в тусклую невнятность. Он еще не всегда умеет додумать эпитет до конца. Но даже его

неудачи — ценны. Они не от бедности или слабости, а, наоборот, от бурления еще неоформившихся сил.

В книжке уже имеется не менее пяти-шести стихотворений целиком превосходных. Для начала это больше, чем достаточно. Но ему следует одинаково избегать и уныния, и неуверенности, и самовлюбленного зазнайства. Цена ему высокая, но ему еще предстоит много серьезной и смиренной работы и над собой и над своим творчеством. Он не должен

бояться срывов и теряться. Тогда для него будет многое возможно.

Хотя российская эмиграция и малочисленна, хотя и бедна и оторвана от стихий родного языка, достижения поэтов не так уже незначительны, как хотелось бы ее коммунистическим противникам, утверждающим без конца «загнивание эмиграции на корню». Не znато, были ли за все сорок лет «под солнцем социализма» хоть один год, в который появилось бы четыре сборника стихов такой ценности, как эти.

Музей современной поэзии

Составитель этой книги поставил себе задачу, неразрешимую в пределах одного, даже объемистого, тома. Хотя невежды и реакционеры твердят об «упадке» современной литературы, неуверенно цепляясь за выдохшиеся академические образцы недавнего прошлого, модернистическая поэзия последних пятидесяти лет так грандиозно богата сильными личностями, замечательными, оригинальными произведениями, раскрывающими безгранично широкие горизонты, живой мыслью и жизнью духа, что на 400 страниц о ней можно дать лишь весьма приблизительное, отрывочное и, во всяком случае, недостаточное представление.

Поэтому пробелов в книге чрезвычайно много. Исключены целые опромные литературы, изобилующие произведениями исключительной красоты и новизны: китайская, японская, армянская, румынская, украинская, датская, финская, каталонская, фактически, также и бразильская, представленная только одним, правда, замечательным, стихотворением, все-таки указывающим на несметные богатства литературы шестидесятимиллионного народа, стоящего на пороге огромного будущего. Голландия представ-

лена только одним единственным поэтом, хотя и безусловно интересным (Ван Остайеном, van Ostaïjen), но второстепенным среди небывалого, днущегося уже 80 лет расцвета этой литературы, изобилующей поэтами первой величины, действительно сумевшими увидеть мир новыми глазами. Турция, — тоже переживающая поэтический расцвет, — фигурирует в лице одного только Назыма Хикмета (Nazim Hikmet), более известного своей причастностью к компартии, чем чисто художественными заслугами. Среди поэтов других стран особенно бросается в глаза отсутствие таких значительных имен, как Артур Лундквист (Lundkvist) — Швеция; Ади, Радноти, Вереш (Венгрия); Лесьмян (Leśmian) — Польша; Арто (Artaud), Жильбер Леконт (Gilbert Leconte) — Франция; Астуриас (Asturias), Ундуррага (Undurraga), Виллауррутия (Villaurrutia), Эгурен (Eguren), Лискано (Liscano) — Латинская Америка; Д. Х. Лоренс (Англия) и многие другие.

Из русских отсутствуют: А. Белый, В. Ходасевич, Г. Иванов, Н. Заболоцкий, С. Кирсанов, Л. Мартынов и М. Цветаева.

Даже в своей родной Германии составитель забыл Оскара Лёрке (Loerke) — крупнейшего из поэтов, развивавшихся после экспрессионизма.

Тем не менее, книга так насыщена со-

H. M. Enzensberger, „Museum der modernen Poesie“. Surkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1960.

держанием, живой мыслью и прекрасными поэтическими текстами, что краткая рецензия не может дать никакого представления об ее богатстве, и нам еще непременно придется вернуться к ней в более пространной статье. Для неспециалиста она будет настоящим открытием, да и любой специалист найдет в ней для себя немало нового. Хотя и отрывочно, она открывает ему глаза на целые миры необычайной, неожиданной красоты, о которых обычно умалчивает боязливая, близорукая критика руководящих органов печати.

Хорошо представленные Гуннар Эке-лөф (Ekelöf) — Швеция, Дилан Томас (Dylan Thomas) — Англия, Джузеппе Унгаретти — Италия, Незвал (Nezval) — Чехия, Вальехо (Vallejo) — Перу и другие принадлежат к числу ярчайших корифеев современной поэзии. Они показывают, насколько необоснованы жалобы конформистов на несостоятельность модернизма.

Немецкие переводы, сопровождающие оригинальные тексты, в большинстве случаев удовлетворительны, а порою и превосходны, хотя составитель и не использовал все имеющиеся немецкие источники. Для краткости укажу только на два, особенно замечательных и выбором текстов и качеством перевода: Л. Семе-ре (Szemere) — *Ungarische Dichtungen* и „*Spiegel der Niederlande*“ Вольфганга Кордана (Cordan). Он же перевел Кавафиса, по-моему, лучше, чем использованный составителем Штайнен (Steinen).

Книга открывается превосходным, кратким, брызжущим мыслью введением, разрушающим немало общепринятых предрассудков. В нем составитель показал свой недюжинный литературный опыт, культуру, вкус и горячую любовь к поэзии, очень редко встречающиеся у одного и того же лица в столь высокой степени.

С большой смелостью он опстраняет всякие промежуточные категории и без оговорок выделяет наиболее значительное, каким бы непривычным оно ни было, понимая, что только бескомпромиссное творчество достойно этого имени.

Единственный, но существенный недостаток книги — ее политическая тенденциозность. Наиболее обширно представ-

лены Маяковский, Лорка, Неруда, Альберти и Брехт. О Лорке два раза (на стр. 17 и 391) повторяется, что он погиб по вине Франко, не только без всяких доказательств, но даже без указания на сомнительность этого утверждения. Ведь Лорка был убит за пять дней до вступления франкистов в Гранаду! Он — единственный некоммунист (сюрреалист, троцкист) из вышеуказанных пяти поэтов. Впрочем, все лучшие стихи Неруды были написаны им, когда он был сюрреалистом, до его вступления в компартию. А мы-то, русские, знаем, что Маяковский не только не первый (как выходит по книжке) поэт всего нашего века, но даже не первый в России (а Хлебников, а Мандельштам, а Цветаева, а Есенин и мн. др.). Зато такие действительно большие поэты, как Каррера Андраде, Антонио Мачадо, Макс Жакоб, Уоллес Стивенс, Тувим или Йожеф Атилла (Jozsef Attila), представлены количественно явно недостаточно, не характерно, не наилучшими их вещами, но пак или иначе левыми по тональности.

Хотя составитель и заявляет, что он „*sich... jeder ideologischen Vorzensur strikt enthalten hat*“, почти все слабые тексты книги взяты по соображениям политическим.

В книге совсем не представлен гиперболический юмор, составляющий характернейшее свойство и глубочайшую сущность современной поэзии. После сюрреализма он стал плодотворнейшим источником обновления слова и метафорики, часто идя дальше и поражая воображение сильнее, чем абсурд. Зато, особенно в конце, антология изобилует текстами, весьма сомнительного художественного достоинства, восхваляющими республиканскую Испанию. Тем не менее, в книге нет ни одного стихотворения о подавлении венгерской революции коммунистами, хотя на эту тему имеются и у самих венгров, и у других народов произведения по-иному значительные, чем нерудовская „*Almeria*“!

Среди жертв коммунизма в книге фигурирует один только Мандельштам. Нет ни Цветаевой, ни Клюева, ни Павла Васильева, ни Свидзинского, ни Плужника, ни Купалы, ни Яшвили, ни Перца Маркиша, ни Благи, ни Чаренца. Нет в ней ни одного эмигранта из стран, пора-

бощенных большевиками, даже таких бесспорно значительных поэтов, как Вержинский, Лехонь, Павликовська, Блатни, Николай Оцуп, Юрий Клен, Текеян, Стамату, Ременьик, Фолудь и многие другие, в том числе и кое-кто из упомянутых нами выше.

Зато в книге фигурируют слащавые, насквозь фальшивые вирши Арагона про «Сирень и розы», к слову сказать, никакого отношения к модернизму не имеющие, и лицемерные жалобы Назыма Хикмета на изношенные брюки. Фигурирует в ней и итальянец Квазимодо, участвовавший в травле Пастернака. Не он ли один из тех, кто, по словам составителя, „sich mit der Barbarei eingelassen“?

Но, несмотря на то, что политические пристрастия бесполезно ослабили художественный и человеческий интерес к этой замечательной книге, она несомненно поможет крушению всякой тирании, в первую очередь советской, не менее острвенело, чем Гитлер, преследующей всякий модернизм.

Было бы весьма желательно, чтобы эта книга проникла в нашу страну в возможно большем количестве. Она несомненно внесла бы туда струю свежего воздуха, столь там теперь необходимую. А соглашательство с коммунизмом могло бы составить ее алиби.

Эммануил Райс

Путешествие в Россию сто лет назад

Сейчас, когда так много пишут о своих впечатлениях всякие проникающие в СССР талантливые и бесталанные путешественники, своевременно появление нового издания заметок о своем путешествии в Россию сто лет тому назад прославленного автора «Трех мушкетеров» Александра Дюма-отца, появлявшихся во французской прессе с 1858 года, когда рассказчик находился еще в пределах Русской Империи.

Дюма, наделенный природой исключительным даром рассказчика (надо однако не забывать, что своим девизом он считал слова „ad Narrandum et non ad Probandum“) — отправился в поездку по приглашению своих друзей, молодой четы Кушелевых-Безбородко, ведущих широкую жизнь в Париже, где они снимали целый этаж в славившейся тогда гостинице «Трех императоров», ставшей теперь «Отелем дю Лувр». Соблазненный возможностью побывать в качестве шафера на свадьбе младшей сестры Кушелевой, а затем проехаться по всей России в ожидании возмездного освобождения крестьян, Дюма выехал из Парижа в «свите» Кушелевых. В Санкт-Пе-

тербурге, куда они прибыли морем, он был поражен Невой, набережными, Летним Садам, грандиозными размерами города, но вместе с тем и отчаянной мостовой, по которой приходилось трястись в экипажах. Удивила его и толпа на улицах, показавшаяся ему в отличие от парижской, и немой и сосредоточенной.

Основываясь на многочисленных опубликованных к тому времени трудах по русской истории, Дюма в своих заметках рассказывал читателям о русском прошлом, едва ли не с Гостомысла. Особо нужно отметить преклонение автора перед «пигантами» Петром и Екатериной, которым он посвятил сотни страниц, заполненных множеством подробностей, подчас мало известных широкой публике. Как пример приведу мало достоверный, но крайне любопытный рассказ Дюма о том, как сподвижник Петра, француз Вильбуа, посланный с каким-то поручением царя к императрице и введенный к ней в опочивальню, находясь «под хмельком», доказал ей «по-гусарски» свое восхищение ею как женщиной. Дюма восторженно говорит о том, как оба эти монарха жертвовали личными интересами и чувствами ради укрепления и возвеличения страны. Страницы о смерти Петра написаны проникновенно и

сейчас еще потрясают мастерским изложением событий автором.



Большая часть книги, — а в ней свыше 650 страниц, — рассказ о русской истории, который и теперь читается с увлечением, так как для Дюма историческое повествование прежде всего — случай для пересказа, пусть не всегда вполне достоверных, но постоянно крайне живых и характерных для описываемой эпохи эпизодов и анекдотов, всегда ярких, занятых и великолепно выявляющих личности участников передаваемых им эпизодов. Говорит ли он о царствовании Анны Иоанновны, о Бироне, Елизавете, Екатерине Великой или коротком правлении Павла, идет ли речь об Александре Благословенном, о декабристах, о Пушкине и Лермонтове, о котором ему много рассказывала его добрая знакомая, поэтесса графиня Евдокия Ростопчина, о Николае Первом или Некрасове, повествование его всегда жизненно и красочно, благодаря множеству приведенных им эффектных и занятнейших подробностей. Надо еще добавить, что Дюма дает много переводов стихов упомянутых им поэтов. (Он же перевел на французский язык ряд повестей Пушкина: «Выстрел», «Метель» и др.).

Очень любопытна разница в отношениях к России у Дюма и пресловутого маркиза Кюстина, побывавшего в России за двадцать лет до Дюма. В рассказе Дюма нет и тени злопыхательства, как у маркиза, наоборот, он не только искренне расположен к России, с которой его связывала дружба со многими русскими, но он как бы предвосхитил необходимость Союза Франции и России, осуществленного тридцать пять лет позднее, указывая, что эти два государства самой природой созданы для естественного дружеского содействия друг другу.



В Петербурге Дюма перевидел многих писателей, побывал он с Григоровичем у Панаева, издателя «Современника». Съездил он и в Финляндию, и на Кюневец, и на Валаам, едва не потонув в бурю на Ладожском озере. Отметил Дюма сход-

ство незадолго до того построенного в Париже на рю Дарю храма с виденным им на Валааме. В книге помещены и зарисовки, впервые сейчас опубликованные, и сделанные находившимся вместе с Дюма в России художником Муане, а также и ряд старых увеличивающих интерес книги гравюр.

Из Петербурга путешественник отправился по незадолго до того построенной железной дороге в Москву (путешествие это длилось тогда 26 часов) к своему другу Нарышкину, у которого и остановился в Петровском Парке. Здесь «болярин» Нарышкин прожиливал со своей подругой, французской актрисой Жени Фалькон. Прием Дюма был оказан таков, что он позднее посвятил Нарышкину один из своих романов, «на память о царственном гостеприимстве». В Москве, в честь заезжего гостя, был дан торжественный обед у кн. В. Голицына, имевшего много друзей среди писателей и артистов. Вечер закончился в популярном в те времена увеселительном саду «Эльдорадо», где был устроен праздник — «Ночь графа Монте-Кристо», заверченный грандиозным фейерверком, о котором заблаговременно оповестили жителей московские газеты.

Из довольно неожиданной для Дюма скромности он об этом чествовании не писал в своих «заметках», но зато отметил подробно большой пожар, имевший место как раз в следующий после его приезда в столицу, день. Побывав на Бородинском поле, он поехал посмотреть окрестности города: Коломенское, Царицыно, поразившую его своим богатством и своеобразием Троицкую Лавру, а затем направился по Волге в Углич, Ярославль, Кострому, Нижний, Казань. Все эти исторические города давали ему повод вновь и вновь проявлять свое знакомство с русской историей, настолько удивлявшее, например, Нарышкина, что он утверждал, будто Дюма знает русскую историю лучше многих русских.

В Казани его взволновала встреча с героем своего романа «Записки учителя фехтования» — Анненковым, романа, запрещенного в России Николаем, составившим как-то даже императрицу за чтением описания горестной судьбы этого бывшего кавалергарда, сосланного в Сибирь за участие в восстании декабри-

стов. Проведя там с женой-француженкой Полиной Гебль, добровольно за ним последовавшей в ссылку, двадцать семь лет, он, помилованный теперь Александром II, жил в Казани.

Ознакомившись с особенностями жизни мусульманского населения, Дюма отмечает, например, занятные вывески на винных магазинах, гласящие по-татарски «бальзам», т. е. «аптека», что позволяло татарам пользоваться запрещенным им Кораном вином под видом лекарства, автор продолжает свое путешествие вдоль по Волге, сообщая о нем сыну, как о «самом прекрасном из всех им сделанных». Побывал он и в степях у татар, нагайцев, киргизов. Очень подробно описал жизнь и обычаи калмыков, похва-

лил донских казаков за гостеприимство и доброту. Добрался он до самого Кавказа, везде встречая милых и радушных людей, часто хорошо говоривших по-французски и заботливо принимавших путешественника, хорошо им знакомого автора премевших уже тогда произведений.

Несмотря на учрежденный над ним негласный надзор жандармерии, о котором он, конечно, и не подозревал, и который только теперь стал известен исследователям эпохи, Дюма мог свободно осуществить свою поездку, о которой и составил свой занимательно и прекрасно написанный репортаж, и ныне вызывающий живой интерес у читателей.

Александр Шик

Устрашение или оборона

Лиддель-Харт является, пожалуй, крупнейшим теоретиком военного дела нашего времени. Его многие называют «Кляузевицем» XX века. При этом, Лиддель-Харт не ограничивается вопросами лишь чисто военного порядка. Он уделяет большое внимание политике — как известно, в идеале стратегия не может не уделять большого места политике.

Исключительный интерес представляет новая книга Лиддель-Харта — «Устрашение или оборона». В ней он пытается в полном объеме поставить вопрос: возможна ли в наше время оборона Запада, при учете тех технических возможностей, которыми обладает Советский Союз?

До недавнего времени положение было иное. Советский Союз обладал промадным перевесом сил так называемого «классического» оружия. Этот перевес западные державы надеялись выправить при помощи ядерного оружия. В наши дни ядерное оружие с успехом создается и в Советском Союзе. Кроме того,

далеко зашла техника использования ракет. Эти успехи в области ракет уничтожают превосходство авиации со стороны западного мира. Иначе говоря, если до недавнего времени считалось, что американская стратегическая авиация — главная сила западного мира, и в случае объявления войны эта авиация сможет начать действовать против советской территории, то в наши дни это мнение уже явно устарело. Недавно еще предполагалось, что советское правительство сможет отказаться от войны под угрозой устрашения. Ныне в воздухе силы существенно не отличаются. В виду этого, наступает известное равновесие атомных военных сил. В этих условиях снова приобретают большой вес силы «классические». Между тем, при новых отношениях — большой перевес на советской стороне. Так, в Германии и странах-сателлитах стоит до 30 советских дивизий. В европейской части СССР наберется еще до 100 дивизий. Против этих масс войск западный мир обладает силами приблизительно 20 дивизий НАТО. Но и не все эти дивизии готовы к немедленным действиям. Только 5 американских

B. H. Liddel, Hart. Deterrent or Defense. Frederick A. Praeger NC, N. Y.

дивизий находятся в полной готовности. Франция в данное время ведет тяжелую войну в Алжире и может выставить лишь две дивизии. Англия — три, Бельгия — две, Голландия — одну.

Из всего этого вытекает, что западный мир не способен сделать те усилия, на которые пошел бы Советский Союз. Между тем, численность населения и экономический потенциал западных держав не меньше советского. Здесь мы сталкиваемся с некоей причиной, лежащей уже в области психологии людей.

Советские войска состоят, как правило, из людей с долгим сроком службы, между тем, как в войсках НАТО таких военнослужащих мало. Исходя из этого положения, был выпущен даже проект создания специальных кадровых дивизий для прикрытия фронта.

Оборона Европы зависит не только от числа войск. Эта численность может и не быть столь прандиозной. Но следует помнить, что обороняющийся должен обладать большой подвижностью, уметь улавливать движение врага с самого начала. А, между тем, опыт 1940 года показал, что союзники в тот год необходимой подвижностью в высшей степени не обладали.

Таким образом, проблема обороны Европы и Западного мира стоит перед нами во весь рост. Она не разрешена.

Лиддель-Харт приходит к выводу, что будущая война не может быть решена чисто военным путем. Например, мало что даст, если вооруженные силы НАТО смогут начать наступательную войну, смогут нанести СССР ряд крупных ударов. Для французского солдата слабым утешением будет то, что он продвинулся по направлению к Москве, если он будет знать, что его родной город уничтожен атомными бомбами. Это — не решение вопроса. А раз чисто военное решение немыслимо, то напрашивается вопрос о решении политическом. Война может быть решена, но это решение должно лежать в области политики.

Может быть, имеются причины, которые заставят народы Советского Союза отказаться от борьбы? Тогда опасность атомных разрушений в мире отпадет сама собой.

Может быть, есть возможность обратиться к народам через голову их правительств и народы это обращение поймут?..

Лиддель-Харт не отвечает на вопрос, что же может заставить народы СССР отказаться от войны, но он говорит, что если бы на политическое решение этого вопроса было потрачено столько усилий и средств, как на решение военное, то опасность, вероятно, уже сегодня не была бы столь значительной.

Поборник свободной экономики

В 1959 году профессору Рёпке исполнилось шестьдесят лет. В связи с этим событием группа близких к нему лиц пришла идея издать его сочинения. При этом было решено издавать не специальный юбилейный подбор научных трудов, а остановиться на другом решении: издать целый ряд статей ученого, написанных им в различные эпохи, в частности, еще в Германии, до Гитлера. Удачно подобранные эти статьи, тем не менее, со-

ставляют единое целое; в них личность и понимание экономики крупного ученого вырисовывается с максимальной четкостью; позднейшие высказывания вытекают из более ранних.

Профессор Рёпке принадлежит к числу крупнейших ученых-экономистов наших дней. Можно без преувеличения сказать, что его взгляды на развитие народного хозяйства возымели такое же влияние, как и взгляды его великого современника — английского экономиста Кейнса. Значительная часть Европы живет, придерживаясь начал свободного

рыночного хозяйства, — иначе говоря, неолиберализма, — и профессор Рёпке, без сомнения, является одним из духовных отцов этого идейного направления.

Рёпке начал свою деятельность в качестве экономиста в Германии (он и по национальности немец). Однако он резко расходился с национал-социализмом и ему ничего другого не оставалось, как подчиниться или эмигрировать. Он предпочел второе и решил, не складывая оружия, бороться за идеи свободы, прежде всего, в области экономики.

Профессор Рёпке является непримиримым противником социализма. Он подчеркивает это в разбираемой нами книге. Был он им и во всех прочих своих трудах, отдельных статьях и выступлениях.

Рёпке говорит, что вариантов социализма очень много, начиная от умеренной социал-демократии и до таких явлений, как коммунизм или национал-социализм. При этом, Рёпке указывает, что все формы социализма, рано или поздно, приведут к тоталитарным тенденциям. В свободном хозяйстве каждый предприниматель трудится с целью получения максимальных прибылей. Он сам себе судья, вернее, его судит прежде всего потребитель, рынок. При социализме этот способощрения теряет свое значение. Делается ставка на нечто другое. Выполнение функций ведения дела превращается из чисто частного дела в общественное. Неправляющиеся с задачами экономического творчества предприниматели или, еще лучше, управляющие казенными предприятиями клеймятся как «вредители», «саботажники», «разрушители общих интересов» и т. д. В конце концов, дляощещения их старания можно прибегнуть и к мерам иного рода — можно пустить в ход судебный и полицейский аппарат. Там, где не помогают уговаривания, можно применить труд палача. И все системы социалистического толка, рано или поздно, приходят к тому, что дляощещения экономической деятельности надо в той или иной мере применять принуждение. А раз есть в наличии принуждение, то очень трудно найти границу, на которой следует остановиться. Эта граница, как правило, никогда не находится социалистами. Иными словами, всякий социализм

в идеале приводит к несвободе, к При этом Рёпке отмечает, что социальности всех мастей не верят в человека, для них государственное принуждение должно решить все.

Таким образом, экономическая несвобода приводит к несвободе политической. А свобода по своей сущности неделима. Не может быть одновременно свобода в политике и несвобода в экономике. Рано или поздно критика несвободы в экономике примет такой размах, что придется применять меры политического характера, чтобы ее подавить.

Рёпке считает, что абсурдно говорить о демократическом социализме: демократия и социализм несовместимы. Социализм в пределе ведет к тоталитаризму, тоталитаризму. И существование «демократического тоталитаризма» является бессмыслицей. Раз социализм автоматически приводит к несвободе, то он является зловердным учением и с ним следует бороться, как со злом высшего порядка.

Рёпке говорит, что ни в коем случае нельзя смешивать современные тоталитарные режимы с самодержавием прежнего времени. Всякая самодержавная монархия была царством свободы по сравнению с современными диктатурами. Даже древние римские диктаторы никогда не решились бы на такое ущемление свободы, которое присуще современным диктаторским режимам. Это — различные вещи и их нельзя сравнивать.

Рёпке отрицательно относится и к опыту президента Рузвельта. Бесконечные приказы и декреты внесли много путаницы.

Переходя к примеру Германии во время иностранной оккупации, Рёпке считает, что необходимо вернуться к свободе и поставить ставку на инициативу свободного предпринимателя. Во время оккупации Германии англичанами, американцами и французами, все эти оккупанты оставили в силе многие ограничения, установленные еще национал-социалистами и вносящие только путаницу в экономику. Чем скорее страна избавится от этих стеснительных ограничений, тем будет для нее лучше.

Рёпке дожил до первых признаков «освобождения» экономики. Он видел дежную реформу в Германии. Он соста-

вил для германского правительства специальное исследование о положении в стране, сделанное им по просьбе самого правительства. Рёнке в целом признал действия этого правительства правильными. Как он выразился, денежная реформа и введение твердой валюты положили конец «скрытой инфляции», оставшейся от Гитлера, экономика получила новое верное мерило ценности. Нормальная здоровая экономика смогла начать развиваться.

Рёнке всецело на стороне «рыночного хозяйства», которое все больше поощряется в Германии. Он резко осуждает социал-демократов, бывших против денежной реформы и за принудительное распределение материальных благ. Эти люди настолько попрызли в представлениях военного времени и радионирования, что они не способны мыслить категориями свободного хозяйства с его изобилием. Они не способны понять, какие неверо-

ятно мощные силы таятся в свободном хозяйстве.

Тот факт, что германское правительство поручило Рёнке провести специальное исследование по германской экономике, свидетельствует о великом доверии к нему и о том, насколько высоко он ценится в качестве специалиста.

Рёнке — также автор ряда статей (на различных языках), резко осуждающих социалистов и за то, что последние упорно не желают признать реальную природу человека, рассматривая человека, как машину, не замечая и не ценя его творческих сил. А именно эти силы дали в последние годы блестящие результаты и во многом способствовали успехам немецкой экономики после Второй мировой войны. Рёнке считает, что социалисты, по своей природе — слепые фанатики, не способные ничему научиться.

Л. Зальцберг

О будущей России

В издательстве ЦОПЭ вышел труд проф. А. Д. Билимовича «Экономический строй освобожденной России». Книга содержит 127 страниц, а без примечаний, помещенных в конце книги, ее объем равен 105 страницам, из которых введено посвящено 36 страниц. В вводной части автор доказывает необходимость уже теперь заниматься вопросами будущего устройства освобожденной России.

Основная часть книги, непосредственно отвечающая ее названию, содержит следующие главы (даем в порядке следования): промышленность, рабочий вопрос, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля, кооперация, деньги и кредит, финансы. В этой основной части книги автор фактически толкует программу НТС, однако соответствующего указания или ссылки не делает. Только-

вание это дается в общей форме; исключение составляют главы, трактующие о кредите и финансах. Именно эти главы являются наиболее оригинальными и поэтому интересными.

В частности, в главе «Деньги и кредит» проф. А. Д. Билимович обстоятельно анализирует состояние советской денежной системы и раскрывает махинации с установлением паритета советского рубля. Рисуя картину возможной организации кредита в будущей свободной России, автор считает возможным (и мы с ним согласны) допустить в более поздних стадиях восстановление на новых основах российского хозяйства и деятельность частных банков, преимущественно смешанного характера, т. е. обществ, с участием в них государства, кооперации, местных самоуправлений. В главе «Финансы» автор рисует советской бюджет и строение финансовой системы в СССР.

В последней главе — «Заключение» проф. А. Д. Билимович трактует о проб-

Проф. А. Д. Билимович, «Экономический строй освобожденной России». Изд-во ЦОПЭ, Мюнхен.

леме сохранения хозяйственного единства России.

Здесь же, сознавая неполноту своего труда, автор ставит вопрос об учреждении какого-то специального русского исследовательского института, который занялся бы более полной разработкой вопросов будущего устройства России.

Весьма жаль, что автор порой отступает от принципа объективности. Так, продолжая линию нападок на проведенный в 1957 году в Гааге конгресс «За права и свободу в Россию», автор полусловно утверждает, будто на Конгрессе вообще не говорилось о «коренной смене режима». Фактически, проф. Билимович прежде, чем это утверждать, должен был бы просмотреть «Сборник материалов Конгресса», изданный в 1958 году. Здесь в гл. 1 приводится текст решения «Советания российских революционных организаций», которое также публиковалось и в российской эмигрантской прессе. В этом решении, между прочим, говорилось: «...оставаясь неизменно на позиции непримиримости к коммунистической диктатуре и продолжая вести борьбу за освобождение России...» и т. д. На самом Конгрессе также эта мысль неод-

нократно высказывалась. При желании автор мог найти во вступительном слове члена Оргкомитета А. В. Светланина следующие слова: «Мы ни на один пран не отступаем и не отступим от нашего убеждения, что только полное уничтожение коммунистического режима обеспечит возрождение России на основах права, свободы и демократии. Наша цель революционного низвержения коммунистической диктатуры неизменна».

Далее, по вопросу о будущем России, более всего говорилось и писалось членами НТС и в книгах, выпускаемых издательством «Посев», в еженедельнике «Посев», в журналах «Грани», «Мысль», «Наши дни» и других. Однако найти ссылки на эти источники у проф. А. Д. Билимовича нельзя, несмотря на несомненное использование автором этих источников. Обстоятельство это снижает достоинство книги.

Критическое замечание следует сделать и в адрес издательства ЦОПЭ, которое выпустило данную книгу, не снабдив ее оглавлением, что затрудняет пользование ею.

М. Залевский

Замеченная опечатка: В «Гранях» № 46, в статье Г. Мейера «Дух глухой и немой» на стр. 158, 13 строка снизу напечатано: «материальна». Следует читать: «мистериальна».

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Условия подписки на «Грани»: Цена отдельного номера 6 НМ
На 12 м-цев — 20 НМ.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

О Б Р А Щ Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине, что русское издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, *предоставляет эту возможность.*

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы в журнале «Г р а н и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными книгами.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, *подписанные псевдонимами.*

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно перепечатывать присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П о с е в» гарантирует, что *ни одна рукопись не попадет в чужие руки.*

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «П о с е в», включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и

печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

4. Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят процентов поступают в фонд издательства «Посев» для расширения печатной базы и покрытия расходов по бесплатному распространению в СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя защиту интересов авторов.

7. Непринятые издательством «Посев» или другими зарубежными издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в перепечатанном виде до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем установлении авторского права рекомендуется прилагать к рукописи «вещественный пароль». Например: половину узорно разрезанной открытки, копию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», который совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, и легко утвердит свое авторство и свои права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежному, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение особой осторожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt/Main
Merianstrasse 24a

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне
Мерианштрассе 24а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ.

Представители издательства «Посев» есть во всех европейских странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и др. Представители издательства «Посев» часто встречают моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев» и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. ПО ПОЧТЕ.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

ГРАНИ

*журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли
издается с 1946 года. Выходит четыре раза в год. Объем каждого номера свыше
двухсот страниц.*

В журнале за эти годы напечатали свои произведения 230 писателей, поэтов, философов, литературных критиков, публицистов. Среди них журнал может назвать:

Л. Алексееву, Н. Анатольеву, Г. Андреева, Ник. Андреева, О. Анстей, Н. Арсеньева, Б. Башилова, Б. Берберову, † И. Бунина, В. Вейдле, † Б. Вышеславцева, † Е. Гагарина, † Н. Евреинова, И. Елагина, П. Ершова, Г. Забежинского, В. Завалишина, Б. Зайцева, † Евг. Замятина, А. Землева, О. Ильинского, А. Кашина, Дм. Кленовского, С. Левицкого, Б. Литвинова, Этторе Ло Гатто, Н. Лосского, А. Мазурову, С. Маковского, С. Максимова, Ю. Марголина, В. Маркова, Н. Моршена, Н. Нарокова, Б. Нарциссова, А. Неймирока, М. Новикова, † Дж. Орвелла, † Л. Осипову, Н. Осипова, † Н. Оцуа, Р. Плетнева, А. Поплюйко, С. Рафальского, Р. Редлиха, † А. Ремизова, Л. Ржевского, В. Самарина, И. Сабурову, В. Свена, В. Смоленского, Г. Струве, † И. Сургучева, Н. Тарасову, Е. Таубер, † Н. Тэффи, Н. Федорову, Б. Филиппова, К. Фотиева, А. Франка, † Н. Дурикова, А. Чиннова, Б. Ширяева, А. Шишкову, С. Юрасова и других.

ГРАНИ носят такое название потому, что журнал призван творчески и умственно отображать и преобразжать на своих гранях лучи событий и исканий духовной жизни современной России и мира, поскольку Россия связана, как и каждая иная страна, с его судьбами.

ГРАНИ — живая культурная связь между двумя частями России, насильственно разорванными тоталитарным режимом: Россией советской и зарубежной.

ГРАНИ с самого начала поставили себе скромную задачу послужить делу слияния воедино двух российских культур, развивавшихся параллельно, но независимо друг от друга на протяжении десятилетий на основе лучших духовных традиций и стремлений России вечной.

Но у журнала ГРАНИ есть и еще одна — самая важная — задача: обращение вовнутрь — к человеческой душе, осмысление человеческого творчества.

В первом номере журнала, в 1946 г., главный редактор Е. Романов высказал кредо ГРАНЕЙ в передовице «Вместо программной статьи»:

«... Многогранна душа человеческая, но редко раскрывается она во всей своей многогранности. ... А грани бывают светлые и темные. ... Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого: человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды.

... Тогда подлинным гуманизмом будет проникнуто творчество художника и оправдано в служении человеку, правде человеческой и Правде Божьей.

А в этом оправдании, и только в нем, весь смысл творческой жизни художника».

* *
*

Редакция обращается с просьбой ко всем сотрудникам, читателям и друзьям помочь журналу в осуществлении всех его задач — духовно, творчески и материально. Беллетристические произведения, статьи, воспоминания, рецензии на самые выдающиеся в русской и иностранной литературе книги и подписка на журнал — вот та помощь, которую ждет редакция от своих друзей по обе стороны коммунистической границы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

<i>Л. Алексеева — Лесное солнце. Стихи.</i>	2.00
<i>А. Александров — Письма к неизвестному другу. 192 стр.</i>	7.00
<i>Г. Андреев — Горькие воды. 326 стр.</i>	10.00
<i>Н. Арсеньев — Из русской культурной и творческой традиции. 300 стр.</i>	10.00
<i>А. Артемов — Идеология солидаризма и ее развитие. 87 стр.</i>	1.50
<i>А. Артемов — Народ и режим (брошюра)</i>	1.00
<i>Д. Бернхэм — Грядущее поражение коммунизма. 172 стр.</i>	5.00
<i>Д. Бернхэм — Революция директоров. 160 стр.</i>	4.00
<i>Проф. А. Билимович — Кюперация в России до, во время и после большевиков. 130 стр.</i>	6.50
<i>Большевизм на скамье подсудимых. Подробный отчет о парижском процессе В. А. Кравченко. 94 стр.</i>	3.00
<i>Проф. Б. Вышеславцев — Философская нищета марксизма. 182 стр.</i>	5.00
<i>Проф. Гаккель — О православной иконописи. (16 икон)</i>	8.00
<i>В. Глаголев — Материализм в свете современной науки. 79 стр.</i>	1.50
<i>М. Зощенко — О чем пел соловей.</i>	1.00
<i>Избранное о солидаризме — сборник. 152 стр.</i>	4.00
<i>А. Караваев — Ленин. 194 стр.</i>	4.00
<i>В. Картье — Тайны войны. 148 стр.</i>	3.00
<i>Р. Киплинг — Маугли. 176 стр.</i>	3.00
<i>Б. Кирюшин — Конспект по русской истории. Большой формат. 164 стр.</i>	4.50
<i>Б. Кирюшин — Пути российской революционности. 244 стр.</i>	8.00
<i>А. Кузнецова — Забытые сказки. (21 сказка для детей школьного возраста) 155 стр.</i>	5.00
<i>С. Левицкий — Основы органического мировоззрения. 258 стр.</i>	5.00
<i>С. Левицкий — Трагедия свободы. 344 стр.</i>	10.00
<i>Проф. Н. Лосский — Общедоступное введение в философию. 222 стр.</i>	12.00
<i>Проф. Н. Лосский — Характер русского народа. 151 стр.</i>	9.00
<i>В. Мерцалов — Трагедия российского крестьянства. 116 стр.</i>	3.00

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

Н. Моршен — Тюлень. Стихи.	2.00
А. Неймирок — День за днем. Стихи.	2.00
А. Неймирок — Дороги и встречи	1.00
Проф. М. Новиков — Великаны российского естествознания.	9.00
Обновленная Россия — Сборник статей. 288 стр.	5.00
Д. Орвелл — Скотский хутор	2.00
Очерки большевизмоведения. 299 стр.	16.00
Б. Пастернак — Поэзия. Избранное. 384 стр.	14.50
П л а н М о с к в ы.	20.00
В. Поремский — Проблемы национальной революции	2.75
В. Поремский — Политическая миссия российской эмиграции	2.00
В. Поремский — Проблема революционной стратегии	2.00
Г. Рар (А. Ветров) — Плененная церковь. 113 стр.	4.50
М. Розанов — Завоеватели белых пятен. 288 стр.	7.00
Е. Романов — Дело революции в России и задачи нового этапа	2.00
Е. Романов — Идеиные и политические стремления сегодняшней России в свете общей оценки положения в стране	2.00
Е. Романов — Власть и народ после XX съезда	2.00
Е. Романов — Проблемы нашей борьбы	2.00
Е. Романов — О положении в России и состоянии революцион- ных сил	2.00
РОССИЯ — Альманах общественно-политической мысли. 556 стр.	8.00
Н. Рутыч — КПСС у власти. 450 стр.	14.50
А. Светланин — Дальневосточный заговор. 138 стр.	3.00
Н. Синевирский — Смерш. 134 стр.	3.00
Сказка об Иване-Царевиче. (Цветные иллюстрации)	3.00
Ю. Трегубов — Восемь лет во власти Лубянки. 266 стр.	8.00
А. Трушинович — Россия и славянство. Пути России	1.80
А. Трушинович — Ценою подвига. 142 стр.	6.00
Н. Хохлов — Право на совесть. 612 стр.	15.00
Б. Ширяев — Кудеяров дуб. 190 стр.	7.50
А. Шишкова — Чуждадь. Стихи	2.00
В. Шубарт — Европа и душа Востока. 124 стр.	4.00

Цена 6 марок (6 DM)
